

ISSN 0132-0637

Октябрь

1998

12

Октябрь

12 1998

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

12

1998

ДЕКАБРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

НОВЫЕ ИМЕНА

- Павел КРУСАНОВ. **Сим победиши.** * Александр ПЛОТКИН.
Библиотека. * Алексей САШИН. **История бегемотов.** * 3
Кирилл ОЛЮШКИН. **Олонецкие саги.** Рассказы
Зерна граната. Стихи Алексея ГЕЛЕЙНА, Владимира
ЛАВРИШКО, Санджара ЯНЫШЕВА, Натальи КОЖЕВ- 24
НИКОВОЙ
Бахыт КЕНЖЕЕВ. 29
Золото гоблинов. Роман. Окончание
Послесловие. Несколько вопросов Бахыту Кен- 102
жееву
Михаил ЛЕВИТИН. 104
Восторг и предчувствие движения. Повесть

Нечаянные страницы

- Николай КЛИМОНТОВИЧ. 121
И питается не щами. Из цикла «Подстрочник»

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

- Юрий БУРТИН. 129
Три Ленина. Нэп в свете теории конвергенции
Кирилл КОБРИН. 155
Немцы и русские на слиянии двух рек
Моисей ГОЙХБЕРГ. 158
До, во время и после войны. Литературная запись
Виталия Заславского

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Настасья ПОДЪЯБЛОНСКАЯ.

Как возникают женские романы. Практические заметки 168

Панорама

Дмитрий БАК. **Вокруг Лотмана, или По направлению к Тарту** (Ю. М. Лотман. Письма); Генрих ЛЯТИЕВ. **Анамнез гениев** (книги А. Ноймайера «Музыканты в зеркале медицины», «Музыканты и медицина», «Художники в зеркале медицины»); Д. БОРИСОВ. **Возраст классики** (Е. Краснощекова. Иван Александрович Гончаров: мир творчества); Борис КОЛЫМАГИН. **Падающие старухи** (Михаил Ямпольский. Беспамятство как исток) 176

В стиле реплики

Олег ПАВЛОВ.
Милый лжец 183

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.
Моветристика 185

В несколько строк

Б. ФИЛЕВСКИЙ.
Лавка букиниста 188

Содержание журнала «Октябрь» за 1998 год 190

Главный редактор

Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Инна БРЯНСКАЯ	<i>публицистика</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Василь Быков, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Анатолий Курчаткин, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Олег Павлов, Людмила Сараскина, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3046 экземпляров журнала.

Технический редактор Т. С. Трошина.

Сдано в набор 29.10.98. Подписано к печати 23.11.98. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 9350 экз. Заказ № 2944. Цена 16 руб. 50 коп.

ОАО Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Н о в ы е и м е н а

РАССКАЗЫ

Павел КРУСАНОВ

СИМ ПОБЕДИШИ

До того, как она прослыла Надеждой Мира, во времена медленные и молодые, ее звали Клюква. Она родилась в год трех знамений: тогда солнце и горячий ветер сожгли великую евразийскую степь, а на другой щеке глобуса, в Бразилии и Колумбии, снежные ураганы уничтожили плантации кофе. День ее рождения был темен от затмения, а накануне три ночи подряд люди не видели луны, астрономы Империи не узнавали небесных фигур Зодиака, и алая хвостатая звезда висела над черной землей. Но вспомнили об этом потом, когда Клюква, никого не родив, стала Матерью и Надеждой Мира. Отлистав великую книгу сущего назад, предсказатели и астрологи прочли в ней различное: враги говорили, что в тот год открылись врата преисподней, дабы впустить в мир гибель человеческую; сторонники толковали знаки иначе — беды дались не за грех, но за грядущий дар.

Родителей Клюква не знала. Мать подобрала спеленьша цыганам, решив, что дочь — вялая проба творения, существующая на грани небытия. Она была права, но у нее не хватило любви и нежности догадаться, что с того места дочери видны пространства по обе стороны границы.

Однажды вблизи табора, разбитого под боком у монастыря, Клюква повстречала чернеца. В руке его был совок, каким выкапывают корешки и лекарственные травы. «Игумен скоро поправится,— внезапно сказала Клюква.— Его грехи уже позади него». Монах отвел девочку, напуганную собственной прозорливостью, в монастырь и, убедившись, что парализованный ударом игумена вновь говорит и без чужой помощи садится на кровати, накормил оборванку пареной брюквой и подарил ей свой совок, который хоть и был невелик, но обладал дивной силой — мог войти в самый твердый камень.

Клюква кочевала с цыганами по стране: весной табор тянулся на север за хорошими подачами и легкой воровской поживой в больших городах, осенью скатывался к сытному Днестру. Ей не нравилась ее нелепая жизнь: для цыган она оставалась чуждым сором в их тесном племени — ее били со скуки, без досады и вины, ей поручали самую постыльную работу, с девяти лет ее пользовали мужчины. Клюква ждала, когда от мысли, что можно самой, в одиночку, ковать свое будущее, страх перестанет бить в ее сердце. Но страх не уходил. И тогда Клюква мечтала о месте, в котором неотвратимо и прекрасно свершится ее судьба. Цыганка, отдавшая ей свое молоко, не раз вспоминала город, где воды рек текут сквозь камень, где небеса капризно меняют свои неверные цвета, где дворцов больше, чем дураков, когда-либо подавших ей ладонь для гадания, и где тени появляются прежде своих тел и не исчезают, когда тела уходят. О том же городе, застегивая над Клюквой парчовые штаны, говорил Яшка-вор — скалил бурые, торфяные зубы, похваляясь, как рвал из рук туристов дорогие камеры; Яшке понравилось в горо-

де золото куполов, мечтал о таком — себе на фиксы. Не видя, по грезе лишь выбрала Клюква для себя это место.

В шестнадцать лет страх вышел из ее сердца. Случилось это в Невеле, где Клюкве велели шилом выколоть глаз милиционеру, гонявшему с при вокзальной площади цыганок за то, что одна строптивая молодка с подвешенным за спиной младенцем, озлившись на брань, сжала голую грудь и прилюдно брызнула ему в лицо молоком. Милиционер скверно мстил за свой позор бродячему народу. В тот день от обилия людей, от их круглоголового множества, площадь походила на скопище живой икры, послушное слепым дотварным законам. Клюква ловко сделала работу и, затерявшись в толчее, бросила в урну липкое шило. Убедившись, что кровь не стынет и не густеет в ее жилах, она юркнула в вагон и затаилась на багажной полке. Потом, томительный и пыльный, поезд размеренно гремел на стыках рельсов, словно впечатывал в насыпь широкую кованую поступь. Сквозь леса и болота, сквозь луга и мокрые мхи поезд шагал на север. Клюква лежала на жестких досках: закрыв глаза, она едва слышно пела песню, слова которой приходили ей на ум сами собой — легко и ниоткуда, как роса.

Под Лугой поезд долго ждал встречного. Изнуренный бездельем проводник, обходя владения, стащил Клюкву вниз, ощупал и, не отыскав денег, вышвырнул ее в майскую ночь. Под бледным небом, не отряхнув цветного тряпья, вся в пыли и черном угольном прахе, Клюква пошла через лес: там, на краю ночи, мерещилась ей каменный город — с дворцами и храмами, с золотыми пузырями куполов, охраняемый чистыми водами, смывающими земную грязь, — город, где уже живет ее тень.

Утром Клюкву остановили солдаты. Бронетанковая часть готовилась к показательным стрельбам перед министром войны. Не зная пути, Клюква вышла на полигон. Чтобы замарашка не угодила под стальные гусеницы или осколки снаряда, ее заперли в хозяйственной землянке, но с помощью совка Клюква легко выбралась наружу. За вересковым редколесьем зеленело молодой травой поле; на поле замерло стадо огромных ревущих ящеров — министр войны презирал казенный подход к делу. Клюква, словно подхватили ее сильные крылья, спешила туда, куда не довез поезд: вокруг рвались снаряды, хрипели динамики в доисторических глотках, выли дизельные моторы, лопались с треском фанерные панцири, но крылья проносили ее сквозь столбы дымящейся горячей земли невредимой.

Министр войны был доволен — танкисты стреляли сносно, из ящеров сыпались большие, камуфляжно расписанные яйца — десант условного врага, от меткого попадания осколка или пули яйца разлетались снопами магниевого огня и цветного дыма; он так увлекся, что, разглядев в бинокль Клюкву, не остановил представление.

— Полагаю, обдристалась, — бесстрастно сообщил он и распорядился: — Если выживет, отправить в баню.

Министр войны был веселый человек. В кармане кителя он неизменно носил фляжку с коньяком и коробку фундука в сахаре. Ему было тридцать пять, он был боевой генерал, храбрый воин и приемный сын Отца Империи, но душа его оставалась моложе заслуг — черная кровь честолюбия почти не обуглила его сердце: он любил праздники, не боялся новостей и откровенно скучал с подчиненными. Женщины сгорали в пламени его простодушного величия, но вскоре, обиженные, отползали воскресать в тень обжитых будней — министр войны не умел находить в них что-либо, кроме того, чем гордились их тела.

Клюква выжила.

Вместо цыганских обносков каптенармус выдал Клюкве солдатское белье и полевую форму, жена бронетанкового полковника с торопливым усердием — своенравный генерал не терпел проволочек — самолично рас-

чесала ей волосы, дивясь желтым ее глазам с козьими горизонтальными зрачками. Готовый к потешному допросу, с адъютантом, увитым косицами аксельбантов, с фляжкой и коробкой фундука в сахаре министр войны ждал арестантку в кабинете полковника.

Никогда прежде Клюква не видела ничего подобного: белый, как митра иерарха, мундир блистал золотом погон, петлиц и галунов; регулярный строй пуговиц мог бы соперничать с бенгальскими огнями, расставленными на снегу; багряные струи лампасов текли по отутюженным брючинам на лаковые ботинки — все это казенное, но столь артистическое великолепие закончено венчало светлое лицо беспечного баловня судьбы. Сердце Клюквы замирало в великом немом восторге.

— Кто послал? Задание? — Министр войны оценивал пленницу веселым жестоким взглядом.

Клюква молчала: из глаз ее текли счастливые слезы.

— Если ты так прекрасно молчишь, то каковы же будут слова? — удивился министр войны.

Адъютант записал услышанное для истории. За окном, под голосистую строевую, четким и тяжелым шагом маршировали в столовую танкисты.

— Тебе повезло, — сказал генерал, — ты жива. Похоже, ты даже не очень испугалась.

— Вместо меня умирает другой человек, — сказала Клюква. — Ему распорол живот горячее железо.

За окном было небо, и ветер в небе был виден. Белый, как фотовспышка, генерал глотнул из фляги и пошевелил мокрыми губами.

— Ты ошибаешься. Стрельбы прошли без ЧП.

— Я не умею ошибаться, — сказала Клюква.

Министр войны отправил адъютанта проверить показания. Цenia в себе природу человеческую, он не различал письма ближней жизни, бегущие вдоль кольцевого края бытия. Существовая в череде омонимических игр, письма эти ненадолго сбрасывают форменную кожу и открываются владельцу ключа, знатоку верного ракурса, чтобы затем опять обернуться мельканием теней.

— Так точно, — вернувшись, доложил адъютант, — один солдат ранен. Полковник скрыл — испугался за показатели.

— Тяжело?

— Никак нет. Даже не терял сознание.

— К утру умрет, — сказала Клюква. — Он сорвался и скользит к границе — его уже не спасти.

Министр войны не знал тайных знаков жизни, но понимал простые желания женщин — он заглянул в глаза тщедушной Клюкве, которую баня и расческа едва не сделали красивой, и протянул ей коробку фундука в сахаре.

— У меня есть принципы, — сказал министр войны, — и есть твердые цены за отказ от них. — Он повернулся к адъютанту, заносящему в блокнот выдающиеся слова, и добавил: — А полковнику предложи застрелиться.

Утром раненый солдат умер, но еще накануне вечером министр войны решил задержаться в бронетанковой части. У него была личная самоходка: корпус из особо прочной стали изготовили уральские рабочие, в Минске собрали сверхмощный мотор, тульские мастера установили пулемет и пушку, поворонили броню и выгравировали ее золоченым узором из райских птиц, цветов и трав, на внутреннюю отделку пошла червленая туркестанская кожа. Империя подарила самоходку министру войны на тридцатипятилетие. Дни напролет, вместе с Клюквой, приемный сын Отца Империи полосовал гусеницами окрестные поля и, на ходу сбивая из пушки вершины берез, посылал адъютанта крепить на образовавшихся срезах тележные колеса — министр войны был великий воин. Пока он возился с Клюквой на теплой

броню, среди золотых трав, цветов и птиц, аисты успевали свить на колесах гнезда и рассыпчато трещали сверху клювами. Пресытись ласками, генерал слезал со стального ложа и говорил для истории:

Кто не добьется своего в постели, тот нигде не добьется ничего путного.

Впервые Клюква с восторгом делала то, к чему раньше ее принуждали.

— Что это? — удивлялась она.

— Должно быть, это любовь, — отвечал генерал.

Однажды, когда в открытом для нее пограничье яви и кромешья Клюква вновь читала осмысленные знаки судеб, она с недоумением узнала, что пропись белоснежного героя теперь для нее неразличима: как будто под одной картинкой букваря возникли толкования на безупречно мертвом языке — под остальными все читалось ясно. Здесь Клюква заподозрила обман: природа по крупницам отбирала то, чем когда-то сама восполнила ничтожество ее тела.

— Что это? — спрашивала она.

— Должно быть, это любовь, — улыбался генерал.

Министр войны привез Клюкву в город, давно уже цветший гранитом и золотом в ее мечтах. И она вошла в него хозяйкой. Клюква ничего не знала о былом величии отвергнутой столицы, но и таким как есть город превозмог ее воображение: он явился ей чудной кропотливой игрушкой, заключенной в благородный хрусталь, затеей хладного вдохновения нечеловеческого свойства, завораживающей проделкой вечности — внутри кристалла время было бесправно. Тогда Клюква еще не догадывалась, что проблема Империи — это проблема времени: история в Империи должна остановиться... За двухцветными фасадами дворцов для любовников не оставалось тайн: они завтракали под стеклянными потолками ананасников, родящих столь обильно, что из ананасов приходилось делать вино, они обедали в малахитовых и мраморных залах под голоса и смычки артистов, чьи имена и титулы окружали шипящие превосходные степени, — там Клюква изучала санные жизни на близость смерти, — в дубовых гостиных они кутили с секретными космонавтами и ночевали в спальнях императриц и княгинь. Министр войны был великий воин. Клюква плавилась от любви и нежности.

Дела Империи не отпускали генерала. Чтобы иметь для встреч укромный уголок, он поселил свою невзрачную наложницу в маленьком особняке на Крестовском, который велел оборудовать под инсектарий. Ему нравились беспутные утехы среди жуков-оленей и голиафов, каштановых носорогов и торопливых жужелиц, махаонов маака, всплескивающих крыльями из зеленого перламутра, и мадагаскарских ураний, словно он хотел обмануть свое зрение и восполнить красотой богомоллов и палочников, медленных чернильных стрекоз и плавунцов, пожирающих рыбью мелюзгу, телесные несовершенства Клюквы.

Проводя дни и ночи в этом копошащемся, стрекочущем, трепещущем вертеле, заключенном в стеклянные цилиндры и кубы, Клюква впервые увидела, как муха моет средние лапы. Происходило это так: сначала муха вытягивала вперед одну среднюю ногу и с механическим тщанием потирала ее двумя передними, затем меняла ее на другую. В это время муха висела на оставшихся трех.

Воссоздавая жестокою гармонию природы, министр войны рассадил по всему дому в горшках, кадках и цветочных ящиках целую оранжерею хищных растений — жирянки и росолисты, ползучие непентесы и венерины мухоловки, росянки с потными ладошками и саррацении залили комнаты тяжелым духом непрерывного пищеварения. Питомцев генерал кормил собственноручно. Хрустя фундуком в сахаре, он терпеливо предлагал зеленый лист гусенице какой-нибудь нимфалиды, а потом с любопытством стряхивал ее в сиреневую пасть венериной мухоловки. Пасть захлопывалась, и плотоядная трава начинала медленно растворять сдавленную извивающую-

ся жертву желудочным соком. Таков был министр войны, наследующий Отцу Империи,— он мог читать газету на заседании правительства, мог из общевоинских учений устроить веселый маскарад, мог по прихоти сделать женщину счастливой, но он не закрывал глаза на печальный театр земного бытия.

Прошел год, и зашифрованные вести о способности Клюквы безошибочно чуют смерть проникли в уши Москвы. Самолет непревзойденных боевых и маневренных качеств, подаренный счастливой страной министру войны в день усыновления, доставил любовников на подмосковный аэродром. Отец Империи принял их без чинов, по-домашнему — на коврах восточной гостиной, похожей на опийную курительню, в цветном свете узорчатых витражей, каждый драгоценных ароматов, резных колонн и шелковых подушек. На подносах светились идеальные, как восковые муляжи, фрукты. Клюква взглянула на Отца Империи и, не умея скрыть отвращение, содрогнулась: покрытая копошащимися мухами кожа лопалась и отслаивалась на его лице, из провалов рта, ушей и глазниц ползли наружу черви и глянцево-черные жуки с подвижными брюшками, по голеницам сафьяновых сапог стекала зловонная черно-зеленая жижа. Державой правил мертвец.

Отец Империи считал, что любовь народа покоится на мере и дисциплине знания — нельзя беспечно смешивать категорию «вечный» с понятием «мертвый». Ночью Клюкву живьем и навсегда замуровали в Кремлевскую стену. Она не роптала, ей было плевать на человека, обманувшего законы естества, исхитрившегося оставить свой труп властвовать над живыми, но она не могла понять, почему за нее не вступился его сын. «Как же так?..» — шептала она.

С рассветом Клюква выбралась из стены при помощи дивного совка, не признающего власть камня. На пустынной Красной площади, под дланью Минина, ее ждал адъютант министра войны.

— Тебя послал *он*? — с надеждой спросила Клюква.

— Нет, — сказал адъютант. — Генерал забыл тебя еще вчера. А я верил, что ты не умрешь, потому что за тебя ратуют ангелы.

— Я четвертую Империю на три неравные половины! — горько воскликнула Клюква. — Свою и трупа, а между ними пребудет область запустения и взаимного ужаса.

Адъютант достал из кармана блокнот.

— Так нельзя говорить: «Четвертую на три половины...»

— Запиши, как сказано, — велела Клюква, — клянусь на твоём дурацком блокноте своей обманутой любовью — все будет именно так!

Они вместе бежали на юг. Явленные Клюквой свойства, смешавшие понятия о природе возможного, и тренированное чутье прислужника сильных открыли адъютанту условность незыблемых прежде законов и правил. Там, в конце пути, он впервые назвал ее Матерью и Надеждой Мира.

Всю дорогу Клюква гнила в гумусе своих воспоминаний. Печаль и ненависть поднимались в ней глухо и неумолимо, до холодной дрожи бессилия. Наконец, где-то под Кисловодском, в войлочной сарматской степи с острым Кавказом на горизонте, Клюква воздела руки к небу, укутанному облаками, и закричала. Гнев прозрачно освещал ее бесцветное лицо; рыдая и рассыпая проклятия, она то грозила в пространство кулачками, то с кривляньем задирала подол и безумно подмигивала пустым вечерним теням. Из рта ее выползла густая невнятная речь, Клюква тянулась ввысь и разрывала цепкими пальцами облака, расчищая синюю твердь с водяными знаками ангелов, над которой, как над хрустальным пузырем, Некто склонял Свое лицо, вглядываясь в содержимое садка и страшно плюща нос и губы о прозрачную оболочку. Закат быстро угасал в Его бороде: Некто искал виновника переполоха, нарушившего тонкое равновесие бытия, космический баланс исто-

рии, — искал тот источник досады, что писком своим всколыхнул дремотные силы, имена которым Мрак, Ничто, Отсутствие. Качался под тяжестью хрустальный пузырь, Некто давил его лицом, кокуда не полыхнуло небо белым огнем — вот! Он нашел Ключку, и дикая ее молитва вошла в Его уши.

Так явилась на свет Мать и Надежда Мира.

Грозная весть всколыхнула Империю. Под знамена Надежды Мира встали кубанцы и бродники, донцы и ясы, татары с реки Яик и касимовские татары, конные ногайцы и даргинцы, Новороссия, Крым и Каракалпакия, регулярные воинские части в казахской степи, Алтай, Литва и все западные провинции. Вместе с ними восстали цари Колхиды и Болгарии, наместники Ургенча и Моравии, а также Паннония, Румыния и Чехия, чьи народы были данниками Империи. Поднялись дикие кланы Кавказа, в мохнатых бурках, вооруженные древними фитильными карамультуками. Кроме того, с гор спустилось ужасное воинственное племя волосатых женщин, ежегодно каждую весной совершавшее набеги на окрестные селения и угонявшее скот и здоровых мужчин, — пленники оплодотворяли дикарок, после чего те пожирали женихов живьем, как самки каракурта. Адъютант министра войны встал во главе орды. Выше его была только Мать. Именно тогда, выступая в поход с нелепой армией, где рядом с танковыми дивизиями и авиационными полками была тьма тём конных копейщиков, Надежда Мира сказала своим генералам:

— Клянусь, мы победим. Быть может, не сразу, но победим. Мне не нужно отмщения и рек крови в битве за всю державу — мы просто разделим Империю, чтобы покойники остались со своим мертвецом, а живые ушли со мной.

Теперь, для вящей достоверности, историю записывал не адъютант, а семь писцов, обученных стенографии, чтобы легко изобличать искажения и избегать свойственных единоличию увлечений.

Ревя дизелями и реактивными моторами, брэнча конской сбруей и кольчугами, армия двинулась на Москву рваным, пунктирным фронтом по гигантской дуге — от Нарвы до Оренбурга. Но министр войны был великий воин. Имперский флот блокировал балтийские порты, и корабельная артиллерия превратила в руины прибрежные городские кварталы; одновременно с воздуха был нанесен чудовищный удар по транспортным коммуникациям западного крыла повстанцев. Десант и быстрые танковые марши в парализованные тылы довершили операцию: значительные силы восставших были окружены и уничтожены, а фронт отброшен до моря. Курляндия, Литва и Польша запросили мира. Империя решила не связывать войска в замкнутых и почти уже принужденных к капитуляции западных провинциях; обязав их к нейтралитету, она двинула дивизии на восток.

В оренбургских степях, словно бы лакированных жирной, не выгоревшей еще зеленью, министр войны сменил тактику. Однажды, когда катящаяся к Москве грозная ревущая волна разбилась о глыбу ночи, на замершие танковые колонны, расквартированные по селам полки пластунов, цветные шатры ногайских конников и хорезмийские обозы с вяленой кониной, инжиром и курагой со звездного неба, в котором мирно стрекотали пропеллеры «кукурузников», опустился белесый, вспыхивающий кварцевыми искрами туман. К утру оренбургско-каспийская группировка повстанцев перестала существовать. Вместо армии по серебристой, будто прихваченной изморозью степи, воя и заходясь в кашле, спотыкаясь и падая, корчась и отхаркивая ошметки легких, слепо бродили или иступленно бились о землю страшные люди с красными, словно ошпаренными, лицами и кровоточащими дырами на месте вытекших глаз. Мертво стояли на дорогах танки; в обманувшее небо задрала стволы артиллерия; пыльно серебрились на солнце бронетранспортеры и грузовики. Победители очертили тысячи квадратных километров степи демаркационной линией, тысячи тонн герметика вылили

на ядовитую землю вертолеты, человека или зверя, ступившего изнутри на вспаханную полосу, огнеметы бдительно превращали в головешку. Но, несмотря на ужасающий успех, восточная операция вызвала у министра войны зевоту.

— Нет,— сказал он, отвинчивая у фляжки пробку,— это не война — это дезинсекция клоповника.

Тревожные вести с флангов не смутили Надежду Мира — центр оставался неколебим и восторженно предан. Не зная поражений, давя имперские полки, центр стремился на север, и впереди орды, там, где находилась в тот час Мать, неведомое и грозное, едва касаясь земли, катилось порождение природы нездешней — огромное огненное колесо с антрацитовым зрачком на месте незримой оси,— такова была мощь благоволящей ей силы: позади, за колесом, курился прах над черным выжженным следом, и был этот след в ширину триста сажен без семи вершков.

Ужас шел впереди пестрых армий — гвардейские части Империи в мокрых штанах бежали от огненного колеса, градоначальники, не желая править руинами, выносили Матери городские ключи. Орда ликовала.

Иногда, снижая заоблачный горный полет, взгляд Надежды Мира выхватывал ближние планы: под Кантемировкой она повстречала цыган, с которыми прошло ее детство. Яшку-вора в парчовых штанах, уже сверкавшего золотыми фиксами, и всех остальных мужчин табора она отдала свирепому племени амазонок, а утром гостьей явилась на пир и ела с дикарками кровавую человечину.

Мятежное войско неотвратно катилось вперед с той скоростью, какую только могли позволить себе носильщики паланкина Надежды Мира, чтобы не потревожить ее великих мыслей. Мать думала о том, что в войне слишком много жизни, поэтому здесь сама собой плодится смерть, и еще о том, что судьба несправедлива и что несправедливость — вещь не такая уж страшная. Империя — головой своего Отца — думала о другом: не в силах остановить огненный жернов на земле, она напала с воздуха. Но Мать оставалась неуязвимой: «За нее ратуют ангелы!» — счастливо рыдали армии, когда в стеклянном небе, задетые взмахами белых крыл, рассыпались в алюминиевую крошку бомбардировщики стратегической авиации.

Трижды к Надежде Мира подсылали убийц. Повар-сван, купленный вражеской агентурой за две дюжины золотых с лазурью скарабеев, в соус к купатам добавил густой изумрудной отравы, которая растворяла в теле кости, после чего недвижимый мешок с требухой, завидуя проворству слизней, мучительно сгнивал от потниц и пролежней. Но едва Мать приступила к трапезе — из соусницы поднялась отвратительная бугристая жаба. Повар на коленях умолял о снисхождении, он просил милости — расстрела или повешения, однако по законам военного времени был принужден съесть приготовленный обед. Вторым стал казачок-вестовой, которому агенты Империи обещали чин полковника гвардии и даже показали каракулевую папаху, сшитую по размеру его глупой пятнадцатилетней головы,— он должен был подложить в паланкин Надежды Мира часовую мину, и только детское легкомыслие разрушило планы имперской разведки: заигравшись со штабным щенком, казачок был в ключья разорван адской машиной. С тех пор шпионами, иссеченными в кровь нагайками,— по приказу адъютанта, а ныне начальника штаба восставших армий,— для устрашения гасили негашеную известь. Среди приближенных Матери больше не отыскалось предателей, поэтому третьим стал парламентар — высокий чин Империи, под важным мундиром, как мумия холстом, спеленутый пластиковой взрывчаткой. Его дивизия была разгромлена сводными силами повстанцев; те, кто на беду свою выжил, попали в жуткий плен к волосатым женщинам — чудом спасся он один. Дабы смыть позор и кровью подвига воскресить честь, он вы-

звался стать смертником. Парламентер явился перед Надеждой Мира с гордо поднятой головой и, дерзко глядя в ее горизонтальные зрачки, сказал:

— Сегодня Империя победит тебя, а сиротой твой сброд не выстоит и суток.

— Меня нельзя победить,— рассудительно ответила Мать,— мною движет любовь.— И все семь хронистов объективно отметили в своих записях, как в тот же миг из брюк парламентаря, расплавленная ее словами, вытекла на землю взрывчатка.

Но смертник был помилован.

— Иди и скажи Отцу, что переговоров не будет, пока я не увижу над Москвой флаги,— отпуская посрамленного врага, велела Надежда Мира.

— Какие флаги? — не понял парламентар.

— Дурак,— сказала Мать.— Флаги могут быть любого цвета, лишь бы они были белые.

После того как огненный жернов сжег строптивый Воронеж, западные провинции нарушили нейтралитет. Империя задыхалась. Уже витали в воздухе тугие гнилостные миазмы, веяло дыханием роскошной помойки, где заячьи потроха и тропические очистки свидетельствуют о кончине праздника. Империя разлагалась, как труп морского чудовища, выброшенного на берег и накрывшего тушей полконтинента. А когда, уstraшенные бесславной судьбой упрямых, сдались Рязань, Калуга и Тула, противник начал целыми полками переходить на сторону Матери и Надежды Мира. Оскал чудовища был мертвый, глаза его клевали птицы.

Однажды, когда в городской управе Серпухова Надежда Мира предавалась ночным размышлениям о странностях любви, дающей в сердцах людей и гибельные, и живительные всходы, ее по телефону вызвал Кремль.

— Что тебе нужно? — спросил министр войны, и голос в трубке заставил трепетать иссохшую душу Матери.

— Я люблю тебя,— сказала Надежда Мира, внимая коварному предательству ночи, выворачивающему человека слезами наружу.

— Мне казалось, что, проникнув во все твои гроты, закутки и лазы, я узнал тебя,— хрустел фундуком министр войны.— Но я тебя не знаю. Что тебе нужно?

— Я люблю тебя,— повторила Надежда Мира,— и пусть любви моей ужасаются небеса и глина, из которой слеплены люди.

На следующий день нагруженные бомбами самолеты повстанцев вместо Москвы увидели ромашковое поле — столица была усыпана белыми полотнищами. Еще через день в алом, с неистребимым звериным запахом войлочном шатре, раскинутом на свежескошенном поле, Надежда Мира принимала министров и генералов Империи, с достоинством просящих униженного мира. Наделив их скорбными полномочиями, Отец Империи со своим приемным сыном ждали вестей в Кремле. Надежда Мира, которой месть не отравила кровь гремучим ядом безумия, неумолимо следовала слову: она не возжелала всей державы и наказания властителю, она капризно провела по карте драгоценным перстнем, каких имела теперь без счета, и поделила страну на свое и чужое. Так был заключен мир. И, когда на документ легли последние подписи, огненное колесо, повторяя движение перстня, выжгло на земле незаживающий след, начав его в прибрежных беломорских болотах и, описав своенравную дугу через Смоленск и Курск, доведя до кишачих комарами камышей волжской дельты. Здесь жернов с шипением и свистом, весь в белых облаках горячего пара погрузился в Каспий. Рыбаки разделенной Империи ждали, когда в гигантском котле закипит вселенская уха, но море невозмутимо оставалось собой.

Веря, что исполнение судьбы теперь неотвратимо, Мать воцарилась в

Гесперии — Восток остался Отцу. Город, живший в детских мечтах Надежды Мира, город, возрожденный как столица Запада, воздвиг для встречи победителей триумфальные ворота из кедра и дуба, которым позже следовало преобразиться в карельский гранит и бронзу. В день торжественного въезда Матери на улицах раздавали пиво и лимонад, блины и сосиски, воздушные шары, блестящие фольгой раскидаи и гротескные шоколадные фигурки: повстанец вонзает штык в вялое пузо Отца Империи. Два дня без перерыва, словно конвейер на фабрике игрушек, шла под триумфальными воротами нагруженная трофеями армия, два дня зеваки не смыкали жадных глаз, и глаза не могли насытиться.

Во исполнение договора и в знак нерушимости выжженной границы разделенной надвое Империи обменялись почетными заложниками. Мать потребовала к себе белоснежного генерала, посмевшего пренебречь ее любовью, а взамен отдала бывшего адъютанта, произведенного в маршалы за то, что он первым разглядел в ничтожной Клюкве Надежду Мира. Мать не желала мести, помыслы ее были прозрачны и до странного робки: она хотела вновь напоить свое сердце тем восторгом и чувственным великолепием, каким оно переполнялось в дни ее сладкого заточения в населенном жуками и бабочками серале министра войны. Полководцы Надежды Мира не знали, что, талантливо уничтожая города и армии, они трудились единственно ради обретения ею этой утраченной витальной полноты. Однако, когда Мать, не сдерживая желтого света в глазах, среди слегка развязной зелени внутреннего сада Зимнего дворца официально принимала заложника, она тревожно осознала, что вновь способна читать его судьбу. Пока она свивала долгую петлю, желая вновь стать счастливой наложницей, любовь тишком, не прощаясь, вышла из ее крови. Ни одна жилка не дрогнула на лице Матери и Надежды Мира, пока она пела песню, чьи слова незвано, сами по себе слетали на ее губы, не оставляя за собой памяти, как исполненные водою на бумаге письма.

— Из меня любовь выходит жаркой вытяжкой из крови, — с пугающей отстраненностью, тихо и угрюмо пела Мать, — оставляя в жилах жидкий, дрему тешащий бульон, забирая глаз свеченье, дрожь из тела и проклятья каждой, ставшей нашей ночи: не кончайся, слышишь, дура! Из меня любовь выходит, забирая подчистую все твое бывшее чудо, оставляя то, что было от меня любовью скрыто, — на зубах твоих щербинку, след гуся у глаз остывших и надменную улыбку: надоела, что, не видишь? Из меня любовь выходит, искромсав меня, как урка, раскатав меня по бревнам, как горелую избушку... Что тебе сказать, любимый? Уходи к чертям собачьим! Уходи! Беги, не видишь — из меня любовь выходит!

Закончив песню, Мать и Надежда Мира при послых Востока и собственной свите выхватила из серебряных ножен гурду, подаренную ей аксакалами диких гор, и воткнула кинжал в глаз заложника с такой силой, что острие, пронзив мозг, ударило в изнанку черепа. Ярko вспыхнул на белом мундире генерала праздничный тюльпан крови — он ничуть не показался лишним. Воздев руки к небу, с тихим воем выходящего наружу внутреннего жара Надежда Мира на глазах десятков вельмож оплывала, словно парафиновое изваяние, одежда тлела на ней и рассыпалась в прах, и, как ставшее тело свечи, росла под нею ее тень. Прошелестели осыпавшиеся пуговицы, звякнули о землю серебряные ножны и совок чернеца — Надежда Мира исчезала... И она исчезла. Все, что осталось от нее, — это огромная блуждающая тень, неприкаянная и бесхозная, как облако. Только тень. И тихий шорох, будто спугнули стрекозу или порвали паутину.

Покойник, правящий живыми и сохранивший за собой Восток, тоже убил заложника. Он остался доволен: маршал Гесперии умирал двенадцать дней, но Надежда Мира не поднялась из тени.

Александр ПЛОТКИН

БИБЛИОТЕКА

Старуха участвовала в молодости в движении толстовцев. Дряхлость не совсем уничтожила жившую в ней волну мягкого веселья и решительности. Ее голова оставалась девичьей и круглой, несмотря на неопрятную мятую седину. Тело прятала несуразная мышьяная кофта. Голубые глаза сохранили цвет и блестели. Еще до революции она уехала с секретарем Толстого Чертковым в Англию, где он рассчитывал создать всемирный центр их движения. Там она вышла замуж за эмигранта социал-демократа, учившегося в Кембридже. После революции он работал в советском торгпредстве, а потом в посольстве, отвечая за связи с английской интеллигенцией. В его огромной библиотеке были книги на четырех языках. В тридцатые годы он переводил на английский стенограммы показательных процессов над Зиновьевым и Бухариным. Перед войной ему приказали вернуться в Россию.

Она плотно закрыла дверь в комнату.

— Соседям о наших делах знать не нужно. Здесь в квартире есть одна Наташа, которая хочет знать больше, чем ей полагается, и пытается мне указывать. А я всегда любила делать то, что сама захочу. Я уже вижу, что вы мне подходите. Мне нужно, чтобы они попали в хорошие руки.

Ее крепкий, молодой голос барышни не из робкого десятка странно звучал в затхлой квадратной комнате коммуналки, где в воздухе плавала пыль, а под покрывало на кровати были засунуты старые тряпки.

— Я не стану торговаться. Вы же студенты. Я не хочу никаких других покупателей. Цена будет, какую вы скажете.

Мы пришли, чтобы купить книги. Один терял голову от книг, от имен и названий, напечатанных на их переплетах. Сотни запомненных им при разных обстоятельствах книг давали ему чувство причастности к чему-то более существенному и заманчивому, чем обычная жизнь, с которой у него до поры до времени был заключен неустойчивый компромисс. Второй — требовательный, порывистый, резкий и глубокий — искал и не находил в тоскливых семидесятых, чему отдать свои силы. Он был готов увлечься любым делом, которым увлеклись его друзья или просто неожиданно встреченные люди. Третий был талантливым самоучкой. Не поступая ни в какие учебные заведения после школы, он стал хорошим программистом, умел реставрировать старинные рукописи, подделывал любой почерк и тонко играл джаз на фортепьяно. Он рано женился, завел двоих детей и вынужден был всеми возможными способами зарабатывать деньги. Единственный из нас, он имел опыт спекуляции.

— Я решила их отдать. Они мне больше не нужны. Скоро мне вообще ничего не понадобится. Только копят здесь пыль. Заберите их сразу — и всё.

Ее пальцы плохо разгибались и уходили в рукава. Тело как будто исчезало под вытертой кофтой и халатом. Лоб оставался молодым, гладким и крутым.

Книги, привезенные из Англии, заполняли комнату до потолка. На глаз их было тысячи три. Второе можно было сегодня же связать их в пачки, погрузить в машину, расплатиться и попрощаться навсегда.

Один из нас почувствовал, как действует на него ее волна, резкое сочетание молодости и дряхлости, веселья и смерти, значительности и чуждости миру, который был вокруг. Он искал способ сделать так, чтобы сегодняшний день не стал последним днем, когда он ее видит.

— Нужно посмотреть книги и составить список, — сказал он.

Такая работа требовала времени.

— Прекрасно,— сказала она.

Это означало, что они будут встречаться еще три дня.

Мы снимали с полок и переписывали книги, среди которых они с мужем прожили, спрятавшись, двадцать лет, делая все, чтобы о них забыли. Им это удалось. Муж избежал репрессий и умер пятнадцать лет назад. Это была коллекция английской литературы девятнадцатого и начала двадцатого века. Здесь были романы забытого Бульвер-Литтона и книги поэтов озерной школы, полные собрания сочинений Байрона, Шелли и Китса в однотомных изданиях, «Старый моряк» Кольриджа, Диккенс, Вальтер Скотт, Теккерей, эссе Маколея, роман, написанный в молодости Дизраэли, и детектив, сочиненный для развлечения Черчиллем. Мы покупали книги авторов, владевших умами девятнадцатого века, книги Карлейля, эстета-социалиста Рескина, теоретика модерна Уильяма Морриса, книги феминисток, фабианцев, прерафаэлитов, Спенсера, опасные книжки Оскара Уайльда и трехтомный «Закат и упадок Римской империи» Гиббона в роскошных переплетах в стиле «арт нуво». Мы заносили в список и связывали в пачки полный соблазнительных идеалов и призраков прошлый век. Это был век, когда книги казались чем-то невероятно важным, а писатели — главными и лучшими людьми. В этот век стало обязательным держать много книг в доме, а молодые люди начали стремиться к карьере писателя. Этот век был обманут своими писателями — романтиками, суфражистками, социалистами и эстетам. На французском и немецком языках мы нашли здесь классиков, на русском — только стенограммы процессов над врагами народа, которые были тут и на английском в переводах ее мужа.

Он снимал с полки книгу и вслух читал имя автора и название. Она, сидя на кровати, покрытой мятым покрывалом, рассказывала о ней как о последней литературной новинке. Она говорила о том, как была принята книга, кто имел успех, а кто — нет, кто исписался, кто стал наркоманом и т. д. Жорж Санд пригласила к себе Шопена и изменила ему с его же врачом. Но Жорж Санд была писательница, и ей нужны были новые впечатления. Старуха помнила адреса книжных магазинов, имена хозяек салонов и залы для публичных лекций. Она анализировала связи между философскими школами и литературными направлениями. Ее голубые глаза блестели. Он слушал, а потом доставал с полки новую книгу. О каждой следующей книге она говорила все больше и больше. Его друзья отошли на второй план, изредка подавая реплики и радуясь приобретенному призрачному богатству.

К концу третьего дня мы увязали в пачки все книги. По списку их было три тысячи. Мы заплатили ей три тысячи рублей, что было для нас тогда немалыми деньгами, и погрузили книги в крытый грузовик. Она проводила нас до входной двери и каждому пожала руку, улыбаясь.

Он подал руку последним. Они были из разного времени. Слои времени разделял их, и три дня, проведенные вместе, были даже больше того, что они могли получить. И он, и она это знали, но чувствовали, что это уже не в их власти и должно случиться что-то еще.

Мы отвезли книги в дом к нашему другу на Молчановку и там сначала разделили их на более и менее интересные. И те, и другие мы поделили между собой по жребию. Каждый взял свою часть, и библиотека перестала существовать.

Прошло два дня, и нам позвонила ее дальняя родственница. Хозяйка книг требовала, чтобы мы немедленно пришли, и угрожала вызвать милицию.

Нам открыла женщина лет пятидесяти, наверное, та самая Наташа, и молча провела по коридору.

— А, это вы.

Она сидела, положив руки на стол. Гладкий лоб побелел.

— Как вы осмелились обмануть меня? Как вы могли позволить себе не

отдать мне деньги? Мне, человеку, который всегда предоставлял свои книги студентам! Отвечайте: как вы могли это сделать?

В комнате не было ничего, кроме стола, пыли и каких-то бумажек на полу.

— Мы отдали вам деньги, три тысячи.

— Нет, вы мне ничего не давали.

— Но вспомните...

— Нет, я от вас ничего не получала.

— Вспомните, мы вам сразу их отдали!

— Нет, я не могла об этом забыть! Я еще не так дряхла, как вы рассчитывали! Украсть у меня перед смертью деньги — такого я не видела за всю мою жизнь!

Мы не могли ей ничего доказать.

Один из нас молчал, не пытался ничего понять и думал только о том, чтобы все это закончилось без неприятных последствий. Второй волновался и снова и снова старался ее убедить, что он не виноват, зная, что убедить невозможно, потому что это способ получить еще один, четвертый день, вопреки самой себе, всем правилам, времени и обстоятельствам. Чем больше он говорил, тем яснее становилось ее лицо.

Третий в конце концов не выдержал обвинений в воровстве.

— Да поищите же вы эти деньги! Они же у вас где-нибудь тут! В каком-нибудь старом чулке!

Она схватилась за сердце, бившееся где-то под кофтой.

— Уходите. Вы убьете меня. Мне плохо. «Скорую»! Наташа!

Мы ушли.

Алексей САШИН

ИСТОРИЯ БЕГЕМОТОВ

Я хочу сделать фильм. У меня есть забавная история для этого. Представь себе осенний город, у которого в недавнем прошлом дождь. Черно-белые краски. Видимо, ноябрь. Камера плывет несколько секунд по ногам людей — мужчин и женщин; потом берет выше — ловит вспышку солнца, верхушки голых деревьев и, наконец, упирается в спину мужчины, идущего не спеша, ровно. Добротный серый плащ, черные брюки и ботинки. Камера берет его профиль и держит, не отпуская, слева, от маковки до пояса. Мимо мелькают дома, деревья, движутся люди. В какой-то момент мужчина притормаживает, жестами курильщика хлопает себя по карманам, и в объектив попадает расположившаяся на дальнем плане, в скверике, троица полубомжистого типа. Лицо мужчины в черном расплывается, и становится отчетливо видно, что ребята с утра хорошо дерябнули, они полны жизненной энергии и рады общению. Двое из них стоят спиной к камере, а один, как раз секунду назад завладевший вниманием приятелей, поднял вверх указательный палец и значительно закашлялся, явно собираясь сказать что-то важное. И объектив, соблазненный фактурой этого славного парня, оставляет своего первого героя, уже успешшего и прикурить, и шагнуть дальше. Камера крупно берет рыхлое лицо рассказчика, и тот, словно почувствовав неповторимость момента, начинает:

— А вот это, ребята, не анекдот. Это быль. Проверенный факт, так сказать. Все вы что-то знаете об Африке. Ну, это заселенный неграми и диким зверьем континент, очертаниями напоминающий треугольник.

Так вот, наша история произошла на африканском побережье. На берегу залива, в том месте, где на картах обозначен экватор, в бамбуковой хижине жили-были два бегемота. Вы меня спросите: что же они делали на океан-

ском берегу, вдали от джунглей с теплыми болотами, от крутобоких бегемотов и сочной травы? Ответ до смешного прост.

Так сложилось, что бегемоты терпеть не могли охотников. Нет-нет, с людьми вообще они были в хороших отношениях, но охотники... Что-то уж слишком много их разбрелось по привольным африканским лесам.

В общем, бегемоты поживали себе на берегу в полном одиночестве. Кстати, это не была парочка по принципу «мальчик — девочка». Бегемоты были парнями. Нет-нет, ничего гомосексуального! Вы, конечно, слышали, ребята, о таком понятии, как «мужская дружба». Это был как раз тот самый случай. Один бегемот был боевитого толка парень, с огнем в глазах и горячей кровью под толстой кожей. Имя ему было — Тамм. Другой, как это часто бывает, имел совсем иной характер. Он читал книги, и в его уголку ладной стопочкой лежали любовные ромашки в дешевых переплетах. Весь в мечтах, Мотт был куда интеллектуальней и чувствительней своего приятеля. И если бы летним вечером, в час небывалого по красоте заката, он не выглянул в окошко, я, ребята, сейчас рассказывал бы вам какой-нибудь сальный анекдот, а не эту правдивую историю. Я специально отметил, что дело было летом, а не зимой. Соль в том, что зимы в Африке как таковой не получается. Как зарядит в один прекрасный день дождь, так и льет неделю за неделей. Африканцы ждут снега. Они приготовили коньки и лыжи. Но тщетно. Дождь не перестает. В такую погоду бегемоты сидели в своей хижине и занимались тем, что играли в кости. И, скажу я вам, Тамм так хитро наловчился швырять эти пластиковые кубики, что редко когда выпадало меньше девяти. Романтик Мотт все больше мечтал. О лете, о рыбалке, о поездке на родное болото к сестре и матушке, был рассеян и не слишком расстраивался из-за очередного проигрыша.

Но я отвлекся. Наша история произошла, как я уже говорил, погожим летом, когда после рыбалки (а бегемоты солили и коптили акульки плавники на зиму) и домашних дел (а их тоже хватало), в час, когда красно солнышко наполовину спряталось за линией горизонта, Мотт, наш мечтательный друг, оглядывавший привычную гладь моря, вдруг поперхнулся сочной лианой. Кашлянул и тут же удивленно вскрикнул. И, скажу вам, было чему удивиться, друзья. Далеко-далеко, у самого горизонта, слева от плавно уходящего на дно солнца, виднелся корабль, настоящий фрегат.

Мотт задохнулся от восторга и поскорее кликнул Тамма. Тот, нехотя оторвавшись от рыболовной сети, которую лично латал, ленивенько подошел к окну и замер, настезь раскрыв пасть.

— Матка бозка, — выдохнул он и со всех лап кинулся на берег.

А было это все в те стародавние времена, когда никто не слыхивал ни о паровозах, ни о рок-н-рольных командах, а по морю ходили либо босиком, либо под парусом, что укреплялся на высокой сосновой мачте. Действительно, на горизонте виднелось таинственно освещенное судно. И все бы ничего, но вот паруса у этого судна были неестественно багряного цвета.

Подивившись такому обстоятельству, бегемоты тем не менее списали все это на закат и, так как солнце все-таки село, помолившись, легли спать.

Каково же было их изумление, когда, выбежав рано поутру на зарядку, они увидели этот громадный корабль стоящим на якоре в бухте, и паруса у корабля были ярко-красного, а бы даже сказал, алого цвета!

— Как у Грина! — воскликнул порывистый Мотт.

Тамм косо глянул на него, но и он не сумел скрыть восхищенного вздоха.

Они схватили рыбацью лодку и так славно налегли на весла, что скоро оказались у правого борта чудесного корабля. С трудом взобравшись по веревочной лестнице, ступили на палубу.

На всей громадной посудине было лишь два человека. Он и Она. Юноша и Девушка.

Она. Глаза и губы. Ее ресницам, коже и профилю позавидовала бы лю-

бая суперстар, и Грета Гарбо, и Любовь Орлова. Одета была во что-то розовое и легкое.

Парень был и высок, и крепок. Ямочки во всех необходимых местах — на подбородке и обеих щеках. Темные, коротко стриженные волосы. Громадные кожаные сапоги. Фиолетовый камзол. Шелковая рубашка, через открытый ворот которой виднелась волосатая грудь, казалась даже белей лица его спутницы. Словом, фронт да и только.

Хозяева судна обрадовались толстокожим гостям. А бегемоты, которые больше трех лет никого не встречали, позвали милую пару к себе на чашку чая, рыбку и зелень. Девушка и парень благосклонно приняли их предложение. Спустя два часа за круглым деревянным столом, супротив взволнованно сербеющих крепкий чай бегемотов, сидели и прекрасная девушка, и шикарный юноша. Поначалу вели разговоры. Говорили о том о сем, о море, о кораблях, о том, откуда и куда, штилях и штормах, о течениях и о компасе.

Как-то сама собой на столе появилась колода карт, и вот уже красавец парень раз за разом оставлял в дураках то одного, то другого хозяина хижины. Очень скоро бегемотам стало скучно, и Тамм, даром что был азартен, елейным голоском заметил, что карты — ерунда, а «дурак» — случайность, что настоящее искусство — к примеру, кости — способно противостоять глупому случаю и что он, Тамм, готов поставить на кон ларец розового дерева, полный черно-белого жемчуга и бриллиантов. Молодой человек причмокнул и, решительно кивнув, молвил: «Моя ставка — мексиканское золото».

Соперники ударили по рукам. И шикарный парень выкинул «два-три», когда у Тамма вышло «шесть-четыре». Парень содрал камзол и бросил его на пол. И тут же взялся кидать кости снова, закричав, что живо отыграется, а против золотой казны он ставит корабль. Бегемоты ничего против этого не имели. А парень проиграл и корабль. Лицо его пошло пятнами. Он страшно нервничал и поставил против корабля последнее, что у него было, — девушку. И опять проиграл.

Как вы все понимаете, в воздухе запахло какой-то грустью. Что-то нужно было предпринимать. Тогда Мотт, тот, что читал книги, и в частности одолел почти всего Байрона, наклонясь к своему удачливому собрату, стал ему на ухо что-то выговаривать. Вследствие пяти минут шептаний удачливый Тамм согласно кивнул своей продолговатой мордой и, обратясь к юноше, тихо, но отчетливо произнес:

— Ну-у, мы ж не зверги какие. Мы, конечно, вернем тебе девушку. Вернем тебе даже какую-то часть денег. Отдадим тебе и твоей подруге эту хижину, нашу лодку и весь запас вяленой рыбы. Но корабль... Корабль мы оставляем себе. Дело в том, что мы давно мечтали посмотреть мир. Мне говорили, что он прекрасен. Да и себя людям показать — большое дело.

Парень же был счастлив и, глупо улыбаясь, только часто-часто кивал головой и чмокал в щеку вновь обретенную красавицу.

На следующее утро бегемоты встали пораньше и, поставив паруса, взяли курс на север, в Европу, о которой они так много слышали прежде. Ветер был попутный, течения не решались сопротивляться быстрому бегу парусника, и неделю спустя бегемоты достигли Гибралтара. Дальнейшая судьба фрегата с парусами причудливой расцветки неизвестна. О бегемотах тоже информация невелика.

По некоторым источникам, их видели в Кале и Ливерпуле. Другие говорят, что они достигли Амстердама, где всерьез увлеклись травой и местными красотками. Есть версия, что наши друзья побывали в Осло, Новгороде и Дублине, собирая местные легенды. Впрочем, это не главное. Главное же то, что прекрасный юноша и красавица девушка, оказавшиеся в хижине на берегу залива, провели остаток дней именно там, где их оставили бегемоты.

Они жили в любви и согласии счастливо и долго. А после взяли да и умерли в один и тот же день.

Рассказчик перевел дух и радостно улыбнулся.

— Все вроде. Вот.

Нужно заметить, что во время его рассказа о бегемотах, кроме мультипликационно снятых иллюстраций к сюжету, необходимо запечатлеть то удивленные, то восхищенные лица его собеседников. Восторг и негодование, недоверие и радость должны быть тонко и аккуратно вплетены в художественную ткань фильма. Когда парень сказал: «Все вроде» — и, недружелюбно косясь на объектив, отхлебнул из пивной бутылки, камера вдруг опомнилась, что фильм-то не о бегемотах, а совсем об ином — об осеннем городе; она заметалась из стороны в сторону в надежде найти того мужчину, что имел плащ, ботинки и брюки, того, что шел не спеша, что прикуривал и был неразумно оставлен ради колоритного жоака троицы. Камера опять хватает куски неба, плурует меж ботинок и лиц горожан, ищет героя.

Есть два варианта конца этой истории.

Либо находит она его.

Либо нет.

Кирилл ОЛЮШКИН

ОЛОНЕЦКИЕ САГИ

Про ту свадьбу в Кускисъекки

Первый деревянный нужник в Кускисъекки поставил старый Ахти во дворе Якко Сулланена, когда выдавал за его сына Лемпи свою единственную дочь красавицу Майу.

Это не был свадебный подарок. Ахти дал за дочью четыре овцы, полфунта дрови и восемь сетей, причем только две из них бывали в воде, а остальные были совсем новые, а из тех двух, которые уже успели послужить старому Ахти, только одна была чуть изорвана, и Ахти починил ее за день до свадьбы.

А за неделю до свадьбы он поставил во дворе Сулланена деревянный нужник, и вся деревня ходила смотреть на эту будку, опробовала ее и поняла все ее удобство.

Вовсе не был нужник свадебным подарком. Просто на свадьбах обычно бывает много гостей, вот Ахти и подумал, что гостям будет трудно прятаться в день свадьбы друг от друга во дворе Якко Сулланена.

Вот он и срубил нужник. Срубил мастерски, без единого гвоздя, из соснового кругляка. Гвозди, известно, дороги, вот Ахти и сколотил с помощью гвоздей только дверь.

Основательный человек был этот Ахти.

Свадьба была очень веселая, и жених Лемпи Сулланен ни за что никуда не пошел бы с этой свадьбы. Но один раз ему все-таки пришлось выскочить во двор, потому что было очень нужно.

Он заперся в той самой будке, которую срубил Ахти. А в это время сам Якко Сулланен проходил по своему двору, запирая на ночь все двери в сараях и курятниках. Потому что он тоже был основательный человек, этот Якко, не хуже старого Ахти.

Вот он и запер случайно своего сына, жениха Лемпи, в нужнике.

А Лемпи не сразу сообразил, чего это его отец Якко бродит по двору, а когда сообразил, было уже поздно.

Лемпи немного покричал, а потом уселся в нужнике поудобнее и заку-

рил свою трубку. Он все ждал, что кто-нибудь придет в будку, но гости по привычке справляли свои нужды прямо во дворе, и никто не шел.

Тогда Лемпи разозлился на старого Ахти, который решил построить такую прочную будку — сколько ни пинай ее изнутри, не развалишь. И Лемпи стал вырезать разные слова о любимом тесте прямо на двери нужника. Он очень старался, орудия ножом, который всегда носил в правом кармане брюк. Он тоже был основательный человек, этот Лемпи, — надписи получались четкие, глубокие. Чуть не на полсантиметра.

Очень хороши в наших краях белые ночи. Далеко видать в это время. Ночь давно наступила, а было светло, и свадьба продолжалась.

Вдруг кто-то из гостей, по причине хорошей видимости, заметил, что дымится новая будка во дворе у Якко.

На самом деле это Лемпи дымил своей трубкой, а все подумали, что это пожар. Подбежали к нужнику, тут Лемпи и попросил, чтобы его выпустили.

У будки его встретила сама невеста, красавица Майа. Молодые радостно обнялись, но тут Майа увидела надписи, вырезанные на двери, за спиной Лемпи. Прочитав эти надписи, она много нового узнала о своем отце, старом Ахти.

Майа очень обиделась и, не теряя времени, заперлась в нужнике и сказала, чтоб сейчас к нужнику привели ее отца, что они с отцом уходят, а свадьба объявляется недействительной.

Пока Лемпи уговаривал Майу выйти, кто-то из гостей сбегал в дом и принес весть, что Ахти прийти не может — он уже спит по причине водки. А нести его к нужнику нет никакой возможности, уж больно основательный человек этот Ахти.

Но к тому времени, слава Богу, жених и невеста помирились.

Майа вышла из будки, а Лемпи на радостях (и откуда сила взялась!) оторвал от будки злополучную дверь с надписями и бросил ее в траву.

Тут все очень обрадовались и стали веселиться.

А Якко Сулланен, отец Лемпи, на радостях предложил спалить этот чертов нужник к лешему.

Так и сделали. И гости долго еще плясали во дворе Якко вокруг большого костра.

Давно не было такой веселой, запоминающейся свадьбы в Кускисьекки.

А наутро старый Ахти проснулся раньше всех, потому что он и заснул раньше всех, этот Ахти. Проснулся и пошел в нужник.

Только нужника он на месте не нашел, а нашел только головешки. Да еще дверь от нужника, которую оторвал Лемпи и которая лежала в траве с вечера.

И вот этот самый Ахти, позабыв все свои утренние дела, которые только что собирался сделать, стоял и изучал надписи, сделанные в его адрес на этой самой двери рукой его зятя.

В это время из дома вышел Якко, и Ахти сначала напомнил ему про четырех овец, про дробь и сети, а уж потом поинтересовался, что это за надписи валяются в траве перед домом Якко.

Да, хорошо, что свадьба у Лемпи с Майей была веселая и долгая. А то бы не миновать утренней ссоры между кумовьями.

А так у Ахти не было сил сердиться — уж больно болела голова. А Якко не мог найти в себе сил для объяснений, он тоже чувствовал себя неважно.

И кумовья мирно пошли опохмеляться.

А дверь на следующий день сожгли в печи.

Через пару месяцев в каждом дворе в Кускисьекки появился деревянный нужник. Но из предосторожности нужники делались и делаются из досок — хоть изнутри его пихни, хоть снаружи, хоть просто дунь — рассыплется.

Про корову

Кто же лет пятнадцать назад не слышал в нашей округе про Антти Хюлянена, того, что родом из Улиекки, сына Лизы Хюлянен? Его недобрая слава докатилась аж до Куллиярви, и тамошний председатель Федоров, говорят, рассказывал даже в Петрозаводске, что есть-де на свете такой кривой Антти, которого сама старуха Айно поминает в своих заклятиях наравне с нечистой силой и не реже, чем хийси-лешего.

Тридцать два простых карела и один председатель Федоров платили Антти карточные долги.

Он купил себе теплые ботинки и красный мотоцикл с коляской, ни разу не половив рыбу на продажу.

Словно заговорена была его колода. И до такой подлости он доходил, что появлялся на своем мотоцикле с этой самой колодой в кармане прямо на лугах, обыгрывая деревенских мужчин в разгар сенокоса, будто бы и не карел был этот Антти.

Но не зря любила повторять старая Лиза Хюлянен сыну, что на каждого хитрого карела найдется свой финский паренек, или, по-русски говоря, и на бабку бывает дырка.

Не в добрый час отправился однажды Антти Хюлянен на праздник в Ляписюря.

В тот день рыжий Пекка Карху возвращался из Ляписюря, потому что он покупал там корову. Шел Пекка пешком, потому что корова в автобус не влазит. А этот Антти Хюлянен ехал ему навстречу на своем мотоцикле.

Встретились они на дороге возле моста перед Ляписюря — Антти, Пекка и корова.

Еще с того конца моста Антти углядел, что корова Пекке досталась хорошая. Главное, что спокойная. Она и ухом не повела, когда рядом с ней остановился мотоцикл. Этот Антти был хитрый, он не проехал мимо коровы, хотя и торопился на праздник в Ляписюря.

— Тервех теле! Здравствуй, Пекка,— сказал кривой Антти, слез с мотоцикла и заглянул корове под хвост.

— Терве, Антти,— ответил Пекка и потянул корову за веревку, потому что он тоже был неглупый парень, этот Пекка Карху.

— Не знаешь ли ты, Пекка, продал ли нынче на ярмарке свое ружье старый Ахти? — спросил Антти и взял корову за левый рог, потому что Пекка уже успел схватиться за правый.

«Где ж это слыхано, чтобы старый Ахти продал свое ружье?» — подумал Пекка и раздавил на своей шее комара. Он уже собирался сказать, что не видел на ярмарке никакого Ахти, а вот Якко Сулланен купил у совхоза поросую свинью, но тут Антти хитро посмотрел на него и добавил:

— А теплое нынче лето выдалось, Пекка.

Никто не может помешать карелу говорить, если уж он в настроении разговаривать.

Хорошо знал это Пекка, поэтому привязал корову к березе, сел на валун возле дороги, закурил и ответил, что лето действительно совсем неплохое.

— И комаров немного,— добавил Антти и достал из кармана колоду карт.

Каждый может доставать из своего кармана колоду карт, но Пекка встал, бросил окурок в траву и решительно заявил, что комаров могло бы быть и поменьше и что леший знает, откуда в Ляписюря столько комаров, хотя, говорят, ближе к Олонцу их и вовсе днем не бывает.

Вот тут-то Антти и спросил его, сколько он заплатил за корову, если согласен сам ее вести двадцать километров до деревни по таким комарам.

Пекка ответил не сразу, но честно и точно, потому что не было у него причин что-то скрывать:

— Да, Антти, достаточную цену я заплатил за корову.

— Неужели твоя корова стоит целых девятьсот рублей? — удивился Антти и даже спрятал карты обратно в карман, потому что корова не могла столько стоить. Ну разве что очень хорошая, каких показывали как-то в Олонце на выставке, так ведь тех коров никто и не думал продавать.

Пекка посмотрел на свою корову с гордостью. Хорошая корова ему досталась. И рога у нее были, и хвост, и глаза. Но все-таки никак эта корова не могла стоить целых девятьсот рублей.

— Нет, Антти,— сказал Пекка,— моя корова стоит поменьше. Я думаю, что стоит она восемьсот тридцать рублей, хотя заплатил я за нее семьсот шестьдесят.

— Да неужто семьсот шестьдесят рублей заплатил ты за корову, Пекка?

— Семьсот шестьдесят.

И Пекка снова посмотрел на свою корову с гордостью, потому что она как-никак стоила семьсот шестьдесят рублей, а ведь могла стоить и восемьсот тридцать.

Помолчали. Пекке вдруг очень захотелось поскорее довести корову до дому, чтобы показать своей матери, бабке Эрви.

Он стал подыскивать нужные слова для прощания с Антти и, не придумав ничего лучшего, заговорил напрямик:

— Хорошая была нынче ярмарка, Антти.

Но Антти, который до сих пор смотрел на корову во весь свой единственный глаз, не стал развивать разговор в таком невыгодном для себя направлении.

— Уж больно хороша твоя корова, Пекка,— сказал он немного даже торопливо.— Не продашь ли ты мне ее за восемьсот двадцать рублей?

Пекка никак не ожидал такого поворота событий, поэтому раздавил на шее еще одного комара и снова закурил. Сначала он подумал, что все-таки очень повезло Якко Сулланену, который купил в совхозе поросую свинью просто за бесценок. Потом он подумал, что хорошо же живут эти Хюлянены, если у Антти есть восемьсот двадцать рублей, что это очень большие деньги и что на эти деньги можно даже купить корову. И что даже восемьдесят рублей еще останется. Вот как подумал Пекка Карху.

— Да, хорошая у меня корова,— сказал он наконец твердо и выбросил в траву второй окурочок.

Увидев, что дело идет на лад, Антти продолжил атаку:

— А ведь большой дом построил себе Якко Сулланен в прошлом году.

— Большой,— подтвердил Пекка и посмотрел на корову.

— Два этажа в этом доме,— припомнил Антти.

Тут Пекка начал беспокоиться, что Антти забыл о своем предложении, и взял быка за рога:

— Да, умеет жить этот Якко. Сегодня он очень выгодно купил на ярмарке у совхоза поросую свинью.

— Да неужто старый Якко купил сегодня на ярмарке свинью?

— Купил.

И, не дожидаясь ответа Антти, Пекка добавил тоже несколько торопливо:

— Этот Якко никогда не переплатит, если покупает поросую свинью. А случись ему продавать, к примеру, корову, он ни за что не продешевит.

И, снова не дав Антти ничего ответить, Пекка протянул ему пачку папирос.

Молча закурили.

Не больно-то весело идти пешком, скажем, два десятка километров, да еще с коровой на привязи. Комары да оводы к ней так и липнут...

Рыжий Пекка погасил папиросу и решительно выговорил:

— Бери мою корову, Антти. За восемьсот двадцать рублей.

Антти, в свою очередь, выбросил окурок и достал свои папиросы.

— Ну и везет же тебе, Пекка! — сказал он через минуту. — Ведь, если я не ошибаюсь, целых восемьдесят рублей заработал ты сегодня, Пекка.

Пекка Карху не любил три вещи на свете: когда его оставляют в дураках, когда это происходит чаще семи раз в неделю и когда чужие обсуждают его денежные дела. Но сейчас возразить было нечего.

— Да, восемьдесят рублей я заработал сегодня, Антти.

— А не сыграть ли нам на эти деньги в карты? — спросил кривой Антти Хюлянен и снова достал свою колоду.

Тут уж Пекка думал не больше пяти минут.

— Знаешь ли ты мою мать Эрви? — спросил он и решительно засунул свои папиросы в карман. — Моя мать, Антти, всегда говорила мне про карты две верные истины.

Пекка снова помедлил, вспоминая мудрые слова своей матери, старой Эрви.

— Главное, говорила она мне, не играть в карты никогда, потому что очень просто можно проиграть.

— Подожди, Пекка, — перебил его Антти. — Всем известна мудрость твоей матери, старой Эрви. Но сейчас я даже не хочу слушать вторую истину. Ведь можно и выиграть.

И Антти даже привстал от сознания собственной правоты.

Это было верно. Говорят, выиграть можно даже у кривого Антти. Правда, до сих пор ни у кого не получалось.

Пекка задумался.

А Антти уверенно продолжал:

— К тому же ты сегодня заработал кучу денег. Даже проигрыш тебе не страшен.

Пекка молчал.

— Я поверю тебе в долг, Пекка. А сам буду ставить деньги.

И Антти вынул из кармана несколько рублевых бумажек.

Легко, видать, доставались деньги этому Антти. В следующие десять минут Пекка выиграл у него сорок пять рублей и немедленно получил свой выигрыш.

Потом проиграл двадцать рублей.

Потом выиграл двадцать пять.

Перевалило уже далеко за полдень, когда Пекка почувствовал, что ему очень понадобились деньги. Барыш в восемьдесят рублей давно был проигран, на кону лежало около сотни рублей, а ставку не мешало бы повысить — уж больно хороши были карты на руках у Пекки.

И тут Пекка вспомнил об одном деле, которое не успел сделать до начала игры.

— А ведь ты, Антти, — сказал он, — должен мне никак не меньше восьмисот рублей. А точнее, восемьсот двадцать рублей должен ты мне, Антти.

— Да, восемьсот двадцать рублей стоит твоя корова. Именно столько должен я тебе, Пекка. Но с собой у меня нет таких денег. Ведь я вовсе не собирался покупать себе корову. Я отдам тебе деньги вечером.

Тут Пекка приуныл. Исное дело — раз Антти не собирался покупать корову, то с собой денег у него нет.

И вдруг ему в голову пришла мысль. Светлая голова временами была у этого Пекки Карху.

— Послушай, Антти, — сказал Пекка, — ведь если вся корова стоит восемьсот двадцать рублей, то сколько же, к примеру, может стоить ее голова? Ведь никак не меньше пятидесяти рублей стоит голова у этой коровы?

Антти вынужден был согласиться. Привязанная к дереву, корова объе-

ла уже всю траву вокруг и, несмотря на свой спокойный характер, уже поглядывала на Антти и Пекку весьма недружелюбно. Но все-таки ее голова никак не могла стоять меньше пятидесяти рублей. Антти согласился.

А Пекка в ответ на это продолжал:

— А ведь ты не отдал мне за корову еще ни рубля, Антти. Значит, корова моя, раз я еще не получил за нее денег. А раз корова моя, то я ставлю на кон голову этой коровы, которая стоит пятьдесят рублей. И мы посмотрим, у кого лучше карты, Антти.

Истинную правду говорил Пекка. Антти никак не мог с ним не согласиться.

И через минуту стал собственником около ста рублей и одной коровьей головы.

Этому Антти просто очень сильно повезло. Но не могло же ему везти постоянно! Через десять минут, весьма придирчиво осмотрев спорную корову, игроки решили, что шея этой коровы стоит никак не меньше сорока рублей, но никак не больше шестидесяти. Пятьдесят рублей, решили они, стоит шея этой коровы. И еще через десять минут эта шея полностью принадлежала Антти.

За сто рублей пошла коровья грудь вместе с загривком, в сто рублей оценили левую переднюю ногу, во столько же — правую.

Через час половина коровы принадлежала Антти. И, словно почувствовав всю свою нецеловность, корова вытянула пятидесятирублевую шею и заревела во всю пятидесятирублевую глотку.

Словно очнулся Пекка Карху от вопля наполовину проигранной им коровы. И встала перед его мысленным взором мать, старая Эрви.

Антти снова сдавал карты, справедливо посчитав, что задняя левая нога коровы никак не может стоять меньше передней. Но Пекка остановил его.

— Знаешь ли ты мою мать Эрви? — спросил он сурово. — Несправедливо сердимся мы на своих матерей. Верно говорила мне мать: не трогай карт, глупый Пекка, можно проиграть. И вот половину коровы проиграл я тебе, Антти. Но никогда не поздно послушаться матери. «Если уж ты начал играть, Пекка,— говорила мне она,— то проигрывай всегда только половину и не пытайся отыгаться». Вот вторая истина, которой научила меня мать, Антти. Я больше не буду играть с тобой в карты.

Почтительным сыном был этот рыжий Пекка Карху. Сколько ни уговаривал его Антти — Пекка не стал больше играть.

К вечеру владельцы коровы пригнали свое рогатое имущество в деревню. Мотоцикл Антти пришлось спрятать в лесу возле Ляписюрья, потому что Пекка никак не соглашался вести корову за веревку, потому что веревка была привязана к коровьим рогам, а рога по праву принадлежали Антти, раз уж он выиграл их вместе с коровьей головой.

Пекка шел сзади и изредка стегал вицей по коровьему заду, раз уж этот зад принадлежал ему на веки вечные.

В деревне поставили корову в хлев Пекки, потому что целых две коровы вертели головами в хлеву у Антти. И не было там места для еще одной головы. К тому же Антти заявил, что не собирается убирать навоз за этой коровой, потому что хвост ее принадлежит Пекке, и все, что валится из-под этого хвоста, — его надежное достояние.

Вечером Пекка подоил корову с полным на то правом и порадовался, что не успел проиграть ее вымя — уж больно удою получился хорош.

А ночью Пекка явился к Антти и сказал, что вовсе не собирается кормить голову этой недавно приобретенной коровы. Потому что голова принадлежит Антти. Да и заметно, что голова этой коровы сродни семейству Хюлянен — по вредности и настойчивости, с которой эта голова третий час орет на всю деревню, требуя еды.

И Антти вынужден был пойти накормить эту чертову корову, потому что правда была на стороне Пекки. А вопли голодной скотины не давали спать Лизе Хюлянен.

Доход тоже был на стороне Пекки, то есть сзади коровы. Доилась она хорошо. Но и жрала соответственно. Паслась корова, естественно, на выпасе Хюлянена. Пекка, так и быть, выгонял ее на этот выпас по утрам, настаивая вицей по задней коровьей части. И таким же манером загонял ее вечером в свой хлев.

Антти он не уставал напоминать, что сена тому придется в этом году заготовить побольше — все в деревне видели, какая прожорливая корова досталась Антти и Пекке на ярмарке в Ляписюря.

Всего неделю выдержал такое положение дел этот Антти Хюлянен.

Как-то с утра он явился к Карху, выпил всего одну чашку чаю и повел разговор даже с чрезмерной горячностью:

— Черт бы побрал того человека, который придумал поставить нашу деревню всего в двадцати километрах от Ляписюря!

Мать Пекки, бабка Эрви Карху, которая сидела за столом вместе со своим Пеккой напротив Антти, заметила, что не так уж плохо иметь под боком поселок, в котором изредка бывают ярмарки.

Только дурак не почувствовал бы издевки в ее словах, сварливая бабка была эта Эрви.

Антти просто рассвирепел.

— Уж больно прожорливых коров продают на тех ярмарках! — зарычал он. — И дурак будет тот хозяин, который не согласится лучше зарезать такую корову, чем кормить ее не один год.

Но Пекка ответил, что ни один хозяин не согласится зарезать такую корову, которая дает никак не меньше двадцати литров молока в день, и что он, Пекка, никогда не изменит своего мнения.

— Да ведь полкоровы принадлежит мне! — взревел Антти уже без всякой дипломатии.

— А другая половина — мне, — ответил Пекка и закурил. Он и Антти протянул пачку, но тот уже достал кошелек и отсчитывал деньги.

— Вся корова стоит восемьсот двадцать рублей, — бурчал он. — Ты, Пекка, проиграл мне ее переднюю часть, леший ее заberi, за четыреста. Вот тебе четыреста двадцать рублей и не будем ссориться из-за этой чертовой скотины.

— А знаешь ли ты, Антти, как вздорожало нынче молоко? Даже одно вымя этой коровы я не продам за четыреста двадцать рублей.

Торг шел в течение четырех часов. Старуха Эрви успела обежать всю деревню и сообщить, что хозяйству Хюлянена, похоже, пришел конец, уж больно несговорчив с утра ее Пекка.

Но к полудню стало известно, что хозяйство Антти все-таки сохранил. Более того — что с этих пор ему не придется тратиться на бензин, потому что его мотоцикл достался Пекке. К вечеру знаменитую на всю деревню корову он, ругаясь, как ругался в наших краях только пьяный председатель Федоров, перевел в свой хлев и с тех пор кормил и доил ее сам, пока к осени не продал. Скверные воспоминания будила в нем эта корова.

В тот день, когда он получил ее всю, старуха Лиза Хюлянен сожгла в печи его знаменитую колоду карт.

А красный мотоцикл цел и по сей день. Только Пекка Карху нечасто на нем ездит, уверяет, что этот мотоцикл жрет почище любой коровы — никакого бензину не напасешься.



Зерна граната

Алексей ГЕЛЕЙН

* * *

Это — октябрь. В предчувствии лезвия острого
Ливней — в предсмертной тоске истончились леса.
Вскрикнет журавль. Трагической скрипкою Ойстраха
Вдруг отзовутся озера, поля, небеса...
Это — октябрь. Обходчик ли, стрелочник, будочник —
Вечный огонь навсегда унесет в фонаре.
Телеграфистка, от щей ошалевшая «суточных»,
Точки над «і» передаст как сплошное тире...
Это — октябрь. Уйдут эшелоны порожними.
В рыжее месиво падает плод налитой...
И не пейзаж: под безумною кистью художника —
Лишь пустота... В пустоте... пустоты... пустотой...

...сокроемся туда,
Где волны кроткие Тавриду омывают.
К. Н. Батюшков

Таврида

Ничего не случится... уже никогда не случится!
Лишь ворчание двери да легкая тяжесть ключей.
Уезжаю в Тавриду, чтоб спрятаться... нет — подлечиться,
Сделать вид, что поверил нелепому вздору врачей!
Уезжаю в Тавриду, где воздух удушлив и сладок,
Где в прибое теряют значение время и вес...
Холодит и щекочет ладони мне гроздь винограда,
Прилипает к стопам твоя мертвая пыль, Херсонес!
Уезжаю в Тавриду такого-то месяца, года...
В это страшное лето забвением — ласковый бриз.
Мне хватает для ран растворенного в воздухе йода,
Чтобы изо дня в день расшибаться о камни до брызг!
Уезжаю в Тавриду, где травы колючи и цепки,
Чтоб достать не могли из послушных, но дальних пращей,
Чтоб — как чайки над морем — лиловой латынью рецепты
Подтвердили неизбежность вечного хода вещей...

* * *

Взмах руки — и железная бритва армад
Рассекает на городе скулы!..
Соком полон гранат. И горит алмаз
На персте указующем Суллы.
Горожанин спасает накопленный скарб,
Став внезапно персоной нон-грата.
А на клочья разорванных траками карт
Кто-то высыпал зерна граната...

Владимир ЛАВРИШКО

* * *

Побеждает всегда побежденный.
Гунн взирает на Рим обожженный,
выпуская на площадь свиней.
Что разруха? Да дело не в ней!

Дело в том, что на родине гунна
в белый мрамор оделась трибуна.
И беснуется в пляске знамен
в сытой силе своей стадион.

Побеждает всегда побежденный.
Стук колесный и говор вагонный.
И вкрапляется, с матом на треть,
в этот говор трофейная речь.

* * *

Жил-был человек, никому не желающий зла.
Жизнь трудной была, а мигнуть не успел он
— прошла.

И молча он плакал, и молча стоял у окна.
Соседа позвал и купил две бутылки вина.

«За что? — говорил он соседу. —

За что?!» — он его вопрошал.

А тот отродясь-то вопросов таких не решал.
Тот просто не понял, о чем вдруг пошел разговор.
«Конечно, — сказал он, — небось ты не жулик, не вор.
Давай лучше выпьем, и ну их в болото совсем.
Не трать на них нервы, раз дело такое, сосед».
«Да как же не тратить! — кричал человек во хмелю. —
Не вор я, приятель! Но жить я, конечно, люблю!»
«Не ссорься ты с ними! Нет, Боже тебя сохрани!»

И молча сидели, вино допивали они.

* * *

...И куст, горящий на горе.
И с кузницею под горой,
с ключом, с мостками над ключом,
простой заботой удручен,
оттягивая лемеха,
дымя корявою трубой,
дыша, как хриплые меха,
мелькнул, как сон, и был таков
под перестуки молотков.
Вечерним стадом он пылил
и на закате куковал,
туманы свежие стелил
и голос иволги ковал.

И с кузницею на горе,
где пресс, как трехэтажный дом,
усилиями в сотни тонн,
с чадящим атомом в руке
на кругосветном сквозняке,

где каждый дом, как сотни сот,—
янтарный свет, бетонный мед.
Что он кует? Куда плывет?
Когда не плачет, то поет.
А также и наоборот.
И с кузницею на горе.

Санджар ЯНЫШЕВ

Перстень

You are quite memoried, quite free...

Зеленый камушек нефрит
Горит и смотрит, не моргая.
Внутри, как в кузне, горячо;
Он твоим голосом речет:
«Я не такая, я — *другая!*»

Я знаю, милая, я сам
Не верю крошечным глазам —
Вот подрастет: «Каков он — гляньте!»
Чтоб потемнел да поостыл
(Его ресниц касалась Ты!),
Чтоб налился, как желудь, глянцем...

Я буду листья крон листать.
Я буду зелень мха глотать;
И ждать: вот-вот заколосится
Твоя трава — я потерплю...
А после разом преступлю,
Как тать, границу роговицы.

(На пальце голову кружит
Зеленый камушек нефрит:
«Не ври!»)

* * *

в осклизлом городе
ко мне болезни липнут точно в оны
дни драгоценный дар к рукам Мидаса
вот именно поэтому есть маза
что злобные бактерии и воры тебя не тронут
(мой бедный разум...)

* * *

Мы придорожности ландшафта, кастаньеты,
мы бубенцы на гнущихся запястьях
смешливой дурочки; мы смех в стекле, но за стеклом нас нету.

* * *

Две памяти не встретятся сегодня,
Как бой тимпана с запахом тюльпана.
И смотрят на одну и ту же воду
Из-над планктона — из-под океана.

* * *

Никто не сможет в этот холм вогнать
меня, как столб,— я дерево с ногами;
я землю пью и дрожжевую гать
утаптываю мелкими глотками.

И ком движенья, судя по клейму,
что временем из стари именуют,
со мной не ищет встречи — я ему
навстречу устремляюсь — и миную.

Наталья КОЖЕВНИКОВА

* * *

затягиваются раны
и отступает бессонница
заканчиваются романы
ни строчки из них не вспомнится
и гудки в телефонной трубке
уже так легко не ранят
еще на запах — вдруг — «сладкой жизни»
обернусь — подведет память
и заходя в булочную —
странное теперь место —
хлеб покупать — так буднично:
«я люблю тебя» — «полбулки белого»
но внезапно — сбой в дыхании —
на работе зовут к телефону
и сердце опять раненное
к тебе протягиваю — пробуй
и никак не затянутся раны
и опять — здравствуй бессонница
утром заканчиваются романы
а вечером — дописать так хочется

Вальс

боги танцуют вальс
убогие пьют вино
те, что помнят о нас
и те, что уснули давно
у нас нынче дожди
у вас на шляпе перо
а он просто похож
на грустные песни пьеро
а пустыни полны людей
они дружно едят песок
и рожают себе лошадей
и стреляются в правый висок
рвут зубами любовь
или пьют от весны до весны

бьются губами об лед
озер по имени сны
ветер вышел из тьмы
полетал и вернулся назад
бессмертный житель страны
забылся и принял яд
дети поймали змею
и болтали с ней до утра
а она молчала, как смерть
и тогда ты сказала пора
боги мои пьяны
спать не дают всю ночь
дети танцуют вальс
я убираюсь прочь

* * *

ночь прошагала строевым шагом
мимо окна, к которому скоро прилипнет день
окно из стекла
стекло из воды
она зальет все наши следы
звезды лежат на тарелке неба
откуда их кто-то постоянно ест
небо из воска
воск из огня
в нем сожгут и тебя и меня
и снова снег сыплет трухой
похожей на старый бутерброд в клеточку
и этот месяц, изогнутый
как желтая бровь на твоём лице
бери ложку и ешь ночной суп

* * *

небо лопнуло как бабл гам
где-то там есть смерть
а здесь скучно как в кино
поиграй со мной маленькая девочка
я украду для тебя трамвай
буду загадочным как максим горький
поиграй со мной
я устал
посмотри на меня своими светлыми глазами
как тебя зовут?
мессалина



Золото гоблинов

РОМАН

34

К кому относить плывущих, спрашивали древние греки, к живым или к мертвым?

К кому относить летящих через океан на десятикилометровой высоте?

Плывущие по крайней мере пребывали в осязаемом мире, а братья летящему — облака, имеющие все признаки бытия, но при этом, увы, вряд ли существующие.

Я летел через Атлантику почти в одиночестве: босс развлекал в бизнес-классе шестерых подопечных предпринимателей, лишь однажды навестив меня, чтобы с заговорщицкой улыбочкой протянуть два мерзавчика «Самус ХО», которого в нашей части самолета, понятное дело, не подавали. Волнуясь, я опустошил один из них, затем заказал еще две или три порции коньяку попроще и благополучно заснул. Спал я и после амстердамской пересадки, лишь время от времени скидывая голову и пытаюсь по пейзажам, расстилавшимся внизу, догадаться, пересекли ли мы столь страшившую меня границу. Раскрыв же глаза всерьез, я увидел за окном потрескавшийся асфальт летного поля в гудроновых заплатках и подъезжающий трап с надписью «Аэрофлот», за которым вразвалку следовало человек шесть пограничников. Вокруг самолета кругами ездила желтая автомашина неизвестного назначения. На пограничный контроль стояла порядочная очередь, впрочем, ненамного длиннее, чем в монреальском аэропорту. Тележек для багажа (к большому неудовольствию наших предпринимателей) не наблюдалось. Постояв минут двадцать у скрежещущего конвейера для багажа, мы заняли очередь подлиннее — на таможеню, многократно описанную как иностранцами, так и отечественными диссидентами. (Как забавно перекочевало это слово из живой речи в историю.) Виниловый чемодан вызвал особый интерес чиновника, долго пересчитывавшего и взвешивавшего на руке все эти жалкие свитера и кофточки с еврейских благотворительных базаров. «С вас шестьсот восемьдесят рублей пошлины, — сказал он, — и еще сто двадцать за платье». Голос его был тускл, но кабаньи глазки злорадно посверкивали. Я взвился. Платье — вишневого бархата, с высоким воротником — лежало вовсе не в виниловом чемодане. Сам не знаю почему, я вдруг взял его с собою.

— Для личного пользования, — сказал я гордо.

— Лапшу мне на уши вешать не надо, молодой человек, — зевнул таможенник. — На гомика вы не похожи. Долларов мы не берем. Сходите в обменный пункт, багаж можно пока оставить.

Оставив виниловый чемодан на алюминиевом столике для досмотра, я вышел из таможни, несколько подавленный размерами испрашиваемой суммы, которая поглотила бы больше половины моей наличности. Однако по дороге к обменному пункту, где за доллар мне дали бы рубля два с половиной, меня перехва-

тил энергичный молодой человек в скрипучей кожаной куртке. В немой руке он красноречиво сжимал пачку сторублевых банкнот. Одиннадцать к одному, шептал он, увлекая меня за собой в аэропортовский туалет и приговаривая нечто вроде «не бзди, шеф». Я похлодел, вспомнив нервные предостережения АТ, но полиция нас не схватила, деньги оказались настоящими, и нечто вроде ностальгии охватило меня при виде памятного гипсового профиля на этих сравнительно небольших помятых бумажках. (Кто-то заметил, что советские деньги — едва ли не единственные, где вместо живого человека изображен застывший медальон.) Я расплатился с таможенником и, дождавшись господина Верлина и бизнесменов (интересовавших меня столь мало, что все эти шестеро рослых седоватых мужчин как-то с самого начала поездки слились для меня в некое шестиглавое, двенадцатиногое чудовище — вероятно, напрасно, ибо душа, говорят, гнездится даже в самых жалких представителях человеческого рода, вроде банкиров, предпринимателей и политических деятелей). Моя собственная душа тихо радовалась. Дурак таможенник, роясь в тряпках, настолько воодушевился, что не стал обыскивать мой атташе-кейс на предмет литературы, которую по тем временам считали подрывной. Никогда не забуду умоляющих глаз АТ, когда он, заранее готовый к унижению, отказу, протягивал мне три выпуска эмигрантских журнальчиков, повторяя, что Господь мне зачет этот небольшой риск.

Не успели мы пройти и трех шагов, как ко мне подошел некто, при ближайшем рассмотрении оказавшийся Иваном Безугловым (героем написанной впоследствии шутовской повестушки под тем же названием) — рослым мужиком со слегка одутловатыми щеками, то ли от пьянства, то ли от небрежного бритья. На улице, вероятно, моросило, потому что Безуглов был облачен в защитный плащ. Перед глазами он держал фотографию вашего покорного с паном Павлом, вдумчиво сверяя изображения с оригиналами.

— Господин Чередниченко? — предупредительно улыбнулся он. Зубы его, впрочем, были не по-советски крупными и белыми.— А где шеф?

Я пожал руку нашему соратнику и указал на пана Павела. Безуглов расцвел.

— Очень, очень рад наконец познакомиться,— частил он, семена рядом с шефом и крутя в пальцах дурацкую фотографию.— Чрезвычайно рад и рассчитываю, что вас в Москве ожидает удача. Все подготовлено. Транспорт, гостиница, развлечения, достопримечательности столицы для ваших коллег. Заказан ужин в ресторане «Пекин». Зарезервированы встречи в министерствах, ведомствах, в частном секторе — нарождающемся частном секторе! — воскликнул он напористо.— Эпоха реформ! Гласность! Перестройка! Ускорение! После многих лет страданий Россия строит настоящий, не искаженный злонамеренными политиками социализм!

Я устал с дороги и не оценил этой клоунады, хотя, признаться, меня тянуло сообщить господину Безуглову, что и после ремонта тюремная камера не перестает быть тюремной камерой. (В те годы я был пессимистом и теперь могу смело сказать, что мои грустные прогнозы оправдались если не буквально, то по существу. Тем более жалко мне тех, кто испытывал тогда прилив детского восторга.)

Мы вышли из здания аэропорта, и Безуглов с гордостью подвел нас к трем автомобилям — не «Ладам», как я ожидал, а черным «Волгам», впрочем, порядочно разбитым. Мы двинулись. На заднем сиденье продолжал нести восторженную околесицу наш гид, пан Павел вежливо хмыкал, видимо, прокручивая в голове программу на ближайшие дни.

Я жадно смотрел за окно, ожидая то ли припадка любви к родине, то ли, наоборот, приступа безразличности, столь часто одолевавших меня в Монреале, но не испытывал ни того, ни другого. Стояла ранняя весна. Шоссе еще не просохло от недавнего дождя. Машину ощутимо потряхивало на колдобинах, разлаженный мотор тархтел и присвистывал. По сторонам дороги тянулись одноэтажные развалюхи, которые не спасет даже капитальный ремонт. Старухи в серых платках торговали у обочин пучками зелени. Время от времени мы проезжали мимо людей в грязных белых ха-

латах, колдовавших над ржавыми шашлычницами. Жующие стоя клиенты вытирали руки клочками газетной бумаги и отпивали из мутных стаканов какую-то жидкость. Судя по замороженному выражению лиц, это была отнюдь не минеральная вода.

— Первые ростки свободного предпринимательства,— радостно заявил Безуглов,— еще год назад дорога была мертва — ни закусить, ни выпить...

35

Семинар был мероприятием не слишком прибыльным, но многообещающим. Каких-то денег нам подкинули из Оттавы, кое-что заплатили сами участники. Шестиголовый зверь представлял разнообразные отрасли канадской промышленности, и надо сказать, что я изрядно попотел, переводя лекции, изобиловавшие не только рекламной дребеденью, но и техническими описаниями. В Москву прибыл также контейнер с образцами и сувенирами. Ошибается тот, кто, презирая предпринимательство, считает его незатейливым делом. Современный предприниматель подобен вопиющему в пустыне. Неприкаянно сжимает он в руке образец продукции, скажем, кофеварку, и если будет в бездействии ждать доброго самаритянина, который захочет выложить за нее известную сумму, то скорее всего умрет с голоду. Нет, самаритянина следует сначала отыскать, заставить слушать, а затем еще и уговорить расстаться с честной трудовой копеечкой. А вокруг, между прочим, подобно алчным волкам бродят конкуренты, предлагающие точно такие же кофеварки...

Вот почему так воодушевился господин Верлин, когда в России наступила новая эпоха.

— Любезные господа,— соловьем пел он в Броссаре недоверчивым предпринимателям,— на ваших глазах открывается новый необъятный рынок. Тот, кто пойдет на скромный риск для того, чтобы попасть первым на этот клондайк и врыть в землю свой заявочный столбик, станет не миллионером — миллиардером. Семьдесят лет в России производились лишь третьесортные товары. В бытность аспирантом я мог прожить год на один чемодан вещей, которые привозил из Праги и легально продавал через комиссионные магазины. России нужно все — текстильные фабрики, электронное оборудование, навигационные приборы, самолеты, жевательная резинка, предметы гигиены. Да, сегодня русский потребитель зарабатывает гроши. Но завтра! Завтра свернется военная промышленность, ибо новой России не нужна будет такая военная мощь. Завтра ресурсы страны начнут попадать к ее гражданам. У них наконец появятся доходы. И с этими доходами будет сопряжена ненасытная жажда потребления. Мне жаль, что вы не видели глаз советского человека при виде самых простецких джинсов «Ливайз»!

Поначалу бизнесмены жались, помалкивали, пожимали плечами, но вскоре я заметил, что каждое упоминание слова «миллион» действует на них, как чашка кофе по-турецки, а слова «государственные гарантии» — как рюмка хорошего коньяку.

— К тому же к вашим услугам фирма «Канадское золото»,— продолжал Верлин.— Основательнейшие связи во всех кругах российского общества. Не надо забывать, что Горбачев начал перестройку под влиянием Масарика, идеолога Пражской весны и моего ближайшего друга. Все двери будут для нас открыты! Мы уже сотрудничаем с крупной частной фирмой, одной из первых в СССР и соответственно одной из самых влиятельных. У нас завязаны контакты с банком «Народный кредит», уже открыт счет в рублях, ждем момента, когда можно будет начинать конвертацию...

— Что начинать? — насторожилась одна из драконовых голов.

Бедный пан Павел! Увлечись, он дал маху. Дракон был уверен, что прибыль из России можно будет вывозить беспрепятственно, и лекция о превратностях этого процесса (а точнее, его практической невозможности в те годы) была бы явно излишней.

— В настоящее время прибыль из СССР можно экспортировать только в виде товаров,— при этих словах я замер,— нефть, алмазы, золото, удобрения...

Дракон успокоился и заулыбался всеми шестью головами. Еще через полчаса этой лекции — далеко не первой, впрочем, — семинар был уже на мази. Даже в случае неуспеха он обеспечивал господину Верлину бесплатную поездку в Москву (где планировался первый тур переговоров о несовершенном золоте) плюс пара десятков тысяч на текущие расходы. В составленной мною смете пан Павел бестрепетно увеличил все цифры ровнехонько в полтора раза и только после этого приписал к ним честные двадцать процентов за организацию семинара.

У входа в гостиницу стояли человек шесть полицейских в синей форме. К моему удивлению, Безуглов подошел к сержанту и, преувеличенно улыбаясь, пожал ему руку, даже похлопал по спине. После утомительного перелета я не без радости простился до утра и с драконом, и с паном Павелом. Что же до Безуглова, то он уговорил меня отправиться в бар «оттянуться».

— Здесь где-то должна быть скульптура «Рабочий и колхозница»,— заметил я.

— Завтра, завтра,— отвечал Безуглов с идиотской жизнерадостностью.

Если с паном Павелом Безуглов говорил заискивающе, то со мною — как бы даже и панибратски.

— Старик,— воскликнул он,— давай на «ты»! Ты ведь настолько моложе!

— У нас в Квебеке,— сказал я вежливо,— на «вы» друг друга почти не называют. Тоже сразу переходят на «ты».

— Ну, здесь у нас не Квебек,— затуманился Иван Безуглов,— здесь, Гена, другая жизнь. Ты давно слинял? Двадцать лет! — Он присвистнул с некоторым оттенком уважительности.— Что-нибудь помнишь? Ничего? Да и что помнить! — Он хохотнул.— А мы вот тут, как видишь, пашем, крутимся. Пытаемся выжить в этом бардаке. Как там наш аэд поживает? Я слышал, процветает? Всемирная знаменитость?

— С чего вы... то есть ты... взял? — Я искренне удивился.

— Ну, жена профессор, сам вольный художник, выступления, публикации, отзывы прессы. Мы тут не такие невежественные, как тебе кажется. Сам слышал его интервью по «Голосу». В «Аркадском союзнике» была большая статья.

Я, промолчав, заказал наконец водки для Безуглова и стакан апельсинового сока для себя. Столики вокруг постепенно заполнялись командировочным зарубежным народом и девицами с ищущим выражением на лицах.

— Сто баксов,— сказал Безуглов, перехватив мой взгляд,— могу устроить хоть немедленно, на всю ночь. Даже со скидкой. Выбирай любую. Они здоровые, не бойся. Или устал?

— Совершенно верно,— сказал я.— Пятнадцать часов уже в дороге. Шеф просил обсудить, все ли в порядке с завтрашними встречами.

— Оставь! — Безуглов опорожнил свою водку в один присест и крикнул.— Смирновская. Вот класс! А у нас, видишь ли, борьба с алкоголизмом. Правда, уже пошла на убыль, но виноградников повырубить успели.

— Я читал,— сказал я.

— Одно дело — читать,— разгорячился Иван,— а другое — испытать это на собственной шкуре. Так что ты уж на завтра купи бутылок шесть. Для тебя у нас в офисе организуют как бы прием. В основном друзья АТ, ну и еще кое-кто. Расскажешь, как там живут у вас, за границей.

Безуглов несколько озадачил меня. Я помнил со слов АТ, что сей папенькин сынок после того, как отца отправили в места не столь отдаленные (причем, кажется, по делу), стал не только одержим идеей выбиться в люди, что было бы

вполне понятно, но и несколько задумчив; что он не только занимался масштабной фарцовкой (еще одно безвозвратно умершее слово!), но и мелькал на экзотических концертах, а иной раз даже подкидывал моему аэду и его друзьям на бедность. Одно время Белоглинский даже считал его агентом тайной полиции, поскольку, по достоверным сведениям, он встречался и с Зеленовым, к тому моменту уже состоявшим на службе в *органах*. АТ по мягкости характера создал целую гипотезу а-ля Достоевский, согласно которой Безуглов был жадным до жизни человеком, достаточно умным для того, чтобы страдать известной ущербностью.

— О да, его всегда тянуло к сильным мира сего,— рассуждал АТ, картинно отставив худощавую руку с неизменным лафитником.— Но не льстит ли нашему Ивану то, что к ним он причислял и наше скромное сообщество запуганных невротиков, у которых за душой не было ничего, кроме своего искусства? Причем не было даже уверенности в собственном таланте, пока тексты наших эллонов не стали печатать за рубежом. Что же до Зеленова... А что Зеленов? Ведь мог же он в конечном итоге меня посадить. Раздуть дело по тем временам ничего не стоило.

— Пожалел волк кобылу,— съязвил я.

— Жизнь в России далеко не такая черно-белая, как представляется отсюда,— поморщился АТ.— Все познается в сравнении. Уверяю вас, что он поступил вполне порядочно, быть может, даже рискнув своей карьерой.

— Погодите,— сказал я.— Если ваш Безуглов был фарцовщиком, то почему его не преследовала тайная полиция? Зеленов заступался?

— Может быть.— АТ занервничал.— В конце концов они старые друзья.

— Экие они у вас получаются розовенькие.— Восторженность АТ нередко приводила меня, как, впрочем, и Жозефину, в порядочное раздражение.— По мне, так людьми в подавляющем большинстве случаев двигают чувства самые низменные. Корысть, ревность, похоть, тщеславие, честолюбие.

— Вам не страшно жить с такими взглядами?

— Наоборот! Мое мировоззрение означает, что любое проявление чувств истинных воспринимается как неожиданный подарок. И разочарований, таким образом, существенно меньше. Продать и купить, предать и сграбастать — не главные ли движущие силы нашей жизни?

— Я ничего не продаю, да и вы, впрочем, тоже.

— У вас просто не было подходящего случая,— отмахнулся я.— Ваш товар, ваши песенки под дурацкий инструмент, продается неважно. Спрос превышает предложение настолько, что продажа за хорошие деньги — заметьте, я не сомневаюсь в вашем таланте! — требует слишком значительных унижений при весьма неопределенном результате. Не уверяйте меня, что где-то в глубине души у вас при отъезде не гнездилась надежда на край, где реки текут молоком и медом, а великому, но не признанному в отечестве аэду достаточно выйти на улицу с шапкой в руке, и через полчаса она будет набита столларовыми купюрами. Ну, признавайтесь!

АТ засмеялся. Право, в чем ему нельзя было отказать, так это в трезвом отношении к самому себе и к своим — порою довольно завиральным — идеям. И все же слишком многих он переоценивал, прежде всего пана Павела. Замечу, что все старые товарищи господина Верлина по алхимической кафедре вежливо, но твердо отклонили его предложения, которые лично я правил по-русски и отсылал Безуглову с просьбой передать в университет. Профессор П. даже напомнил в письме, что и он сам, и господин Верлин в свое время давали торжественный обет не использовать алхимические знания для обогащения.

— Алхимических знаний я не использую,— сказал АТ,— хотя бы потому, что вся эта ученая премудрость давным-давно вылетела у меня из головы. Я даже не смог толком поиграть с Дашей в ее алхимический набор. И, право, не вижу ничего плохого в том, чтобы поделиться со старым приятелем кое-какими связями. Не я, так другие бы нашлись. К тому же я полагаю, что господин Верлин — человек честный.

— А я полагаю, — был мой черед смеяться, — что он попросту хочет положить рыбку в мутной воде. В дни перемен таких возможностей бывает предостаточно, и первые, кто попадет на открывающийся российский рынок, вполне смогут сколотить миллионные состояния, тут старый лис прав. Другой вопрос в том, насколько честными будут эти состояния.

АТ покачал головою, как бы давая мне понять, что предмет разговора ему скучен, да и обстановка в прокуренном, грохочущем субботнем баре не располагала к беседам на отвлеченные темы. Молодежь, припахивающая кто потом, кто дезодорантом, топталась у стойки и прямо со стаканами в руках пускалась в пляс. АТ наблюдал за ними сосредоточенно и грустно. Не любя танцевать, он от души завидовал тем, кто обладал даром веселиться просто от разухабистой музыки, от мелькания прожекторов, от сигаретного дыма, почему мы, собственно, и сидели с ним в этом месте, закусьвая (я пиво, а он свой напиток, тайком наливаемый в казенный лафитник из фляжки) фирменным блюдом заведения — жареными картофельными шкурками с сыром чеддер.

37

Отделавшись от Безуглова, я стал готовиться ко сну. Из окна моего номера виднелись позолоченные шпили и сверкающая скульптура мускулистого парня, вздымающего на пару с несколько менее мускулистой валькирией позолоченный пшеничный сноп.

ВДНХ, вспомнил я.

Номер оказался далеко не таким ужасным, как я ожидал, и уж, несомненно, попримичнее комнат в студенческих гостиницах, где мне доводилось останавливаться в Европе. Я развесил одежду в шкафу, невольно снова вскипев от вида платья, обесцвещенного паскудным таможенником. Парик был на месте, в боковом кармане сумки. Я примерил и то, и другое, размышляя, не спуститься ли мне инкогнито на второй этаж, не поискать ли приключений в неведомом городе. Но смена часовых поясов давала о себе знать. Я уединился в ванной комнате, принял душ, подивился туалетным принадлежностям, прежде всего мылу со знакомым запахом, темно-коричневого цвета, вязкому, припахивающему не то дегтем, не то щелочью — впрочем, в химии я слабоват, — ну и, разумеется, туалетной бумаге. Нет-нет, я был не таким снобом, как мои коллеги по экспедиции, — те с утра хором произнесли «туалетная бумага» и начали вздыхать. Я поразился в ином смысле. Я ожидал, что в гостинице «Космос» будет бумага газетная, с портретами вождей и передовиков производства. В углу радио чуть слышно играло Чайковского. Телевизор (без дистанционного управления и с экраном довольно-таки размытым) включился сразу. По нему-то как раз и показывали передовиков производства — гремели комбайны зерноуборочные и угольные, грозно смотрел с экрана диктор, обличая преступления американского империализма, и матерые полицейские били дубинками беззащитных демонстрантов. Странно. Дома те же самые картинки по ящику подавались как-то ленивее, без такого напора. После новостей (которые я досмотрел до самой сводки погоды) вдруг без всякого перехода принялись показывать получасовой документальный ролик о Ксенофонте Степном. На экране мелькали груды фотографий, показывали Оренбург, камеры Лубянки, газетные заголовки и даже митинг трудящихся Трехгорной мануфактуры, на котором работницы единодушно голосовали «за», требуя смерти банде троцкистских вырождков. Наследие Ксенофонта Степного возвращается народу, вещал диктор, перестройка открывает российской культуре новые горизонты. Ну и так далее. Показали, впрочем, и документальные кадры с самим аэдом, игравшим на своей лире в Колонном зале. Я расчувствовался. У родителей АТ, как и следовало ожидать, было занято даже через полчаса после окончания фильма. Но я все же дозвонился. Они были готовы приехать в гостиницу немедленно («Мы возьмем такси!»), но я, засмеявшись, отказался от встречи. Завтра, завтра, я ничего не смогу рассказать сегодня, а подарки не пропадут.

Стоит, вероятно, снабжать мои заметки многоточиями в квадратных скобках, которые обозначали бы пропущенное за ненадобностью. Иногда я начинаю тревожиться о том, насколько интересны мои описания туалетной бумаги и мыла в номере гостиницы «Космос» за двенадцать лет до начала нового тысячелетия, когда многие всерьез готовятся к концу света. «Вот мы на Земле,— думал я засыпая,— как микробы на яблоке. Мы полагаем, что эта дивная планета принадлежит нам и создана для нас. Мы истребляем недружественные виды микробов. Мы роем шахты в мякоти нашего яблока. Мы строим железные дороги и летаем над его поверхностью в могучих воздушных машинах, в которых могут поместиться двести или триста микробов. Между тем лежащий в гостининой плод наливается соком, бока его румянятся (допустим). И в конечном итоге щекастый ребенок (предположим) хватается его с целью съесть. А бдительная мать ласково и в то же время строго приказывает вымыть яблоко».

Утром эти мысли перестали меня беспокоить. Мы спустились к завтраку. Я не привередлив в еде, однако на нас с паном Павелом лежала моральная ответственность за состояние духа господина Навигационные-Приборы и господина Синие-Джинсы, господина Коттеджи-для Небогатых, господина Несовершенное-Золото и господина Минеральные-Удобрения, озадаченно созерцавших обветренные ломтики серой колбасы и обильно сдобренную маслом вязкую кашу неопределенного происхождения. Энергичный господин Верлин выдал каждому по упаковке желудочных таблеток, купленных мною в монреальской аптеке накануне, широким жестом указал на атлетически сложенного Безуглова, уплетавшего сомнительный провиант за обе щеки. С таким же аппетитом завтракала и сублистная, востроносенькая Катя Штерн, уже успевшая шепнуть мне, что сыра в городе нет уже года два. Сколь занятно было встречаться с людьми, которых я прежде знал только по восторженным рассказам АТ! Их поступками будто бы двигали не столько те чувства, которые считаю главными в человечестве я (см. выше), но некие сугубо тонкие соображения. Полагаю, что, если бы у АТ украли автомобиль, он постеснялся бы даже выступать свидетелем в суде над обидчиком, скорее нашел бы доводы в его защиту. В минуты плохого настроения я объяснял его благодушие заурядной трусостью, иными словами — жаждой оставаться в своем придуманном мире, заклоняясь от реальности.

— Я помню ваш стаканчик,— сказал я этой бледноватой копии Лайзы Миннелли,— я привез вам кое-что от Алексея.

— Письмо? — встрепенулась она.

— Пакет,— уточнил я.— Возможно, там есть и письмо. Но у нас сейчас нет времени разговаривать, Катя. Давайте заниматься делами.

Дел оказалось — непечотый край. Кое-какая подготовительная работа была сделана, но все приглашения следовало подтвердить, всюду требовалось звонить, заезжать, договариваться. Удивительно, но за эти дни мне не удалось выбрать ни одной минуты, чтобы доставить виниловый чемодан родителям Алексея, да и обещанную вечеринку у Безуглова пришлось перенести. Когда я вспоминаю то время, то перед глазами моими встают бесконечные тесные кабинеты мелких и мельчайших начальников, от которых зависели ничтожные мелочи вроде слайд-проектора или достаточного количества стульев для семинара. Все эти личности имели вид неприступный, но тут же смягчавшийся после скромного — даже чересчур скромного — дара, какой-нибудь авторучки или одноразового карманного фонарика. Кое-кого, впрочем, приходилось приглашать на ужин в «Космос». Шестиголовое чудище между тем по большей части развлекалось достопримечательностями Москвы, и в сердце моем поселилось некоторое сомнение по поводу бизнесменов вообще, которых я всегда представлял в виде рыцарей без страха и упрека. На второй вечер я обнаружил господ Замороженное-Тесто и Навигационные-Приборы за столиком в баре, где они вели беседу с двумя девицами — перманент, худые, пустынькие личики, агрессивно накрашенные губы, полтора ста английских слов. Я огляделся в тоске.

«Что ж,— вздохнул я про себя,— будем работать. Будем, черт подери, отрабатывать денежки господина Верлина».

«Родители живут бедно»,— предупредил меня Алексей, как будто я мог этого испугаться. Я другого боялся: я знал, что АТ уезжал из России как бы навсегда, прошел через все полагавшиеся обряды типа лишения гражданства и многолетних отказов, и опасался увидеть семью, живущую только воспоминаниями о потерянном сыне. Люди вообще не любят чужих трагедий.

В подъезде стоял запах капусты, гниющего мусора, человеческих выделений, сырой извести. Говорят, что запахи надежнее всего переносят нас во времена миновавшие, но я вспомнил не о российском детстве, а о муниципальных домах в Нью-Йорке, благо там тоже стояла тьма на лестничных площадках. Щелкнув зажигалкой, я отыскал нужную дверь, обитую клеенкой. Из квартиры доносилась музыка — кажется, Чайковский. Шлеп-шлеп, раздались шаги. «Кто там?» — спросил надтреснутый женский голос. «Я от Алексея!» — закричал я. «От кого?» «От сына вашего! Я вам звонил позавчера!»

«Вот оставить чемодан и смыться»,— подумал я.

Ни отец, ни мать АТ, однако, не походили на невротиков, да и бедность их Алексей безбожно преувеличил. В доме пахло уже вовсе не мусором, а пирогами, севодлакая и довольно стройная мать АТ трясла мне руку и извинялась за вопросы через дверь.

— Сейчас такая преступность, Гена, вы не представляете!

Я втащил чемодан, повесил пальто в стенной шкаф и прошел в гостиную, где был накрыт, надо сказать, замечательный стол, украшенный — среди прочего — поллитровкой хорошо замороженной водки и бутылкою шампанского в мельхиоровом ведерке. Со всех стен на меня смотрели фотографии Алексея Татаринова в виде смеющегося младенца, стриженного школьника, молодого аэда в ученическом белом хитоне, аэда постарше — на сцене, принимающего из рук какого-то бородача лавровый венок. Впрочем, самый крупный портрет — черно-белый, пожелтевший от времени, с особой выпуклостью изображения, как бывает только на старых фотографиях,— изображал другого аэда. Сюжет был тот же — сцена, венок. Я пригляделся, не веря собственным глазам,— козлобородый тип, вручавший венок, был, кажется, Калининим. Хозяева тактично молчали.

— Замечательная коллекция,— сказал я.

— Мы бы предпочли живого сына,— вздохнула Елена Сергеевна.— И отец ему заморочил голову, и друзья-приятели, вот и живет теперь Бог знает где, и как живет, представления не имеем.

Я украдкой покосился на Бориса Васильевича, ради моего визита облачившегося в клетчатый пиджак с широкими лацканами и явно выходные серые брюки. Выпад жены он оставил без внимания.

— Он разве не пишет?

— Что толку! Ни снохи не видели ни разу, ни внучки... Как-то не по-человечески все... Это Ксенофонт. Вы видели вчера передачу? Так изменилось все, невозможно поверить! Садитесь за стол. Мы вас, право, ждали. А Алена еще не пришла с работы, скоро будет. Алексей не собирается приехать?

— Ну,— замялся я,— пока еще их, в смысле эмигрантов, особо не пускают, но уже были исключения, так что, если и дальше так пойдет, он непременно приедет и внучку привезет, и жену. Обе, кстати, совершенно очаровательные.

— Хотите водки, Гена? — пришел мне на помощь Борис Васильевич.

— Несомненно,— сказал я с облегчением.— Между прочим, я от себя тоже кое-что привез. Канадское виски.

— Разве такое бывает?

— Еще как! — сказал я с напускным патриотизмом. — Виски шотландское — ячменное. Американское — кукурузное. Ирландское — пшеничное. И, наконец, канадское — ржаное. Впрочем, сам я больше по пиву.

— А пьет он там много? — с тревогой спросила Елена Сергеевна.

— Бывает, конечно, но по здешним меркам, думаю, считался бы непьющим.

Мы сели за стол, уставленный мисками, тарелками и блюдами, словно ждали не одного гостя, а человек шесть. После пары рюмок я перестал чувствовать себя неуютно и, похвалив пироги и салаты, принялся перелистывать взятый с полки увесистый альбом с видами Монреаля, иной раз останавливаясь на фотографиях и делая пояснения: вот здесь мы гуляли с АТ, а здесь как-то раз обедали, а здесь...

— Чужбина, — вздохнула Елена Сергеевна. — Все такое красивое, чистое и совершенно не наше.

— Ну, для меня это не чужбина. — Я позволил себе усмехнуться. — Да и он там уже сколько лет? Семь? За семь лет человек полностью меняется. У него там меньше друзей, чем было в Москве. Зато спокойно. Растит ребенка, работает.

— Бедствует? — спросила Елена Сергеевна с придыханием. — Только честно. Вы целый чемодан привезли, а он, может быть, голодал, чтобы собрать эти вещи?

Я снова усмехнулся, объяснив, что сначала да, бедствовал, хотя это понятие так относительно, что тревожиться в этом смысле не стоит, ибо любому человеческому огрызку у нас дают социальное пособие, и прожить на него вполне можно — скромно, но уж, во всяком случае, не впроголодь.

— Вы нас поймите, — Елена Сергеевна улыбнулась с неожиданной беззащитностью, — мы же никогда не были за границей. А Алеша человек слабый. Он любит казаться самостоятельным, но чуть что — сразу прибежал к нам. С тех пор как бросил университет, вечно сидел без денег, то дворником устраивался, то сторожем, вечно его госбезопасность травила. Я чаще жалею, что он уехал, но иногда думаю: лишь бы был счастлив. Как он, изменился там? Он чувствует себя счастливым?

— На свете счастья нет, но есть покой и воля, — сказал я, поколебавшись. — Мне кажется, что и того, и другого у вашего сына достаточно.

— Еще водки хотите, Гена? Или, может быть, шампанского? Мы слышали, что у вас на Западе не любят сладкого, так это — полусухое. И еще винегрета — я вижу, вам нравится?

39

Первый мой московский карнавал скоро кончился, как все земное.

Дома я обнаружил на автоответчике штук шесть сообщений от АТ и отправился сразу к нему, захватив небольшой картонный ящик с подарками от друзей и родных, а также литровую бутылку «Столичной», за гроши купленную в долларовом магазине под idiotическим названием «Березка» (набор товаров в этих магазинчиках и жар в глазах моих русских знакомых, туда попадавших, — предмет для особого рассказа, но я не историк; лавочки эти давно исчезли — туда им и дорога).

— Боже мой! — хохотал АТ, разворачивая присланный Белоглинским чугунный бюст Самария Рабочего размером с хороший мужской кулак. — И ведь в «Правду» упакован, честное слово! Говорят, перестройка, а этого вурдалака все еще продают! Вы знаете, Анри, как трудно отделаться от наваждения, что этот тип — твой, скажем, родственник или сосед по коммунальной квартире, с которым прошло все детство?

— Ты до сих пор не отвык? После стольких лет? — вдруг подала голос Жозефина, успевшая против своего обыкновения приложиться к московской бу-

тылке.— Мне так порою осточертевает твоя пресловутая ностальгия! Ох, Тата-ринов, как ты еще называешь себя аэдом! Страна, культура, режим — все это вещи такие жалкие перед лицом вечности. Думаешь, случайно эллоны пишутся по-гречески?

— А можно без пошлостей? Дрянь! — заорал Алексей по-русски.— Скотина! Сука! Да знаешь ли ты, что, если большевиков прогонят, ноги моей не будет в этой поганой загранице! Лучше подыхать с голоду на родине, чем тут... тлеть!

— Кто тебе мешает гореть, а не тлеть, алкоголик несчастный! — взвилась Жозефина. Я с грустью отметил, что ругательства эти она, видимо, слышала не в первый раз.— Хоть бы на жизнь зарабатывал, дочери надеть нечего! Носитесь со своей матушкой-Россией, невежды, провинциалы, самовлюбленные недоучки! А я еще в тебя верила! Ни один — ты слышишь — ни один аэд из вашей несчастной страны никогда не будет знаменит, никогда не получит Нобелевской премии. Разве что Исаак Православный, да и то только потому, что он не держится за свое так называемое отечество. Выучил язык, освоил профессию, преподает, пишет статьи, сам переводит свои эллоны на английский. А ты только и знаешь, что ныть. Катись в свою Россию хоть завтра!

Я дипломатично помалкивал. Москва все еще играла в моих венах подобно скверному спирту. В самолете из Шереметьева после первого же бокала ледяного немецкого пива с восхитительной горчинкой меня охватила смесь жалости и бессилия. Я загрузил, припоминаая прошедшую неделю. Многочисленные переговоры с чиновниками в серых и коричневых узких галстуках привели к не менее многочисленным протоколам о намерениях, собственно, пустым листкам бумаги, над которыми предстояло еще работать и работать. Все эти директора заводов, начальники трестов, главные инженеры и председатели кооперативов купили бы у нас все что угодно. Но в каждом разговоре всплывало забытое ныне слово «конвертация», в переводе на обычный язык означавшее, что платить за приобретенное им нечем, ибо рубль пригоден лишь для использования внутри страны, а поминаемые паном Павелом платина и изумруды подлежат вывозу лишь по особым разрешениям, которые выдаются либо по близкому знакомству, либо за большие деньги. Шестиголовый дракон к концу поездки скис, захворал желудком, угас, поняв, что господин Верлин, мягко говоря, преувеличивал как масштабы своих связей, так и возможности российского рынка.

— Все это, дорогой Гена, полная херня, — вздохнул Безуглов, отозвав меня в сторону в аэропорту.— В этой стране есть огромные деньги. И они действительно начнут высвобождаться в самое ближайшее время. Тут твой шеф прав. Но если я что-то в жизни понимаю, то есть вещи, куда влезать не следует. Например, импорт — ни у кого нет валюты.

— Куда же она девается?

— Долго объяснять.— Безуглов улыбнулся с некоторым высокомерием.

— А СП? Нам же предлагали?

— Построить можно, но прибыль вывезти не удастся. Экспорт — дело хорошее, но нужен большой начальный капитал на взятки. Считай, пять процентов стоимости сделки надо раздать.

— Чем же тогда можно заниматься? — недоумевал я.

— Ну-с, если Зеленов действительно готов подключиться,— вздохнул Иван,— то текстильный комбинат звучит правдоподобно. Линия по производству видеомагнитофонов — тоже. Несовершенное золото. Но и в том, и в другом случае зеленевских денег не хватит. Придется выбивать централизованные кредиты в СКВ. Опять же давать на лапу. Да и скучно это все, любезный мой Гена. Скучно. Нужна новая идея, а для этого твоему шефу следует снять розовые очки.

— Позвольте, Иван,— я называл его то на «ты», то на «вы», — а сами-то вы чем занимаетесь? Простите уж мою наивность.

— Разным, Гена, разным! Генеральной идеи, понимаешь ли, и у меня пока не имеется. Компания у нас, как ты знаешь из устава, многопрофильная. Вот, на-

пример, обеспечиваем охрану некоторым барышням, которые трудятся в «Космосе». Они у нас, как за каменной стеной. Клевые барышни. Вот кого бы экспортировать, да железный занавес не дает. Зеленовские денежки прокручиваем, но все, увы, внутри страны. Он нам под пять процентов в месяц, а мы отдаем умным людям по десять.

— И возвращают?

— А куда они денутся? — сказал Безуглов с ласковой улыбкой. — Залоги хорошие. И в суд мы в случае чего не обращаемся, нет, не обращаемся. Свои методы есть. У вас, в Канаде, небось о них и не слышали. Ты только не тушуйся, — добавил он, увидав мое замешательство, — никакой мафии. Все культурно, без применения оружия. Правда, я с тобой откровенничаю только потому, что ты свой. Шефу лучше не говори.

40

Поблудневший от бешенства АТ вскочил с места и, хлопнув дверью так, что задрожали покрытые паутиной стекла террасы, покинул нас с Жозефиной. Я с удовольствием принял ее извинения.

— Ты понимаешь, Анри, — откровенничала она, — боюсь я за него. Боюсь. Он только кажется таким уравновешенным, а на душе у него творится черт знает что. От местных коллег он воротит нос — не тот, говорит, уровень. Ладно, я понимаю. Монреаль не Париж, не Нью-Йорк и не Афины. Но почему же он тогда с эмигрантами водится? Никто из его так называемых приятелей здесь ни слова по-гречески не знает. Вот собираются они на этой террасе, поносят советскую власть, жрут водку да рассказывают друг другу старые анекдоты. Помнишь, он выступал в церкви? С тех пор прошло пять лет. Больше его не приглашают. Я подозреваю, что никто из местных русских вообще не понимает, что такое экзотерика. Пьет он с ними, а потом всю ночь сидит на террасе, грызет карандаш, утром встает черный, как смерть. Со мною почти перестал разговаривать. Писать начал только по-русски, а это, знаешь, путь наименьшего сопротивления. Не говоря уж о том, что он таким образом отгораживается от нашего мира. Скажи, они все такие высокомерные? Это что, национальная болезнь?

— Опасаюсь, что да, — я вздохнул, — особенно у себя дома. Знаешь, комплекс неполноценности порождает комплекс превосходства.

Я вспомнил долгожданный вечер, на который собралось десятка два старых товарищей АТ. Он состоялся в штаб-квартире безугловской компании, просторном подвальном помещении в Чистом переулке, совсем рядом с резиденцией Патриарха всея Руси (о нынешних *офисах*, подвергнутых *евроремонту*, тогда и слыхом не слыхали). Мы прошли поразительно тихим переулком и вступили во двор, где совещались, расположившись по кругу, красавицы липы. Из песочницы осторожно смотрел пожилой серый кот, справлявший большую нужду. На скамейке стояла пустая водочная бутылка. В полутемном коридоре конторы пахло тленом и плесенью. Из многочисленных дверей лезли клочья ваты. Кухня с пятью газовыми плитами по размерам напоминала физкультурный зал. Я был единственным членом делегации, удостоившимся приглашения.

— Все впереди, — приговаривал Безуглов. — Помещение признано нежилым. Арендовано на двадцать пять лет с правом продления. Косметический ремонт кое-где уже сделали. Вскоре примемся за основательный.

Он провел меня в свой кабинет, где среди советской мебели (блистающей синтетическим лаком) факс и пишущая машинка IBM (такая же, как у АТ) выглядели аристократами в изгнании.

— Мебель румынская, — продолжал Безуглов с той же гордостью, — факс японский, машинку купили списанную в Академии наук, отремонтировали — любо-дорого. Ксерокс нужен позарез.

— А почему бы не купить? — спросил я.

Не знаю, чего было больше во взгляде Безуглова,— насмешки или презрения.

— Они все на учете в КГБ,— сказал он.— Использоваться могут только в организациях, где есть Первый отдел. Должны по инструкции помещаться в зарешеченное помещение, по утрам открываемое двумя ключами.

Я заткнулся, покраснев. Должен вообще сказать, что в отношении к иностранцам интеллигентные русские ведут себя как бы заискивающе и в то же время покровительственно. Даже Белоглинский, все-таки аэд, с которым мы через полчаса уже сидели за столом в «зале приемов», завистливо поглядывал на мой зауряднейший вельветовый пиджак, на дешевенький дипломат искусственной кожи, даже на купленный в Нью-Йорке поддельный «Роллекс», что не помешало ему вскоре поймать меня на какой-то неточности, связанной с московским метро, кажется.

— Да,— изрек он меланхолически,— мы все-таки знаем о жизни больше вас.

— Кто мы и кто вы? — осведомился я.

— Годы испытаний,— вздохнул Белоглинский,— духовность, соборность, участь нации.

Его понесло. В середине этой затянувшейся белиберды в комнату начали входить другие гости — Петр Ртищев (как родители не сообразили, насколько неудобнопроизносимо такое имя рядом с такой фамилией! Впрочем, он именовался Петром Верным), Катя Штерн, Марина Горенко, коллеги АТ по университету. Пришли несколько молодых людей со стрижкой под бокс, с основательными бицепсами и невыразительными мелкими глазками. Ни с того ни с сего вдруг явились две барышни, которых я позавчера видел в баре с господами Не-совершенное-Золото и Навигационные-Приборы. В частной обстановке, почти без грима, они выглядели не столь настораживающе. Кроме того, если в «Космосе» обе барышни носили синтетику с люрексом, черные чулочки и прочую униформу своего нехитрого ремесла, то к Безуглову пришли, как бы выразиться, в цивильном платье. Одну звали Татьяной, другую — Светой. (Надо было обладать больной фантазией, чтобы впоследствии дать такие же имена возвышенным героиням шутовской повестушки; Впрочем, как и в повести АТ, барышни оказались сестрами.) Катя Штерн, глянув на них через стол с нескрываемой ненавистью, увлекла Безуглова в коридор. Я вел себя тихо, с любопытством разглядывая угощение — все эти знакомые мне с детства салаты, нарезанную кружками колбасу, ломти черного хлеба и соленые огурцы. На одной из стен «зала приемов» были наклеены обои, изображавшие Ниагарский водопад, причем с канадской стороны. Разномастная посуда на полированном столе, без бумажной или иной скатерти, включала даже две или три эмалированные кружки. Гости приносили с собой кто бутылку водки, кто салатницу с угощением. Таня выложила коробку конфет «Красный Октябрь», а Света — бутылку шипучего вина с оруэлловским названием «Салют». Белоглинский уже умолк. Я ничего не отвечал ему, ожидая, пока гости рассядутся и примут то минимальное количество алкоголя, без которого немислима общая беседа в России.

Еще до приезда в Россию я твердо положил ничему не удивляться. В конце концов не по милости ли этой страны вращается над нашей планетой вечный топор, сворованный голодающим студентом у дворника и занесенный над головами старушек, пытающихся заработать честную трудовую копейку тем же способом, каким промышляют спокон веков банкиры всех государств и народов? Впрочем, в кабинетах советских чиновников я ничего удивительного и не обнаружил. Алчность их оказалась умеренной, манеры вполне цивилизованными. Перегоревшую у меня в номере лампочку заменили всего часа через два (правда, новая перегорела почти сразу). К бедности, как сказано вы-

ше, я вполне привычен, и любой бывший студент, сын небогатых родителей, хорошо меня поймет. И все же компания, собиравшаяся у Безуглова, не лезла ни в какие ворота. Многие явно видели друг друга в первый раз. Алхимики оживленно разъясняли атлетическим молодым людям преимущества спирта, обработанного магнитным полем. Ртищев, человек приземистый, молчаливый и бородатый, выпил одну за другой три стопки и принялся подсаживаться все ближе к Свете, которая незаметно отодвигала от него свой стул, в конце концов перекочевав метра на полтора.

— Как же вы не понимаете? — твердил он. — Ксенофонт перестроил всю гармонию русского эллона!

Света кокетливо обтирала узкие губы носовым платочком, но в сапфировых ее глазах стояла вселенская тоска. Белоглинский, казалось, погрузился в транс, время от времени подымая глаза и выкликая все то же незнакомое мне слово «соборность». Один из атлетических молодых людей сообщил ему, что он «смахивает на жида» и не имеет права употреблять таких слов. Белоглинский молча распахнул ворот клетчатой рубахи, показав атлету серебряный крестик на черном шнурке.

— Ну прости, — сказал атлет, — прости, сорвался. Я сам, знаешь, человек неверующий, но есть все-таки вещи святые, точняк?

Наконец в комнату вступил торжественный Безуглов. За ним, бочком, как побитая собака, проскользнула к своему стулу Катя. До меня впервые дошло, что их отношения могут, как бы сказать, не исчерпываться совместной работой и старинной дружбой.

— Дамы и господа, — он поднял стакан, — сегодня в этом скромном офисе мы приветствуем Генриха Чередниченко, близкого друга нашего Алексея, а следовательно, и нашего друга. Генрих приехал из далекой Канады, экологически чистой страны хоккея, кленового листа и демократии, населенной простыми и доброжелательными людьми. Генрих не был в России с раннего детства. Выпьем же за то, чтобы он полюбил ее всей душой и сумел плодотворно заниматься своим любимым делом — бизнесом!

— И пусть всем расскажет, что мы не хотим войны, — прогудел атлет № 1.

— Ты-то, может, и не хочешь, — подал голос Ртищев, — а коммуняки сраные за свою копченую колбасу нас всех завтра на убой пошлют. Возьми тот же Афган...

— Да я только что с Афгана! — вскричал атлет № 2. — Там эти духи вонючие знаешь как над нашими парнями изгаляются? Я там корешей хоронил! Да им всем яйца пообрывать мало!

— Господа! — прикрикнул на них Безуглов. — За здоровье Генриха!

С этими словами он протянул мне — нет, не лафитник, как у всех, а круглый стакан емкостью унций в восемь, до краев наполненный разведенным спиртом, и угрожающих размеров соленый огурец.

— До дна! — заорали все гости с непонятным мне воодушевлением. — До дна!

— Это невозможно, — сказал я робко. — У вас нет содовой случайно?

— Содовой! Ха! — воскликнул атлет № 3. — Не порти напитка, юноша! У нас тут другие понятия.

— Он мягкий, — утешила меня Катя. — Высшей очистки.

Проклиная день своего появления на свет, я, до сих пор не понимаю как, ухитрился выпить весь стакан. Отвратительный вкус во рту быстро прошел, и я почувствовал себя несколько счастливее — происходившее стало казаться мне естественным, как бывает, когда попадаешь в компанию накурившихся марихуаны после первого косяка. Окружающие захопали в ладоши и как-то расслабились. С вопросами не спешили. Первым, кто ко мне обратился, оказался атлет № 1. Прикрыв рот ладонью, он спросил, сколько у меня с собою долларов и не хочу ли я их ему продать по двенадцать с половиной. Я не успел ответить.

— Жуков! — крикнул на него Иван. — Ты за что зарплату получаешь? Ты у меня шофер или валютный дилер?

Атлет обиженно замолчал. Алхимик, назвавшийся Васей, пожалел, что АТ бросил заниматься наукой.

— Наука имеет высшую ценность,— сказал он.— А искусство — вещь хорошая, но все-таки развлекательная. На голодный желудок никто не станет слушать ни стихов, ни эллонов.

Я согласился с этой философской мыслью. Между тем за столом возник общий разговор. Темой оказалась, как и следовало ожидать, политика.

— Пока дали только маленькое послабление,— говорил Ртищев.— За границу не пускают. Открыть свою фирму почти невозможно. Газеты стали посвободнее, факт. Говорят, скоро разрешат кооперативные издательства. Но все — в лапах у государства, как и было.

— Вопрос времени, Петя,— возразил Белоглинский.— Семьдесят лет нас держали на привязи. Так сразу ничего невозможно.

— А я вот надеюсь,— отвечал хмелеющий аэд,— что лет через десять у нас уже будет все, как в той же Канаде. Появится новый класс предпринимателей. Но не таких, как во времена Диккенса, а совестливых, с гражданской ответственностью. Настоящих русских, православных людей. Коммунисты, устыдившись, сами отдадут им власть. И мы ни в коем случае не станем повторять ошибок, скажем, Америки. Почему, ты думаешь, Алексей так воеет в своих письмах? Потому что эта культура нам, извините, Гена, чужая. Может, конечно, и хорошая, но...

Должен честно сказать, что после поднесенного напитка мне было решительно не до обид. Я кивал сначала Ртищеву, потом Белоглинскому, а затем и вовсе потерял нить разговора, протрезвев только часа через полтора.

42

— Ну что, Гена, как тебе нравится у нас, в Москве? — подошел ко мне Безуглов.

— Очень нравится,— икнул я.

— Это только начало,— сказал он.— Конечно, тому же господину Верлину моя компания могла бы показаться жалкой. К тому же все мы бывшие студенты с простыми вкусами. У вас-то в Монреале небось офис в пентхаузе?

— Не совсем. Понимаешь, в центре арендная плата высокая, даже в Монреале, а в Заречье...

— Все равно. Во всяком случае, компьютеризован. Слушай, мне есть смысл попросить у Верлина компьютер? Они здесь чудовищных денег стоят.

— Я спрошу.

Безуглов посмотрел на часы.

— Я тебе еще не показал всего офиса. У него огромный потенциал! И все — за пятьдесят долларов в месяц. Представляешь? Кстати, сказал ли я тебе, что здесь до шестнадцати лет жил наш Татаринов? Именно в этой комнате, где мы сейчас гуляем.

Я встрепенулся. Внезапная грусть охватила меня. Я попытался забыть о запахе тлена и сырой штукатурки, мысленно заменив его на запах борща и детских пеленок, кипятившихся в оцинкованном баке, на запах папирос «Беломор» и хозяйственного мыла. В этом подвале по двадцать, а то и тридцать лет прожили десять семей. Вероятно, на Новый год они собирались вместе на огромной кухне, пили водку, женщины кокетливо отворачивались, подхихикивая. Двадцать лет бедности и унижений. У меня не укладывалось в голове, что ни у кого из них не было возможности, например, накопить денег и купить квартиру.

— Как же они там жили?! — воскликнул я, рассказав обо всем АТ.

— Жили, жили, дорогой Гена,— вздохнул тот, взглядываясь в цветную фотографию нашего пиршества. Видите.— Он указал мне на едва заметные зарубки на дверном косяке.— Слева — мои, справа — Еленины. Измеряли рост дважды в год, переживали, радовались. Делили счета за коммунальные услуги и все такое прочее. Однажды к отцу пришла депутация соседей. Требовали, чтобы по-

сле десяти вечера я не играл на лире. Анастасия Павловна, Роза Григорьевна, Марья Ивановна, Любовь Ильинична... У нас в квартире мужиков почти не было. Дядя Федя только, точильщик, да и то — что за мужик. Я его помню только пьяным, а потом еще помню гроб из тонких таких досок, а самое ужасное, что он до поры до времени стоял в нашем темном коридоре вертикально... Оставшиеся разбегались, и, должно быть, многие грустят по той жизни...

— А вы?

— Не скажу, чтобы вы надо мной не смеялись.

— Слушайте, Алексей, а кто обитал в этой комнате? — Я показал ему на дверь, едва заметную на фотографии.

— Вот как раз Анастасия Павловна и жила. Грузная такая, серьезная пожилая женщина, даже, кажется, с высшим образованием. Она мне однажды на день рождения подарила пластинку Ксенофонта. Почему вы спрашиваете?

Я рассказал ему, что Безуглов уже вложил немалые средства в переоборудование подвала, видимо, считая его не столько офисом, сколь своеобразной крепостью, автономной областью, где можно не только заниматься делом, но и, в общем-то, жить. Кабинет, комната приемов, комнаты для будущих дилеров — все это показывал он мне, пьяненькому и добродушному, во время той экскурсии. Одна за одной открывались двери, обнажая различную степень запустения. Кое в каких комнатах не было ничего, кроме строительного мусора да желтевших газет («Славному юбилею — достойную встречу!» — прочел я на одной из полос), где-то уже навели чистоту, а где-то даже успели поклеить обои и расставить нехитрую мебелишку. Компьютеров, как можно догадаться, не имелось, как, впрочем, и телефонов. Более всего меня поразила, конечно же, полностью отделанная бывшая комната Анастасии Павловны, воплощенная мечта похотливого студента. В приглушенном свете двух торшеров вырисовывалась огромных размеров кровать с резной спинкой, украшенной ангелочками и розочками. На кровати кто-то лежал! Я в ужасе обернулся и увидел на лице Безуглова неподражаемую ухмылку.

— Подойди к кроватке-то, Гена,— сказал он вкрадчиво.— Одеяло подыми. Посмотри, какой я тебе сюрприз приготовил. Понимаешь, человек попроще подарил бы тебе матрешку, шкатулку, икону. Мертвые вещи. А тут воспоминание, надеюсь, на всю жизнь.

Сердце мое забилось. Я покраснел, побелел от смущения и, не помня себя, действительно подошел к постели и откинул одеяло (завернутое в так называемый пододеяльник — двойную простыню с ромбовидным отверстием посередине). Таня и Света, еще пару минут назад лепетавшие за столом свои глупости насчет колготок и сладкого шампанского, лежали рядышком, томно улыбаясь и держась за руки. Они были обнажены. Между ногами у Тани курчавилась поросль каштановая, а у Светы — рыжая. (Меня всегда поражал контраст между детским, кокетливым выражением женских лиц, между мягкими очертаниями их фигур, включая бедра и deгиге и откровенной, животной грубостью гениталий.) Девушки игриво захихикали (я сделал опечатку — написал «двушки», и компьютер дал мне на выбор «девушек» и «душек». А еще говорят, что это тупая машина!).

— Смущается! — воскликнула Таня.

— У них, на Западе, должно быть, такого не водится! — профессионально фальшивым голосом вскричала ее сестра.— Ну иди к нам, красавчик!

Я в ужасе обернулся. Безуглов за считанные секунды успел раздеться догола, и на лице его появилась выражение кота при виде бесхозной банки сметаны. Тело его, некогда, вероятно, довольно ладное, уже начинало оплывать — слегка выдавался живот, и в мускулах чувствовалась некоторая вялость, что не мешало мне на мгновение забыть о девицах.

— Кто первый? — спросил он.— Или давай уж сразу вдвоем?

В самом начале моих записок я нехорошо отозвался о женском поле. Беру свои слова обратно. У меня было немало подруг, и все же нет на свете силы, ко-

торая сейчас заставила бы меня коснуться своими — моими! — губами, руками или сами-знаете-чем того, что вызывает у большинства человеческого рода нездоровое возбуждение. Не забудьте: я не знал русских обычаев. Мне показалось даже, что Безуглов что-то от меня утаивал, что я просто участвую в общепринятом обряде, которым здесь приветствуют всех гостей. Описать происшедшее далее (вернее, непроизшедшее) положительно невозможно. Скажу только, что, покидая комнату, я постоял у приоткрытой двери и услышал оглушительный смех всей троицы.

— Либо твой Гена еще целка,— давилась Таня,— либо его совсем сломала русская водка.

— А по-моему, просто придурок,— захохотала Света.

— Девы, ша! — окоротил их Безуглов.— Гена — наш гость. Друг Татарина. Ну смутился человек. Ну не привык на своем чинном Западе к нашей жизни...

Дальнейшие его слова заглушил сладострастный стон одной из девиц, я так и не понял какой, поскольку, пылая от стыда и отвращения, уже торопился обратно к столу.

43

Миновало года полтора. Канули в вечность навигационные приборы, коттеджи для небогатых и даже несовершенное золото. Пан Павел с помощью Безуглова приобрел партию двойного суперфосфата, которую затем с превеликими ухищрениями сбыв в Мексику. В Москве он стал проводить едва ли не два месяца из трех, явно наслаждаясь статусом человека богатого и влиятельного. У нас появился офис у Белорусского вокзала — трехкомнатная квартира на первом этаже, с зарешеченными окнами и стальной дверью. Впрочем, там располагалась не компания «Perfect Gold», а ее дочернее предприятие, СП под названием «Канадское золото». На обстановку ушла едва ли не вся выручка от операции с двойным суперфосфатом. Скрепя сердце я согласился с паном Павелом — у всякого советского предпринимателя, заходившего в наш офис, при виде полудюжины «Макинтошей», копировального агрегата и датской мебели, облицованной тиковой фанерой, перехватывало дыхание. (Время офисов новых русских все еще не настало. Московские бизнесмены продолжали носить кургузые чешские пиджачки, серые носки, напоминающие армейские, и едва ли не нейлоновые рубашки.) Мы обзавелись сотрудниками, получавшими по сто долларов в месяц. В офисе постоянно толпился народ. Бегали глазки авантюристов, предлагавших партии мочевины в сто тысяч тонн. Мяли в руках свои велюровые шляпы заместители директоров провинциальных химических заводов, заламывая цены раза в полтора выше мировых. Безуглов отсеивал наиболее безнадежных в своем подвале, а с более деловых брал небольшие комиссионные и отправлял их к пану Павелу. Кое-что получалось. Как-то незаметно ушел в Эстонию груз алюминиевых чушек, который за два дня принес шестизначную прибыль. Купили ящик советского шампанского, подымали бокалы за здоровье Безуглова и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Через два дня, однако, в офис пришли два молчаливых молодых человека в черной коже, после пятиминутного разговора с которыми пан Павел при слове «алюминий» начал бледнеть и показывать. Предлагали, впрочем, и другие товары. Молибден, полиэтилен, серную кислоту, сушеные олени пенисы, лавандовую воду, медвежьи шкуры и оконное стекло. Предлагали пистолеты «Макаров», мольберты, матрешек, ручные часы, деревянные шахматы, абстрактные картины и многое, многое иное. Предложения перепечатывались на компьютере и по факсу отсылались в Монреаль. Меня перевели на должность бухгалтера, предполагавшую командировки в Москву раза три в год.

Между тем мой друг чах с каждым днем.

Он по-прежнему писал очерки для «Канадского союзника», печатал обзоры современной экзотерики в «Континенте», дважды в год трясся на автобусе в Бостон или Нью-Йорк, где выступал перед зевающей эмигрантской публикой. Наши вечерние беседы все чаще крутились вокруг нового режима в России и тех многочисленных послаблений, которые он вполне добровольно предлагал своим гражданам. Нескольким членам русской колонии съездили на родину и благополучно вернулись. Чемоданы их были набиты газетами и журналами, содержащими бесчисленные разоблачения преступлений советской власти. Хронология разоблачаемых преступлений постепенно сдвигалась все ближе и ближе к современности. В хоре голосов, твердивших о том, как испоганили замечательную коммунистическую идею дурные правители, стали появляться совсем еретические нотки. В Монреаль начали приезжать одурелые от счастья родственники эмигрантов. Они рыдали в супермаркетах и уносили с церковных базаров по три-четыре пластиковых мешка для мусора, набитых старыми игрушками, облезшими шубами и стоптанными башмаками. На регистрацию в «Аэрофлот» стояло как бы две очереди: одна человеческая, другая — из коробок с видеоманитофонами и виниловых чемоданов, очень похожих на тот, что всучил мне Алексей в первую поездку. Исаак Православный в открытом письме заявил, что ноги его не будут на русской земле, залитой кровью и грязью, пока «коммунистическая олигархия» не принесет всенародного покаяния. Двадцать российских интеллигентов опубликовали в «Московских новостях» задиристый ответ, где намекали на связи Исаака с ЦРУ, упоминали «тридцать сребреников» и упрекали аэда в том, что он отсиживается на благополучном Западе, не желая делить с отечеством трудных, но восхитительных времен возвращения к истинным ценностям коммунизма, «если угодно, с человеческим лицом, господин Православный». Прогремел роман «Дети Арбата». Ртищева и Белоглинского приняли в Союз советских экзотериков. И даже у меня появились кое-какие иллюзии, несколько омрачавшиеся, правда, тем, что магазины в Москве по пустоте прилавков стали приближаться к военному времени и даже за хлебом приходилось занимать очередь часа за два до его «подвоза». Впрочем, этим занимался Жуков на своей черной «Волге», откомандированной в распоряжение созданного нами совместного предприятия. Слоняющиеся у промтоварных магазинов толпы в считанные секунды расхватывали фотоаппараты, часы, миксеры, электрические лампы, плащи, кастрюли, шнурки для ботинок. В Москву приходилось привозить кое-какое продовольствие. И все же глуповатое воодушевление, охватившее несчастную державу, заражало даже меня. Об Алексее же и говорить нечего.

Жозефина начала давать частные уроки, взяла часы в аспирантуре, и семья уже не так бедствовала, однако позволить себе заокеанских поездок все же не могли. Терзаясь жалостью, я начал обрабатывать пана Павела, почти без лицемерия доказывая ему, как необходима нашей молодой компании полноценная реклама и как помогло бы этой рекламе имя АТ. Не в последнюю очередь упоминал я и непритязательность аэда, который удовольствовался бы едва ли не четвертью обычной зарплаты сотрудника по связям с общественностью. Злополучные алюминиевые деньги заставили скуповатого пана Павела смягчиться. Он вызвал АТ в Броссар и за бутылкой московской водки сделал ему предложение поступить на работу. Если меня не обмануло зрение, на глазах аэда проступили слезы. Со следующего понедельника ему отвели закуток без окон, выделили «Макинтош» и настрого велели использовать его только для работы. Одним из условий контракта было отсутствие на компьютере экзотерических программ — как, впрочем, и электронных игр, которые пан Павел, вздыхая, ежемесячно стирал со всех компьютеров московского офиса.

Нет, не должен человек забираться слишком высоко. Я не в переносном смысле, а в самом буквальном — не должен он окидывать взором из окна городскую равнину, заселенную ему подобными. В полудреме мое убежище в Нотр-

Дам-де-Грас, одна из сотен миллионов бетонных клетушек, воздвигнутых по всему миру, снабженных теплом, трубами для воды и оттока выделений, медными проводками для связи с другими клетушками, кажется мне одной из глиняных ячеек Вавилонской башни. Свет уличных фонарей, вокруг которых сияет ореол водяной пыли, не достигает окон квартиры, поздними вечерами я остаюсь наедине с небом — то графитовым и молчаливым, то усыпанным звездами, которые жаждут втолковать мне что-то на неведомом языке.

Все искусство, говаривал АТ, лишь попытка перевода с этого языка на более доступный — при наличии словаря для начинающих.

Звезды тоже умирают. Их смерть проходит по ведомству космологии. Но умирают и боги, хозяева этих звезд. Где ныне брадатый Зевес, где стройный Аполлон, где быстроногая Артемида? Где двурогая Иштар и птицеподобный Кетцалькоатль, чей клюв наполнен жирными сгустками жертвенной человеческой крови? Если бесконечен страх собственной смерти (смягченный надеждой на высший разум), если несказанное горе охватывает дитя при смерти матери, то как же описать страх смерти бога?

Медленно-медленно подвигаются мои записки. Знало бы федеральное правительство, на что уходят скромные, но внушительно выглядящие чеки с водяными знаками, получаемые Анри Чередниченко каждые две недели от управления по делам безработных. К моему собственному удивлению, я почти перестал пить. Я стал образцовым сыном и даже освоил нехитрое мастерство наладки компьютеров, чтобы изредка помогать отцу — за небольшие деньги и приятелям из Деревни — бесплатно. Впрочем, установил я и программу проверки русской орфографии Кате Штерн, но засиживаться в ее трогательной квартирке *независимой женщины с ограниченными средствами* не стал, опасаясь прихода пана Павела.

На следующий день мне было грустно.

В России, до сих пор, кажется, помешанной на мистике, уверяют, что от могил исходит *отрицательная энергия*. Неправда, вчера в полдень, допив пятую за утро чашку кофе и чувствуя нерасположение к своим запискам, я отправился к восточному склону горы Монт-Руайяль, где положил букет полевых лилий, девять девяносто пять плюс налог, на бетонное надгробие. В обычном магазине было бы дешевле раза в полтора, но в кладбищенской лавке перевили букет черной лентой и дали небольшую, размером с визитную, карточку в траурной рамке. Я не стал ее заполнять. Я навесил бы могилу АТ под тяжелым дубовым крестом в пригороде Москвы, на одном из новых кладбищ, более похожих на мусорную свалку, чем на место последнего приюта, но Москва далеко и вряд ли я снова там побываю. Мне известна лукавая формула древних: пока ты жив, смерти нет, а когда она придет — не станет тебя. Увы, в этом «не станет тебя» и заключена вся закавыка. И то жалкое бессмертие, за которое цепляются поэты, полководцы и ядерные физики, не стоит и ломаного гроша.

Давным-давно, еще в той, другой жизни, я поделился похожими соображениями с АТ по дороге со службы, не без издевки присовокупив, что и его терзания, метания, сочинения и страдания тоже представляют собой некий абсолютный нуль по сравнению с временем. (Мне доставляло извращенное удовольствие расшевеливать его после рабочего дня.) «Анри, дитя мое, — отвечал он не удивляясь, — река времен в своем стремленье, то бишь течение, уносит все дела людей и топит в пропасти забвенья народы, царства и царей. А если что, прошу обратить внимание, и остается чрез, имеется в виду чрез, звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не уйдет судьбы. Вы же умный человек, Анри. Разве я похож на идиота? Аэд, стремящийся к вечности! — передразнил он меня. — Нет, мой милый, максимум, на что я лично рассчитываю, это сохранить достоинство перед ее лицом».

К моему удивлению, АТ оказался клерком не хуже любого другого, если бы не выражение брезгливости на худощавом лице, с которого теперь каждое утро удалялась густая, с проседью, щетина — зато оставались обильные порезы. Он не без блеска составил по-русски текст брошюрки, где финансовая и торго-

вая компания «Perfect Gold», предприятие с многолетним опытом работы и безупречной репутацией, выступала достойной соперницей империи Форда или Моргана. Усаженный за нашу гордость — Макинтош II с 17-дюймовым цветным экраном, — он довольно быстро освоил электронное макетирование, кажется, вызывавшее у него меньшее отвращение, чем дежурная работа торгового агента, которой приходилось ему заниматься в отсутствие более благородных поручений. Он обрабатывал предложения о покупке распиленных рельсов и сульфата калия, подавая их на стол порывистому и лживому Збигневу, агенту по реализации. Он не роптал, ибо едва ли не впервые в жизни получал регулярную зарплату. А связь с Москвой! Через неделю после его зачисления на службу я обнаружил в журнале учета факсов несколько записей о депешах, отправлявшихся на неизвестный мне номер. (Потом АТ признался мне, что он принадлежал Кате Штерн, точнее, какой-то ее подруге.) Я не стал доносить пану Павелу, однако на следующее утро укоризненно покачал головою, когда заметил АТ, перебиравшего выползшие за ночь из аппарата странички.

— В следующий раз потрудитесь, пожалуйста, заносить личные факсы в журнал, Алексей Борисович, — сказал я вежливо.

— А потом оплачивать?

— Ну конечно, — сказал я. — Пользование аппаратом — пожалуйста, а уж телефонное время — вещь недешевая.

АТ покраснел, как всякий уличенный в мелком жульничестве, и на следующий день принес мне долларов тридцать — несомненно, меньше, чем стоили его факсы.

45

Ах, Алексей, Алексей в роли клерка сомнительной торговой компании и, более того, как бы моего подчиненного! Не стану скрывать, что ходатайствовал за него пред паном Павелом не только из благотворительных соображений. Нет, у меня был и свой интерес — мне хотелось увидеть АТ не напыщенным экзотериком, а нормальным человеком с ежедневными заботами. Иными словами, сбить с него спесь. Поймите меня правильно. В чистое искусство я не верю. Всякий живущий должен испить до дна сужденную ему чашу, а художник в особенности. «Пускай хоть раз в жизни увидит, как нормальные люди зарабатывают себе на хлеб», — думал я не то чтобы со злорадством, но с чувством исполнявшейся справедливости.

Его кабинет без окон быстро наполнился обаятельным мусором. На столе валялись советский ученический пенал, разрозненные страницы «Нового русского слова», сборники эллонов для посвященных, где слова печатались вместе с нотами. На стене появился огромный черно-белый портрет Розенблюма, увеличенный едва ли не с паспортной фотографии, — тот самый, что висит теперь в моей квартирке. АТ работал сосредоточенно, то кусая карандаш, то покачивая длинноволосой головою (пан Павел отправил его к парикмахеру только месяца через три, перед самой поездкой в Москву). На лице его застыло выражение, которое по-русски, кажется, называется «будто ударили пыльным мешком из-за угла». Тень Мармеладова, которого всем семейством снаряжали в присутствие, мерещилась мне за его сутулыми плечами, облаченными в мышиный твидовый пиджак от Mooges, прибежища мелких бюрократов средних лет, лишенных вдохновения и тщеславия. Услыхав от меня о предложении пана Павела, Жозефина насупилась, ожидая подвоха. Какника ради журавля в небе АТ должен был оставить свою временную работу в «Канадском союзнике», где замещал ушедших в отпуск. Вставать приходилось рано, еще до пробуждения дочери, и свой неизменный завтрак (яичница с ветчиной и тошнотворным количеством хлеба) наш аэд поначалу поглощал в одиночестве, в крайнем случае в моей компании (я купил подержанную темно-зеленую «Хонду» и почти каждое утро заезжал за ним на улицу Святого Юбера — проезд на автобусе в пригород стоил недешево). Через две недели, когда смущенный АТ протянул

свой первый чек законной супруге, она недоверчиво улыбнулась и весьма кстати воздержалась от любимого монолога о кшатриях и брахманах, читай — о неуместности торговли в качестве источника средств к существованию, а потом начала вставать к завтраку и умильно смотреть на непутевого мужа. Он сиял.

Бедная Жозефина! Не она первая, не она последняя убедилась в том, что рай с милым в шалаше существует лишь в горячечном воображении романтиков. Как странно чередовалась в ней жажда защитить выдающегося артиста от превратностей мирского существования с гневом на его бестолковость! Как настойчиво, с криками и слезами, пыталась она заставить его поступить в университет — обычное прибежище интеллигентных иммигрантов, в некотором роде социальное пособие для интеллектуалов! Впрочем, в аспирантуру по экзотерике его не брали из-за отсутствия формального диплома, а к алхимии он возвращаться не хотел наотрез.

Мы застряли в пробке на мосту — какой-то несчастный разбил свою машину, и она перегорела на дороге.

— Знали бы вы, Анри,— сказал Алексей, глядя в сторону, где турецкой бирюзою с черными и белыми прожилками волн играла река Святого Лаврентия,— как, в сущности, легко быть бедным в России.

— Бедным быть плохо всюду,— рассеянно ответил я.— Кроме того, бедность — понятие относительное.

Мы опаздывали в контору. Особых строгостей с дисциплиной не водилось, но на первый час, с восьми до девяти утра, приходилось больше половины звонков из Москвы. В тот день я ожидал от Безуглова, точнее, от Кати, которая вела почти всю переписку с нами, известий о Зеленове и десяти-миллионной ссуде, которую уже полгода сулил нам банк «Народный кредит».

— Вот и я об этом, Анри! Представьте себе жизнь в моем кружке,— гнул свое АТ,— портвейн — такой же паршивый, как здесь, может быть, даже и похуже, поклонницы, табак, хлеб, колбаса, и ничего больше не хотелось. Я, наверное, был там куда счастливее, чем здесь.

— Ох, не люблю я этих эмигрантских разговорчиков! — вспыхнул я.— И не стыдно вам, Алексей Борисович? Вы, насколько я понимаю, пишете здесь даже больше, чем дома, и, уж во всяком случае, больше, чем ваши приятели. И романы сочиняете?

— Ну да.— АТ несколько растерялся.

— О чем же вы жалеете? — заключил я.— Вы мне как-то говорили, что главную цель жизни видите в сочинении песенок, так?

— Эллонов,— брюзгливо поправил меня АТ.

— В таком случае терпите! Не вы ли меня когда-то учили, что художник не имеет права на счастье? К тому же и несчастье ваше относительно, дорогой мой АТ. Приятели вам завидуют. Получили работу. Скоро отправитесь в свою обожаемую Россию... Жозефина стала поспокойнее, микроволновую печку купила. Других вы учите мудрости, сосредоточенности. Песенки сочиняете, как на подбор, возвышенные. А сами, простите, ноете, как Женя Рабинович.

— Я тоже человек,— как-то по-детски надулся АТ.

— Не сомневаюсь,— сказал я.

Все-таки он был дьявольски хорош собой, на любителя, разумеется. Но уж кто-кто, а я мог оценить его одухотворенную худобу, манеру в минуты обиды вскидывать острый подбородок, сужать зрачки при напряжении мысли. У него было едва ли не самое живое лицо, которое я видел. Никогда не забуду, как напряглось оно, когда мы проехали наконец мимо изувеченного автомобиля, перегородившего целую полосу и упершегося разбитым передом в перила моста.

— А шофер, кажется, уцелел,— вымолвил АТ с облегчением.— Вот почему боюсь водить машину, Анри, еще приберет Господь до срока, а дел у меня — невпроворот.

С автомобилями, как, впрочем, и со всеми предметами металлическими, деревянными, пластмассовыми, у АТ складывались непростые отношения. Он был прирожденным кулинаром (сказывалась лабораторная выучка), отменным тамадой (с той пошловатой напористостью, столь необходимой российским застольям), несравненным собеседником. Он был негодным слесарем, никудышным водопроводчиком, и я не раз приносил к нему в дом (особенно после нескольких первых чеков, полученных от компании «Perfect Gold» и истраченных в основном на обустройство) не бутылку, а жестяной чеходанчик со своими, надо сказать, качественными, инструментами: двускоростной дрелью, тисочками, плоскогубцами, разводными ключами. Жозефина расцветала. Подкручивались ослабшие гайки; с помощью болтов-бабочек вешались на сухую штукатурку книжные полки; подкрашивались дверцы стенных шкафов, темно-желтые от кухонного чада и табачного дыма; были собраны небольшой письменный стол и тумбочка. Малолетняя Дарья смотрела сосредоточенно и замороженно, особенно когда я свинтил из разрозненных — так, во всяком случае, казалось АТ — деревянных брусков и планок детскую кровать. С кухни, где возился пристыженный аэд, раздавалось судорожное шипение овощей на китайской сковородке. Ну-с, положим, в заднем кармане у меня лежала сохранившаяся до сих пор плоская фляжка с горячительным — из нержавеющей стали, оклеенная первосортной кожей, настоящий подарок для джентльмена, занимающегося гольфом, и за стол мы сядились уже в приподнятом настроении. Затем фляжка кончалась. Я прилаживал к стулу отломившуюся ножку, тщателью замешивал эпоксидный клей. Жозефина уходила укладывать дочь. Сгущались окончательные, жирные и молчаливые сумерки. В такие минуты Алексей, помявшись, нередко снимал с гвоздя свою лиру.

— В школе у нас были субботники,— говорил он мне.— Я вызывался развлекать товарищей в обмен на освобождение от работы. А они с охотой соглашались! Только много позже мне пришло в голову, что мы, глупые девятиклассники, моделировали извечные отношения между художником и обществом.

— Вы зря думаете, что этот кошачий визг меня развлекает,— огрызался я.— Лира! У нее скрипучий звук, почти без реверберации. Купили бы электрическую, что ли.

— *Procul estis, profani!* — отвечал Алексей беззлобно.— Дух Эвтерпия не простит вам этого святотатства. Ему тоже в свое время предлагали поставить на лиру лишние две струны и бычий пузырь. Понимай вы что-нибудь в искусстве, я бы спел вам эллон об этой истории...

Я многое отдал бы за возвращение этих минут — за невесомую мошкарку, кружащуюся вокруг китайского абажура с символом янь и инь, едкий запах эпоксидной смолы, колыбельную Жозефины, которая едва уловимо доносилась сквозь тонкие стены этого бедного жилья. АТ играл приглушенно и ни одной вещи не допевал до конца. Звучала первая музыкальная фраза, шелестел тихий речитатив на греческом, потом все обрывалось, перетекало в другую тональность, срывалось на импровизацию. Я мог бы подумать, что АТ не хочет ничего исполнять из-за идиотских экзотерических ритуалов, то бишь необходимости надевать все эти венки, хитоны и сандалии; мог бы подумать, что он меня стесняется. Но я знал, что он доверяет мне; я знал, что, как ни смешно это звучит, меня допускали в святая святых его сочинительства. На его московских концертах я узнавал кое-какие напевы из слышанных мною на вечерней террасе, удивляясь аплодисментам зала. (Я не совсем идиот и при всем равнодушии к экзотерике понимаю, что для ее любителей этот сорокалетний мальчик был человек выдающийся. Только любил я его не за это.)

Уложив ребенка, на террасе появлялась сонная, неприбранная Жозефина. Она прижимала палец к губам, почти плыла по разошедшимся половицам, беспокоясь то ли за сон дочери, то ли за вдохновение мужа. Между ними начинался не-

доступный мне разговор, состоявший из обрывков греческих фраз, жестов Жозефины, напряжения лицевых мускулов АТ, прищуров, раздосадованных вздохов. Вертикальная морщина на лбу женщины разглаживалась, пальцы незаметно отбивали такт, а иной раз взмывали в воздух, очерчивая хитрые фигуры.

— А вот так правильно,— удовлетворенно говорила наконец Жозефина, и я знал, что глаза АТ от этой фразы просветлеют, а только что проигранный фрагмент будет тут же повторен, но уже увереннее и чище. Я смутился, чувствуя себя лишним, однако не ревновал. Эти сцены вряд ли были прелюдией к бурной ночи, нечто похожее мне довелось видеть потом в Москве, когда я попадал на встречи АТ с Белоглинским и Ртищевым, а то и с молоденькими аэдами, которые, бывало, заезжали к нам на Савеловский со своими дешевенькими лирами, ища благословения маститого коллеги. Смешной, но привлекательный мир, которого мне недостает сегодня, даже когда я завожу свою программу Real Audio и слушаю эллоны со всего мира на своем компьютере.

Нет, я не ревновал, не ревновал вовсе. Я счастлив был. Любовь — вещь замисловатая. Все мы знаем, сколько печали и глупости бывает в любви состоявшейся, влекущей за собою схватку самолюбия, «поединок роковой», по выражению поэта Тютчева. Рождение детей только усугубляет эту печаль. Как я понимаю любовь рыцарей к прекрасным дамам, когда хватало одного взгляда и двух десятков слов на многие годы! Мне, злополучному, светло и хорошо — любовь моя при мне, пускай ее предмет и лежит в земле. А тешить свою плоть можно, в сущности, с кем угодно. Правда?

47

Вот отрывок из письма Алексея Кате и ее ответ. Я обнаружил их в ящике пустого конторского шкафа, который подарил мне Берлин, когда компания закрывалась. Не скрою: мне было довольно стыдно читать и перепечатывать эти отрывки, один машинописный, а другой — на пожелтевшей, хрупкой, скрученной факсовой бумаге. Но разве не говорят они куда больше о долгой и превратной дружбе между дарившей серебряный стаканчик и несчастным моим аэдом, чем мог заметить сторонний наблюдатель?

С этой регулярной перепиской я чувствую себя, словно глухой, который внезапно обрел слух,— и все благодаря вовсе не чудесному исцелению, а успехам науки и техники, читай — факсу, который стоит в конторе у Павела и, уму непостижимо, в старой комнате Марьи Ивановны, где всегда пахло мышьями и спитым чаем. Я мало тебе писал. Отчасти можно винить мое несурзное и растерянное положение, отчасти же — известную тебе ненадежность нашей почты. Письма пропадают куда реже, чем кажется, но даже малая вероятность их чтения посторонними меня страшит. Всякий раз, когда я садился за письмо, за спиной моею вставал брюхатый чиновник с ухоженными усами и потирал руки, предвкушая, как через несколько дней будет читать мое сочинение совершенно законным образом, почесывая в паху и выписывая (или перепечатывая?) наиболее подрывные места. Но, как это ни поразительно, настает новая эпоха, и если советская власть когда-нибудь кончится, то виною будет не отвага академика Сахарова (хотя и она тоже), но — прости за банальность — прогресс техники, напор информации. Знаешь, когда я приехал в Монреаль, компьютеры еще были дорогой и экзотической игрушкой, и я боялся к ним подступиться. Ты не узнала бы меня: трепетный аэд, который почти вслепую стучит по клавишам, чертыхается, когда компьютер зависает, и даже сочиняет на нем эллоны. Списанный «Макинтош», подаренный мне Пашей, отремонтирован и красуется у меня на террасе — да-да, той самой, о которой я тебе уже писал, переезд нам пока не светит. Зарботки у Павела приличные, но мне эти деньги — Пашины ли, безугловские ли — представляются чем-то вроде золота гоблинов, блестящего при лунном свете, а при свете солнца превращающегося в сухие листья и пепел. Вероятно, во мне слишком сильна со-

ветская уверенность в том, что зарабатывать можно, лишь изготавливая предметы, а не перепродавая их, но умою я понимаю, что не прав... Наш обидчик друг оказался настоящим буржуа, в хорошем смысле слова, свою компанию он содержит, как рачительный, хотя и скуповатый хозяин, любит задерживать зарплату на день-другой, а то и на неделю, платит мне, как говорят умные люди, раза в два меньше, чем следует, но я не обижаюсь — в конце концов если я и готов продать свое первородство и *Dolce far niente*, то исключительно за шанс побывать дома, снова увидеть тех, кого оставил навек еще в той жизни. По частным приглашениям пока еще нередко отказывают в визе, но по деловым, говорят, пускают навверняка, если, конечно, ГБ не держит на меня зла. Вряд ли. Все эти годы я держался в стороне от политики, не от страха, конечно (снявши голову, по волосам не плачут), — от брезгливости.

Сюда попадают газеты и журналы, которые я прочитываю от корки до корки со смесью недоверия и восторга. Часть моих приятелей (в друзьях я числю только моего забавного Анри с его небывальым сочетанием поэтической меланхолии и хохлацкой деловой хватки, поверишь ли, сначала он устроил меня на работу к Паше, а потом сделал выговор за использование казенного факса в личных целях!) считает вашего генсека выдающимся авантюристом, который стремится усунуть бдительность Запада, а потом произвествит по нему ударный залп из всех своих ядерных или иных орудий. Сам я не знаю — он, конечно, не слишком честен, один Чернобыль чего стоит, да и из Афганистана мы все никак не уйдем, однако же откуда взять другого? Даже в самом идеальном случае те, кто кончает с тиранией, сами выросли при ней и подвластны ее законам.

Сотни писем, даже факсов, не заменят мне одного свидания с тобою, хотя бояться тебе нечего, любовь моя к тебе не перегорела, нет, но перешла в иное качество и мало в чем нуждается, кроме твоей дружбы, а в ней я, как ни странно, уверен. Анри намекнул мне на твой роман с Безугловым — неужели правда? Конечно, не мне тебя, взрослую женщину, учить, но милейший наш Безуглов, который так старательно притирался к компании моих аэдов, все-таки порядочный пошляк. Я знал его друзей-приятелей из другого мира — всех этих прикинутых ребят, иной раз даже с татуировками — и боюсь, что от этой стороны своей природы ему нигуда не деться. Впрочем, он неглуп и энергичен, и не исключено, что в руках у таких, как он, будущее нашего бесталанного отечества, которое, в свою очередь, вознаградит их дачами, особняками, «Кадиллаками», компьютерами и мобильными телефонами. Может быть, ты на это и метишь? Осуждать не берусь (да и вообще откуда мне знать — если у вас любовь, то я немедленно замолкаю, но если расчет — не стоит, моя милая, не стоит, ты всегда была женщиной классной, и если был тебе кто-то замечательной парой, то сама знаешь кто, и жаль, что сам он этого так никогда и не понял).

Возможно, хорошей парой тебе был бы и я, но мое благополучие — в будущем после того, как это брэнное тело уже устроится где-нибудь на вечноном покое, а тем временем тебе, как и любой женщине, нужны вещи земные — спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, как говорится, плечо, на которое можно при случае опереться. Иногда мне жаль Жозефину, которой я не принес счастья, жалко Дарью, которой я почти не занимаюсь, жаль самого себя, но последнее чувство знакомо решительно всем, и я не стану тебе надоедать.

Работа моя идет хорошо. Я устаю у Паши, но странно — те час-полтора, которые удается провести на террасе после полудни, удивительно плодотворны. Пока что я пытаюсь доказать старый постулат о том, что экзотерика есть высший разряд словесности, и заканчиваю повесть о Монреале, даже надеюсь (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!) отдать ее в печать в какой-нибудь из московских журналов. Ты скажешь, что эмигрантов еще не печатают, но у меня ощущение, что это не за горами. Впрочем, ты знаешь, как требовательно наше искусство к поведению его, так сказать, жрецов: даже если

повесть хороша, она не принесет мне славы, потому что печатать придется под псевдонимом.

Возвращаясь к Жозефине, Дарье и делам семейным...

48

...твои простодушные восторги по поводу научного прогресса. Кто такие гоблины? Ни в одном словаре не нашла. Между тем я от тебя отвыкла за эти годы. Никогда, говорят, ни о чем не надо жалеть. Хотела бы я этому научиться. Мне жаль, что где-то по свету бродит неприкаянный Пешкин, жаль, что ты вечерами сидишь на своей наверняка замусоренной веранде, вместо того чтобы хохотать с друзьями и петь им новые эллоны (впрочем, останься ты дома, той беззаботности уже все равно не вернуть), жаль, одним словом, что жизнь сложилась не так, как мечталось, что ли. Я отвыкла — и меня чуть покорила та бесцеремонность, с которой ты берешься меня судить, при всей осторожности фраз, поклонах и расшаркиваниях. Впрочем, не скрою, что была и польщена тоже — брата у меня нет, и никто, вероятно, кроме тебя, не станет со мною говорить так открыто. У нас, конечно, продолжается цирк: зрелище для народа предостаточно, хлеба пока не хватает, но о нем думают меньше, чем раньше, и метро усталое население недоверчиво пожирает литературу, за одно хранение которой еще недавно отпирывали в места не столь отдаленные. Признаться, меня уже начало утомлять это воодушевление. Вольно тебе презирать Ивана и подшучивать над паном Павелом, а между тем они из тех немногих, кто пытается работать. Это трудно, даже опасно и заслуживает куда большего уважения, чем ты думаешь. Что же до всей этой накипи, с которой приходится иметь дело, то я согласна: народ не слишком аппетитный, один Зеленов чего стоит. И в то же время я увлеклась: если с Зеленовым и неинтересно рассуждать о Розенблюме (бедняга искренне считает, что к концу жизни тот сошел с ума, чем и объясняется непонятность его позднего творчества), то ему известно многое иное, что тебе и не снилось, дорогой идеалист. Кстати, на днях несчастный Ртищев простоял в очереди у пивного ларька часа два, от расстройства купил пива существовавшего раньше, чем ему сначала хотелось, задремал на вытоптанной московской травке в скверике, а когда очнулся, то футляра с лирой не обнаружил. Объявили складчину, но львиную долю внес все-таки Иван. Друзья по кафедре иногда заходят в гости к отцу и матери, но те ударились в политику, посещают митинги, протестуют, пробивают какие-то публикации, и ощущение такое, что застряли в семидесятых годах, меж тем как на наших глазах рождается новая страна, с другими ценностями и идеалами — или отсутствием таковых. Не удивляйся, но мне осточертело российское разгильдяйство, и с годами кажется все милее Штольц из Гончарова и все отвратительнее его обаятельный Обломов.

Мы с Иваном неплохо ладим, хотя переезжать к нему я не тороплюсь, да и некуда — он уже полгода сражается за право купить квартиру. Жилье сейчас продается и стоит суице гроши, но бюрократических препон, связанных с этим, тебе в своем заморском парадизе не представить. Покуда он ютится с матерью, а у нее, сам знаешь, развитие и характер мытищинской буфетчицы; что же до моей квартиры, то там тесновато. В офисе мы не встречаемся из принципа. Впрочем, у Ивана мистическим образом всегда имеются ключи от пустых квартир, что дает мне полную возможность почувствовать себя студенткой (помнишь, у Вознесенского был стишок про чужие квартиры?), с той разницей, что где-то за кадром существует своя, более или менее устоявшаяся жизнь: отец, по-прежнему все вечера проводящий за письменным столом и не обращающий внимания на превратности окружающего мира, мать, допоздна редактирующая его работы (они уже давно стали соавторами), а после еще ухитряющаяся читать каких-нибудь «Детей Арбата»; неиз-

вестно откуда приходящие письма от Пешкина, который упорно не сообщает, чем он теперь занимается,— я боюсь, уж не шпионажем ли каким-нибудь. Между прочим, на старости лет я даже начала снова подумывать о детях... Единственная сторона жизни, которую ты не ценишь, вероятно, потому, что у тебя все-таки есть Дарья. Как ты стал бескомпромиссен, с какой жестокостью пишешь о несчастной Жозефине, с каким равнодушием — о родной дочери! Проснись, мой аэд, мы живем в реальном мире, и даже Белоглинский (о Ртищеве не скажу — тот по-прежнему пьет, мучает свою Ирину и сочиняет эллоны о космическом разуме, надо сказать, очень талантливые) с головой погрузился в полукоммерческую деятельность — путешествует по Союзу и выступает с концертами, посвященными жертвам репрессий... Даже разработал соответствующий репертуар, а в качестве приманки пару раз возил с собой заигрывающего с молодежью Ястреба Нагорного. Ты обижаешь Ивана, а между тем моя служба у него, по нынешним-то временам, едва ли не единственный способ избавиться от бытовых унижений, которые сейчас усилились, как никогда. Вот сейчас, например, стал по талонам появляться сахар, зато навсегда исчезло подсолнечное масло, а вкус сыра большинство соотечественников давно позабыло. Шокирован? Ничего, тебе полезно. Грядет либерализация цен, говорят, что все они подскочат раза в четыре, если не в десять, а зарплата ты останутся на том же уровне. Как уверяют наши рыночники, впоследствии они *подтянутся* к ценам, но как быть в течение этого *впоследствии*, не знает никто.

Меня позабавило твое известие о сочинении романа. Экзотерика, конечно, высший род искусства, но хороший столяр далеко не всегда хороший плотник. Лучше бы тебе оставаться в твоих заоблачных сферах, Алеца, это тебе неплохо удастся, и в Москве о тебе помнят. Вижу, что и ты не вполне чужд мирской корысти — с прозой, даже изданной под псевдонимом, куда легче прославиться, особенно в нынешние смутные...

Стыдно, стыдно читать чужие письма. Стыдно подслушивать чужие разговоры. Стыдно вообще жить, честно-то говоря. Стыдно своего несовершенства, своей слабости, своего как бы несоответствия Господу Богу. Мы тщательно прячем этот исконный стыд, и не каждому (как тем мытарям и блудницам) удастся найти такого, кто пригласит их за пиршественный стол.

И все же я живой человек и, кроме стыда, ощутил неожиданный укол не только грусти, но и, пожалуй, злорадства. За старомодной чинностью письма АТ сквозит сдавленная гордость безнадежно влюбленного, попытка неуклюже донести до адресата сообщение о своем наличии, готовности, страсти, которая подобно алхимической змее, кусающей собственный хвост, смиряется перед своим бессилием, лишь бы не уязвить предмет влюбленности... Ах, как это мне знакомо! Может, для кого-то АТ и был выдающимся аэдом, но я знал его с другой стороны, являвшей внимательному взгляду существо достаточно беззащитное. Но и предмет его любви был, мягко скажем, не Софи Лорен, не Анна Ахматова, не Лайза, как я уже говорил, Миннелли и не Маргарет Тэтчер. Катя до сих пор осталась женщиной в высшей степени земной — при всей платонической привязанности к экзотерике. Ладно-ладно, денег в рост, как ее тезка из знаменитого романа, она не дает, но отвлеченные темы недолюбливает, с удовольствием вяжет, вышивает, шьет, вдохновенно готовит не только для пана Павела, но и когда ужинает в одиночестве (заходил без предупреждения, знаю). Едва получив степень, она, к большому разочарованию родителей, оставила научную карьеру ради одной из советских внешнеторговых организаций, сулившей, как ехидно сообщил мне когда-то АТ, ежеквартальные премии в *бесполосых сертификатах*, на которые в особых магазинах с глухими шторами разрешалось приобретать второсортные западные товары.

В тесном алхимическом сообществе, как известно, недолюбливают отступников, так что ее связи с университетом как-то сами собой прервались. Но она продолжала видеться с Алексеем (упрямо предлагавшим ей руку и сердце), пережила бурное увлечение Белоглинским; отвергнутая, стремительно вышла замуж за коллегу по экспорту удобрений и импорту пшеницы (хоккей, рыбалка, ремонт дачи, молодецкие усы и болгарский дубленый полушубок), вступила в компартию, побывала в зарубежных командировках, а года через три, уже после отъезда АТ, вдруг развелась и даже, кажется, уволилась. Ходили слухи, что она пыталась не то провезти в Москву запрещенную литературу, не то, наоборот, вывезти записи Белоглинского в «Атенеум». Или вина ее была еще проще и заключалась во встречах с таинственным Пешкиным?

Так предполагал АТ, отставший от времени. Простой подсчет показывает, что в том году уже кипели реформы и мелкие преступления против режима уже мало кого волновали. Вскоре, должно быть, за старые связи, ее нанял Безуглов. Между ними начался вялый роман, о котором АТ узнал не от меня, а от нее самой, я человек порядочный. Не знаю, насколько искренне она любила творчество Алексея, но посмертный двойной компакт-диск, выпущенный недавно в Москве, создан на основе студийных записей, сделанных по ее настоянию за счет Безуглова месяца за полтора до гибели АТ.

Не любила, но и не отвергала!

Переставьте, переставьте в этой фразе порядок слов, чтобы понять, насколько она мучительна.

Выправив себе советскую визу и впервые за семь лет ступив на землю отечества, АТ трясся от волнения и страха. Но сколь мгновенно он просветлел, едва заметив на выходе из таможни свою Катю с охапкой белых георгинов! По бокам ее мялись краснолицый, покачивающийся Ртищев и вполне трезвый Белоглинский, у которого жуткие запои чередовались с полным воздержанием от спиртного. Шагах в десяти от них, рядом со смущенным Безугловым, маячила исполинская девица в мини-юбке, которая оказалась не членом его команды из гостиницы «Космос», как я подумал сначала, а журналисткой из «Московского комсомольца».

Лицо АТ было в Монреале и в Москве совершенно разным. Даже охладев к собственным сахариновым заблуждениям относительно отечества, он неизменно молодел лет на десять, едва сойдя с трапа в Шереметьеве. Но перемена, которую я увидел в тот сырой сентябрьский денек, была, право, невероятной. Напряжение, оглядка, замедленность в движениях — все то, что исчезало в нем лишь после десяти—двенадцати унций горячительного, да и то если Жозефина уже спала, испарились в единый миг. Не стану описывать первых мгновений свидания, ибо есть границы любому соглядатайству. Добавлю только, что у Ртищева под черным плащом оказалась надтреснутая, но тщательно заклеенная лира. Водрузив на голову пластиковый веночек, он начал протяжно петь по-гречески. Алексей прослезился, уткнув лицо в свой букет. Белоглинский скептически покачивал головой. Вокруг азда собралась небольшая толпа таксистов и мелких валютных дельцов. Журналистка щелкала фотоаппаратом, торопливо перематывая пленку. На самом трогательном месте, когда Петр закатил глаза, выпрямился и высоко поднял голову, к нему подошел ленивый сержант милиции.

— Не положено, молодой человек, — сказал он беззлобно. — Здесь общественное место, религиозная пропаганда запрещается.

— Совдепия! — воскликнул Ртищев. — Вечный совок!

— Спокойно! — подскочил к ним Безуглов. — Не обижайся, шеф. Не видишь, товарищ выпивши. Сейчас мы его увезем. Не дразни гусей. И вообще поехали скорее. Водка стынет.

Он неприметно сунул что-то сержанту в карман шинели, обменялся с ним понимающим взглядом и увлек Ртищева к выходу.

Нет-нет, я действительно неважный мемуарист! Говорят, что мастерство писателя состоит в непостижимом увязывании мелочей жизни так, чтобы за ними проступал смысл, не поддающийся передаче простыми словами. Но писателю легче, он может подгонять действительность под свой таинственный замысел, а на мою долю выпало только напрягать память, не умея отделить существенное от второстепенного. Я помню, допустим, как на мгновение потух взгляд моего товарища после того, как милиционер прервал пение Ртищева; писатель радостно усмотрел бы в этом печаль художника от столкновения с грубой реальностью и окрасил бы этой печалью весь оставшийся день. Но, едва выйдя из аэропорта, АТ оживился, подозвал Безуглова, шепнул ему в заостренное ухо нечто, отчего тот расхохотался чуть ли не до слез; начал с неподдельным интересом выпрашивать о делах фирмы и местонахождении господина Верлина; меня пригласил сесть рядом с Жуковым, а сам, затараторив какую-то чушь о султанах и сералях, уселся на заднее сиденье между Катей и журналисткой Женей (придвинувшись потеснее к последней).

— Свидание с преступной Родиной, Катя, — изрек он церемонно, — следует проводить в присутствии понятых. От души рекомендую тебе моего друга Анри. Я многим ему обязан.

— Без тебя не разобрались! — фыркнула Катя. — Ты знаешь, я в письме ошиблась. Я от тебя совершенно не отвыкла. Будто не было этих семи лет.

— Я тоже. — Он вздохнул.

С моего первого приезда в Москву прошло уже года два. Шашлычники по обочинам успели обзавестись палатками и складными стульями; там и сям возникли сколоченные на скорую руку ларьки с неожиданно яркими витринами, на которых красовался сомнительный ликер лейпцигского розлива и не менее сомнительный коньяк. АТ попросил притормозить, вылез из машины, застыл перед одним из ларьков. Друзья-аэды стояли возле него, словно два ординарца, и я вдруг понял, кто в этой компании главный.

— Ну что, господин Татаринов, — осклабился Ртищев, — удивляетесь нашему изобилию?

— Ужасно дешево почему-то, — простодушно сказал АТ.

— Это с вашими доходами, — сказал Белоглинский, — а у нас сорок долларов в месяц считается царской зарплатой.

— Так ведь «Наполеон» же, — гнул свое АТ.

— Мейд ин Польша, — засмеялся Безуглов. — Спирт, экстракт дубовой коры, чуть сахара да золотая этикетка. Настоящий продается в магазинах для белых и стоит дороже, чем у вас.

— Погоди. Дай-ка мне советских денег. Спасибо, сочтемся.

Дважды пересчитав непривычные бумажки, АТ купил матовую бутылку с профилем императора и, отвинтив жестяную пробку, сделал основательный глоток.

— А ведь ужасная мерзость, — сказал он удивленно.

— Спирт «Ройял» еще хуже. Сейчас попробуешь, дай только приедем. Говорят, от него слепнут.

— Зачем же пить?

— Во-первых, дешево, — пробасил Ртищев. — Во-вторых, любят же японцы рыбу фугу. Один неточный взмах ножа при разделывании — и гурман отправляется в лучший мир. Так и у нас — национальный спорт.

— Ну вас к черту! — смугился АТ. — Вы со мной и впрямь как с иностранцем. Мы с Анри тоже спиртом пробавляемся, только от него не слепнут вовсе. Анри! Помните, как вы однажды из Вермонта привезли его чуть ли не четыре бутылки?

Закрываю глаза и вижу этот фанерный ларек, на скорую руку выкрашенный в грязно-голубой цвет, непропеченное лицо толстухи-продавщицы в амбра-

зуре окошка, худые пальцы АТ, сжимающие бутылку варшавского пойла, даже чувствую запах ранней московской осени, насыщенный бензиновым дымом и испарениями сырой после затяжного дождя земли.

За моим окном тоже осень. Хрупкие кленовые листья неведомо как залетают на балкон, трепещут на ветру, в считанные часы меняя празднично-альый цвет на смертно-бурый.

Так славно все начиналось. Так неслась, подскакивая на ухабах, скрежещущая «Волга», так улыбалась Катя, держа за руку своего-чужого Алексея, залетную птицу, с которым уже простилась было на веки вечные. Так млела молоденькая Женя, которую АТ тоже держал за руку, но уже не столь дружески. Я радовался. Мне казалось, что я попал на праздник мировой справедливости.

— Все-таки Бог есть, — невпопад сказал Алексей.

Евгения свободной рукою вытащила из кармана плаща диктофон, издавший отчетливый щелчок.

— Но который? — подхватила она воодушевленно. — Вы уехали из СССР по еврейской визе, господин Татарин. Читателям известно, что в те годы это был едва ли не единственный способ избавиться от преследований всеильного аппарата госбезопасности. Каково ваше отношение к православной традиции?

— Что-что?

— К соборности, — уточнила юная Евгения несколько упавшим голосом.

— Дело хорошее, девушка, — заявил Алексей.

— Вы, как Иаков, провели семь лет в изгнании, чтобы наконец вернуться к своей Рахили... Какие чувства пробудило в вас свидание с Родиной?

— Женечка, — сказал АТ, — разве Иаков был в изгнании?

— Это образ! Идущий, между прочим, от Блока! О Русь моя, жена моя, до боли нам ясен долгий путь, и так далее, — возмутилась Евгения. — Вы, как аэд, должны понимать!

— Я понимаю. Давайте погодим, а? Этот ваш «Наполеон» как-то смутил мои мысли.

51

Трое суток, великодушно предоставленных ему паном Павелом, чтобы *прийти в себя*, Алексей провел bestолково, но насыщено. Даже я устал, хотя сопровождал его далеко не всюду. Снова закрываю глаза, вспоминая, и вижу бесконечный калейдоскоп лиц, квартир, кухонь, огней ночного города из окошка дребезжащего такси, и главное, пожалуй, — АТ в черном хитоне на сцене Центрального дома экзотериков и яростно аплодирующий зал (который, впрочем, мог бы быть и побольше). Взволнованный АТ при осмотре помещения встревожился: а поместятся ли желающие? Почему не устроили выступление в Большом зале? Почему не в Александровском гимназии?

— Ну-с, семь лет назад тебя бы и к этому залу не подпустили на пушечный выстрел, — усмехнулся Белоглинский. — А в гимназии концерты по абонемен-там. Все билеты проданы на полгода вперед. Кроме того, нашего брата-модерниста там не жалуют. Как завели классику, так до сих пор и продолжают.

— В таких залах я и в Америке выступал.

— Народу не до искусства! — захохотал по обыкновению пьяненький Ртищев.

— Не верю! — АТ даже несколько побледнел. — Посмотри, какие книги лежат на уличных развалах!

Он начал восторженно перечислять названия, по большей части мне неизвестные, но для него, видимо, исполненные сокровенного смысла. Белоглинский со Ртищевым, переглянувшись, сокрушенно покачали головами.

— Скажи-ка мне, Алеша, — начал Белоглинский вкрадчиво, — ну, допустим, в компании у господина Верлина ты временно, случайно и все такое прочее. Это я уже слышал от тебя, да и в письмах читал. Неуверенность в завтрашнем дне, пятое-

десятое. Говорить о деньгах у вас на Западе не принято. С другой стороны, все мы народ семейный.

Ртищев смущенно закашлялся. У его принципиального бесребреничества, как мне уже наслепетничали, имелась и оборотная сторона: своим двум сыновьям и дочери от разных женщин денег он никогда не давал, Белоглинский же славился своим чадолюбием.

— Но возьмем те же твои статьи в «Канадском союзнике»,— продолжал он.— За них сколько платят? Долларов сорок?

— Сто двадцать,— нехотя сказал АТ.

— А за выступления?

— По полтораста. Бывает и триста, впрочем.

— А за обзоры для «Континента» тоже что-то обламывается? А гранты тебе два раза давали? В общем, в среднем у тебя еще до пана Павела сотни три в месяц выходило? Из всех источников?

— Выходило и побольше,— пожал плечами АТ.

— Так какого черта ты ноешь? — едва ли не в один голос заорали друзья-аэды.— Денег куры не клюют, компакт-диск вышел, вещи печатаются во всех эмигрантских журналах, по радио передают, скоро и здесь начнут публиковать.

— Вы не поймете,— сказал АТ с неожиданной серьезностью.— Там другая жизнь.

— Но и ты не поймешь, пока тут не поживешь. Ты все забыл, Алеша!

— Ничего я не забыл.

— Ну почему тебе тогда родина представляется таким потеряннным раем? Ей-богу, огорчаешь. Сначала ты ностальгией исходил, когда тут еще была тюрьма. Ну ладно, дело понятное, хотя мы порядком недоумевали — нашел по чему тосковать! Теперь, конечно, расцвет духовности, свобода и все такое прочее. А между тем жрать народу нечего, вон, погляди, как старушки на улицах с утра до ночи торгуют последним, чтобы на хлеб заработать. Магазины пустые, видел уже вчера.

— Зря ноешь,— возразил Ртищев.— Скоро большевиков окончательно прогонят, экономика наладится, заживем нормальной жизнью. Главное — перетерпеть.

— А тебе как кажется, Анри? — повернулся ко мне Белоглинский.

— Я человек, далекий от искусства, и уж тем более от общественной психологии,— тактично отвечал я.— Но справедливости ради замечу, что покупательная способность доллара в России раз в шесть выше, чем у нас, поэтому сравнивать трудно...

Первые слушатели уже рассаживались на скрипучих стульях, перед багровым плюшевым занавесом, в просвете которого виднелся обязательный гипсовый бюст Ильича с аккуратно обрубленными руками.

«Главное у вас, дети мои, еще впереди,— думал я.— Сидели вы в своем гигантском лагере и перед сном в бараке рассказывали друг другу по памяти истории из мировой культуры. Лагерь был, заметим, не Освенцим. Обыкновенный трудовой лагерь, где мучили, но, во всяком случае, последние лет тридцать не убивали. Один помнил наизусть всего Шекспира, другая без бумаги и пера переводила Байрона, третий под самым носом у охраны ухитрился смастерить лиру и в хитоне из казенной простыни вполголоса исполнял свои песенки. И при этом все думали: какие мы духовные, какие просвещенные! Ворота открылись. В возникшей суматохе лагерное начальство, между прочим, успело присвоить и лагерную кухню, и грузовики, и цех по производству колочей проволок. Освободившиеся заключенные несканзанно обрадовались и основали две дюжины политических партий и десятка три газет. И так далее. Для наиболее сообразительных зеков открылась совершенно иная жизнь. Потом выяснилось, что бесплатные пайки отменены».

— Но главное еще впереди,— решил я.— Лет через пять, когда экономика и впрямь наладится, когда на улице Горького появятся филиалы Эсте Лаудер, Те-

да Лapidуса и ресторана «Максим», ваша подпольная экзотерика, поджав хвост, закономерно вернется в частные квартиры, а нынешние официальные аэды начнут жить продажей картошки со своих дач. В Александровском гимназии будут проводиться концерты Майкла Джексона. А в этом зале — собрания акционеров банка «Народный кредит».

— Ну, это ты загнул, наш дорогой американский товарищ,— недовольно сказал Белоглинский.

— Не американский, а канадский,— поправил я.— А загнул или нет — время покажет. Хотя за детали я не ручаюсь, конечно. Может быть, не Майкл Джексон, а Мадонна. И не «Народный кредит», а «Московский банк франчайзинга, лизинга и эксклюзивного дистрибьюторства».

52

Кое-кто из заходивших в зал кидался на шею нашему изгнаннику, иные, шествуя к креслам, уважительно на него оглядывались, а третьи косили в сторону, как бы не желая видеть аэда одетым в мирское. Среди одетых вполне трапезно попадались осанистые мужчины в строгих костюмах и накрашенные женщины в вечерних платьях. Молодежи почти не было. Среди кидавшихся на шею преобладали бородатые и растрепанные, а также молодящиеся дамы в джинсах. АТ, тая, в то же время ревниво следил за тем, как заполнялся зал. В свой звездный час ему явно хотелось, чтобы в проходах теснились возбужденные поклонники, а у дверей толпились охотники за лишними билетами. Он был бледен, судорожно вздыхал, то и дело прикладывался к небольшой стальной фляжке с красноармейской звездой, подаренной Ртищевым еще в аэропорту. Медленно проплыл к забронированному месту в первом ряду массивный пан Павел, одна из красавиц в открытом платье восторженно целовала АТ и досрочно отдала ему букет хризантем. Следующей оказалась женщина совсем пожилая, опирающаяся на палку; эта и вовсе прослезилась, как, впрочем, и АТ. Из мужчин в строгих костюмах к АТ подошел только один — полнеющий, лысеющий, даже несколько скользкий, в роговых очках и галстуке с изображением лиры. На шею аэду он не кинулся, но жизнерадостно протянул ему пухлую руку, тесно сжатую золотым «Ролексом» (я так и не сумел различить, поддельным, вроде тех, дюжину которых привез АТ в подарок разнообразным приятелям, или настоящим).

Не описать лица АТ в то мгновение, когда эта протянутая верхняя конечность, казалось, повисла в воздухе.

Впрочем, рукопожатие все же состоялось, и не могу утверждать, что АТ полностью притворялся, когда узкие его губы расплылись, наконец, в улыбке.

— И агнец возляжет со львом, так, что ли, Зеленев?

— Примерно, старичок, более или менее! Строим, понимаешь ли, новую Россию! Вместе с теми, кто в тяжелые годы не бросил Родину, так сказать, на произвол судьбы! — Он кивнул в сторону Белоглинского (Ртищев в этот момент необъяснимым образом исчез), а потом обвел свободною рукою все пространство зала.— Ну и, разумеется,— заторопился он,— с такими, как ты, с теми, кто вынужден был покинуть Отечество, но теперь возвращается в его, если можно так выразиться, объятия! Ну, не буду отнимать у тебя время, тем более что нам на днях все равно встретаться по делам. Бизнесмен ты наш! Ведь следил я, следил за твоим творчеством!

— По долгу службы? — не удержался АТ.

— Ну, не упрощай!

Когда он удалился, АТ потряс рукою, будто стряхивая с нее невидимые капли воды. Вынырнувший, словно из-под земли, Ртищев вдруг захохотал. Становилось душно. Я сел между господином Верлиным и Безугловым. (Кстати, почти на всех остальных местах в первом ряду ерзали сотрудники «Вечернего звона» и девочки из «Космоса».)

Плюшевый занавес, наконец, раздвинулся. Трое аэдов за дубовым столом, уже облаченные в хитоны и сандалии, с легким недовольством поглядывали в зал, где продолжалась возня, — видимо, часть гостей засиделась в знаменитом буфете ЦДЭ (где по пригласительным билетам на сегодняшний вечер можно было бесплатно получить рюмку водки и небольшой бутерброд), а может быть, и в еще более знаменитом ресторане. Венок и лира лежали только перед Татариновым. Я оглянулся. АТ напрасно беспокоился — в проходах никто не толпился, но и пустые кресла были немногочисленны. (Времена, когда на экзотерические концерты стало приходиться от силы двадцать человек, в том числе десять приятелей, были еще впереди.)

— Ну-с, начнем, пожалуй. — Белоглинский постучал по столу деревянным молоточком. Зал притих. Опоздавшие прокрадывались к своим местам на цыпочках. — Прежде всего позвольте поблагодарить спонсоров сегодняшнего выступления и фуршета — банк «Народный кредит», фирму «Вечерний звон» и компанию «Канадское золото». Координаты и контактные телефоны этих уважаемых предприятий желающие могут обнаружить на своих пригласительных билетах.

Никто, кроме сидевших в первом ряду, к моим аплодисментам почему-то не присоединился (что я нашел со стороны зрителей несколько бестактным).

— А теперь позвольте представить вам гордость российской экзотерики — аэда Алексея Печального!

Зал воодушевленно зааплодировал. АТ зарделся, потупил взор.

— Нет нужды рассказывать истинным знатокам о творческом пути Алексея. У многих из вас, вероятно, хранятся дома подпольные кассеты с его выступлениями, выпуски «Континента» со статьями АТ и с текстами его эллонов. У отдельных счастливых, возможно, имеется лазерный диск, два года назад выпущенный в «Атенеуме», знаменитой гавани для российских аэдов, которым было не по пути с режимом. Перестройка и гласность открыли многим талантливым изгнанникам путь на родину. Среди них и отсутствовавший среди нас более семи лет Алексей Печальный. Он покинул отечество в глухие годы, когда в наших сердцах уже иссякала надежда на перемены. Друзья и ценители прощались с ним навсегда. Но пути Господни неисповедимы. Иногда на их перекрестках вдруг оказывается и недоумевающее человечество. Главное же в том, чтобы в самые тяжелые времена в нас теплилась искра причастности к этому промыслу.

Безуглов отчетливо зевнул; я со своей стороны находил речь напыщенной, но любопытной. Бывшее непутевое дитя бойлерных и церковных сторожек, истеричный изгой, вечно неуверенный в своих силах, Белоглинский явно наслаждался своей нынешней причастностью к чему-то, что несколько отличалось от упомянутого *высокого промысла*. Впрочем, преступления в этом я, право, не усматривал.

53

Если на последних выступлениях в Америке АТ исполнял эллоны в основном по-русски (как бы в порыве самоистязания отсекая себя от аудитории), то здесь пел исключительно «истинные», иными словами, написанные на языке Гомера. Жаль. Думаю, что подлинных знатоков в зале было раз-два и обчелся, и уж лично я никак не принадлежал к их числу, хотя общий смысл эллона, исполняемого на более внятном языке, уловить могу. Впрочем, слушали с благоговением, чем бы оно ни объяснялось. Пускай тщеславие Алексея оказалось несколько уязвлено отсутствием телекамер и патриархов официальной экзотерики, пускай едва не половину собравшихся составляли старые приятели, бывшие любовницы и многочисленные родственники аэда, но все в мире относительно.

Вспотевший, задыхающийся АТ глубоко поклонился публике и церемонно снял с головы венок. К букету хризантем, подаренному Мариной Горенко, добавилось еще пять или шесть. Защелкали фотоаппараты, включая и мой собственный.

— Что ж, может быть, у кого-то есть вопросы? — осведомился Белоглинский.

— Или предложения, — съерничал Ртищев.

Из первого ряда я видел, как голые ноги АТ под хитоном покрылись гусиной кожей. И то сказать! Говорят, нервной энергии, которую тратит за небольшое выступление любимец муз, исполняющий собственные сочинения, хватает на то, чтобы вскипятить порядочный чайник. Меня толкнули сзади в плечо, передавая записку; минуты через три перед АТ лежал уже целый ворох этих листочков. Читая, он раскладывал их на две стопки.

— Дамы и господа, — он весело оглядел зал, — примерно половина вопросов касается моей жизни в Монреале. Отвечаю — более или менее — на все эти вопросы сразу. А именно: ответа здесь быть не может. Это сугубо частная жизнь, которая не имеет отношения ни к России, ни к творчеству, ни к собравшимся здесь.

— Поясните! — выкрикнул кто-то. — А как же историческая миссия русской эмиграции?

— Пожалуйста. Помните гибель Орфея? Я думаю, что вакханки растерзали его отчасти от раздражения. Наверняка они расспрашивали его об экскурсии в загробный мир, ожидая подробных рассказов, а он помалкивал или говорил невразумительное, потому что описать загробный мир живущим невозможно. Если кого интересует жизнь на Западе, прошу обратиться к газетам и журналам, благо у нас теперь свобода печати. В историческую миссию русской эмиграции, особенно нынешней, я не верю, и обсуждать ее мне неинтересно. Меня спрашивают, насколько в Америке велик интерес к происходящему в России. Отвечаю: весьма велик, так как у России есть ядерное оружие, и вопрос, у кого в конце концов окажется кнопка от ядерного чемоданчика, весьма насущен. Спрашивают, — он перебирал бумажки, — об интересе к российской экзотерике. Отвечаю: такого интереса абсолютно нет и быть не может.

— А «Атенеум»? А «Континент»?

— О них знает только горстка университетских профессоров да почти такая же горстка людей здесь, — растолковывал АТ.

Я озираю эти две сотни людей, которые пришли внимать высокому искусству, и с грустью думал об их невежестве и простодушии, с которыми за полтора года поездок в Россию уже сталкивался куда чаще, чем хотелось. Впрочем, АТ перешел к вопросам, касавшимся собственно экзотерики, и минут пятнадцать с удовольствием рассуждал о любви-ненависти, связывавшей Розенблюма и Ходынского.

— Кажется, все? — сказал он вдруг с облегчением.

— Вы не ответили на мою записку, — раздался из глубины зала обиженный девичий голос. — Как вы относитесь к наследию Ксенофонта Степного?

— Положительно, — отвечал АТ, несколько напрягшись.

— Почему вы говорите так односложно, если ваши ранние эллоны критики постоянно сравнивают с творчеством вашего дяди?

— Он — Ксенофонт Степной, я — Алексей Печальный. Родственников в искусстве не бывает, барышня. А критики... ну, не знаю. Он титан, классик, мученик. Думаю, что подобное сравнение должно мне льстить.

— Но не смущает ли вас, — настаивала барышня, — что вы слишком часто находитесь как бы в его тени?

— Еще как смущает! И не будем больше об этом. Тут еще один вопрос... читаю: «Почему вы вдруг занялись бизнесом? Не может ли это повредить вашему призванию?» Что я могу ответить? Бизнес как таковой меня не интересует. Но есть еще суровая проза жизни. Необходимость зарабатывать на хлеб, кормить детей. Мои обязанности в фирме моего старого друга Павела Верлина ограничиваются чисто технической стороной дела. Я рад возможности применить свое алхимическое образование и здравый рассудок, который, как ни странно, бывает развит даже у аэдов. Кроме того, благодаря господину Верлину и его фирме я получил возможность приехать в Москву и выступить перед вами.

Господин Верлин зарделся. Замечу, что поначалу он заметно нервничал. На концерт пришло несколько человек с кафедры алхимии, которые здоровались с ним довольно сухо.

— А правда ли, что ваша фирма собирается строить предприятие по производству золота? С участием банка «Народный кредит»?

Готов поклясться, что этот вопрос задал кто-то из людей Зеленова. Во всяком случае, по прилизанности и основательности тяжелого с отвисающими щечками лица он был больше похож на постаревшего комсомольского работника, чем на ценителя искусства.

— Ну, об этом надо спросить настоящих представителей фирмы, а не меня,— сказал АТ не без раздражения.— А теперь позвольте мне от души поблагодарить всех собравшихся и закончить эту затянувшуюся встречу.

54

Кое-кто из искателей автографов еще протягивал размякшемуся Алексею, уже успевшему переодеться (рубашка в красную клетку, умеренной потертости джинсы), диски из «Атенеума», зачитанные номера «Континента», просто пригласительные билеты, но по большей части народ потянулся к выходу. Обняли Алексея престарелые Штерны; его собственные родители и сестра, у которых он прожил эти три дня, тоже распрощались, понимая, хотя и огорченно кивая.

— Возникает вопрос хаты,— вдумчиво сказал Ртищев.

(До сих пор не понимаю, как можно до сорока лет жить у родителей и более того — в основном за их счет. Искусство искусством, но есть же, наконец, и обыкновенная человеческая гордость!)

— Анри, с этим все в порядке? — с надеждой обратился ко мне Алексей.

— Фирма веников не вяжет.— Я с удовольствием достал из кармана связку ключей.— Мы, конечно, песенок не пишем... но кое в чем разбираемся.

Я несколько лицемерил. За два года наездов в Москву мне так и не удалось в ней освоиться. Мы с паном Павелом и другими сотрудниками обитали в гостинице без вывески в Плотниковом переулке, принадлежащей не то ВЦСПС, не то ЦК КПСС. Смехотворная плата в долларах, вероятно, шла в карман Зеленову, а уж он расплачивался за всю эту мебель карельской березы, серые простыни, протекающие краны и вчерашний бефстроганов, подававшийся на завтрак, безналичными рублями. Эта жизнь мне совершенно осточертела, а поиски частной квартиры оказались делом трудоемким. Но Иван выполнил мое поручение. Правда, в квартире имелось маленькое неудобство в виде жильцов, какого-то капитана медицинской службы с женой и годовалым младенцем. Они платили хозяину тридцать долларов в месяц, мы обещали сто двадцать. Вчера, когда мы с Катей доставили туда запасы продовольствия для сегодняшней вечеринки, капитан, в одиночестве подпиривший голову руками на кухне, выпросил у нас бутылку водки из привезенной дюжины. В прихожей уже стоял упакованный скарб, но доносившийся из дальней комнаты детский плач если и смутил меня, то ненадолго, в конце концов Безуглов сунул полсотни лично капитану за моральный ущерб и дал ему два дня на сборы, что было достаточно гуманным. Так что имелась не только хата, но постоянное, полноценное жилье, где нам с АТ суждено прожить вместе еще не один месяц. Мы вышли на улицу поймать такси.

— Мне ваши песни очень понравились,— защебетала Таня из «Космоса». — Я вообще-то сама из Саранска, но русская. Вы на каком языке их пели? Ужасно похоже на мордовский!

— Дура ты, Танька, это греческий,— заявила Света.— И не песни, а эллены.

— Все равно красиво. Почти как Благород Современный. А вы, Алексей Борисович, по национальности грек? Совсем непохожи.

— Кр-расавицы вы мои! — АТ обнял обеих девиц сразу. Настроение его при виде ключей достигло небывалых высот.

Шел легкий сентябрьский дождик. Разбитое такси, где ехали мы с Мариной Горенко и двумя аэдами, заносило на темных поворотах. Я уже привык к унылым пейзажам ночной Москвы и почти не глядел за окно. Впрочем, глоток поддельного «Наполеона», перепавший мне из фляжки Алексея, подействовал на удивление благотворно.

— Какая радость, что Алексей приехал! — сказала Марина.

— Да не очень.— Ртищев хмыкнул.

— В каком смысле?

— Столько лет мы лезли вон из кожи, чтобы даже край наших риз, в смысле хитонов, не замарать об окружающее дерьмо. Наконец замаячила свобода. И что же? Вместо разрешения на проведение вечера в обкоме партии приходится как бы получать его у безугловых и зеленых. И откуда они только выскочили, не понимаю!

— Не стоит быть таким неблагодарным,— легко сказала Марина.— Ты бы видел спонсоров моей последней ленты. Совершенно отмороженные. Шакальский уверяет, что они не меценатствуют, а просто отмывают деньги.

— Но берет?

— А куда денешься?

— Неладно что-то в королевстве датском,— упорствовал Ртищев.— Могло бы какое-нибудь министерство культуры отслюнить Алексею денег на билет. Смешно получается. Не знаю, понимаешь ли ты, как Татаринцов вырос за эти годы. Между тем завтра он должен надевать двубортный костюм и идти на службу, торговать. Чем, Анри?

— Оленьими пенисами, вареной колбасой, красной ртутью! — засмеялся я.— Но это жизнь, Петр Алексеевич. Общество как таковое, простите уж за проповедь, испытывает лишь самую ограниченную потребность в искусстве. То, что замучили Розенблюма, например, меня не удивляет. Поражает другое — что лет через пятьдесят ему непременно поставят памятник на муниципальные средства. Как говорил поэт, «у нас любить умеют только мертвых». И не стоит из-за этого огорчаться. Не только у вас, всюду. Так всегда было, есть и будет.

— А Исаак Православный?

— Исключение, подтверждающее правило,— сказал я с полной ответственностью.— Бросьте, Петр Алексеевич. Мне иногда кажется, что вы ни одному моему слову не верите, а напрасно. Согласитесь, какой мне или Алексею Борисовичу резон вам врать?

— А комплекс вины? — загорелся Белоглинский.— Я давно заметил в наших гостях из свободного мира склонность приbedняться.

— У них свои проблемы,— примирительно сказала Марина.

— Ну да, у кого суп негуст, у кого жемчуг мелок.

Беседа принимала слишком знакомый оборот. Ох, как не хотелось мне снова начинать бесплодные споры об относительности всех ценностей, о системном подходе и прочих абстракциях, лишенных всякого смысла на фоне обид и страстей, сквозивших в подобных разговорах. Живущим и впрямь не понять загробного мира. Слава Богу, мы уже заруливали под неосвященную арку двора, где высаживались из такси подъехавшие раньше нас.

К полуночи я забеспокоился. Отгремели велеречивые, хотя и грешащие несвязностью, тосты за перестройку и гласность, за кооперативные издательства, за Горбачева, Сахарова и Исаака Православного, а по квартире все еще бродило дюжины две потрепанных аэдов, разномастных дам и гостей вовсе случайных, отчасти даже мне и незнакомых. В морозилку с трудом втиснули уже четвертую объемистую банку с разбавленным спиртом. АТ, совершенно позабыв

об эллонах, вырывал у Ртищева алюминиевый чайник в виде усеченного конуса, настаивая на том, что «Ройял» следует смешивать только с крутым кипятком. Я принялся совать гостям деньги на такси, потом махнул рукою и молча пристроился у разоренного стола. Остальные тоже, кажется, успокоились и расселись вокруг Белоглинского, уже бравшего первые аккорды на хозяйской гитаре. Как нередко бывает на российских вечеринках, начали с заунывных народных песен, а затем с непонятным мне воодушевлением перешли к сталинским маршам тридцатых годов.

— Броня крепка, — орал Зеленов с упоенным выражением на одутловатой роже, — и танки наши быстры, и наши люди мужества полны. Выходят в бой советские танкисты, своей отважной Родины сыны!

Я оглянулся. За моей спиной стоял АТ с точно таким же восторгом на лице, что и у Зеленова. Непонятно было даже, кто из них двоих пел громче. «Безумный народ, — подумал я. — Кажется, столько я не пил никогда в жизни».

— А вместо сердца — пламенный мотор! — выкрикнул мне в ухо АТ.

И вдруг наступила тьма. Я проснулся от головной боли часов в шесть утра под столом, рядом с похрапывающим Белоглинским. На кровати валетом пристроились две неизвестные дамы (все гости поприличнее, в том числе Марина Горенко и Катя Штерн, ретировались задолго до полуночи). Квартира пропахла табачным дымом, перегаром, испарениями спящих в одежде. Из соседней комнаты, как и в полночь, доносились постановывания Тани и Светы, явственное урчание гвардейски неутомимого Безуглова.

«На кухне должен быть аспирин», — вспомнил я.

Но стоило мне подойти к дверям кухни, как я оцепенел и почти забыл о своей головной боли. За столиком друг против друга сидели бледный Татарин и — клянусь Богом! — тот самый буддийский монах, которого я три года назад видел в Амстердаме, а позавчера — собирающим милостыню у метро «Кропоткинская». Впрочем, вместо оранжевой робы на нем были строгий черный костюм, свежая полотняная рубашка, черный же галстук с золотою булавкой в виде масонского мастерка. Собеседники были нехорошо, по-тяжелому пьяны. Монах изредка пощипывал толстыми пальцами струны лежавшей у него на коленях лиры. На меня они поначалу не обратили никакого внимания.

— Ты обязан мне ее отдать, — говорил Татарин.

— Бери ради Бога, — отвечал монах, покачивая круглой шишковатой головою. — Н-но боюсь, что мы спорим о чужой собственности.

— Потому что наше время кончилось. — АТ громко икнул. — Кажется, они говорили не о лире. — Но как же ты изменил всему! — Татарин почти закричал. — Сначала науке, потом любимой женщине, потом стране, потом своей вере, а теперь и вовсе занимаешься черт знаешь чем! Ну я понимаю, если нирвана так нирвана, ну и живи в своем Непале, читай мантры, не знаю, сколько лет ты там прожил. Пять? И что дальше?

— А дальше с-смерть, которой не существует, растворение в мировом дао. Судьба, которая равно ожидает быка, пса и доцента Пешкина.

— Ну и подыхай на здоровье, раз ты в это веришь!

— Не верю, студент Татарин, уже года два как не верю. Ты мне еще водяры плесни, хорошо? Знаешь, как замечательно было два года не говорить ни слова. Копать землю, бродить с кружкой для подаяний. К вечеру ноги гудят, голден как собака, ты попробуй прожить весь день на трех чашках риса. Садишься у дороги. — Он слез с табуретки и мгновенно пристроился на полу в позе лотоса, распрямил спину и заунывно забормотал: — Закат над Гималаями. Понимаешь все свое ничтожество перед лицом Будды. Слушай, а как это мы с тобою вдруг на «ты» перешли?

Не вставая с пола, он потянулся к стограммовому стаканчику и почти одним глотком опорожнил его.

— До аквавита этому пойлу далеко, — сказал он, откашлявшись.

— Что ты все-таки собираешься делать в фирме? — спросил чуть протрезвевший Татарин.

— Деньги, — сказал монах.

— Фирма нищая.

— Зависит от того, с какой стороны смотреть. — Монах встал с пола, слегка размял ноги. — Например, когда носишь оранжевое монашеское одеяние и бреешь голову, советская таможня настолько удивляется, что любой груз пропускает без досмотра. Благовония, например. Знаешь курительные палочки?

— Ну?

— С очень большой выгодой реализуются в Советском Союзе. Особенно если добавить туда кое-каких, скажем, неортодоксальных ингредиентов.

— Посадят тебя за эти ингредиенты. Лет так на десять — пятнадцать.

— Нет, не посадят. Они, понимаешь ли, деактивированы. А уж тут остается курительные палочки размельчить и обработать кое-чем. Мог бы угостить тебя готовым продуктом, да боюсь, что после такого количества спирта ты сразу вырубись.

— Ах, доцент Пешкин, что с тобою стало и почему? — воскликнул АТ. — Где философия, где алхимия, где лира? Где твои женщины, наконец?

— Я уже давно не по этой части, — сказал Пешкин. Я взглянул на него с интересом, но, кажется, ошибся. Голос его вдруг окреп, усталые зеленые глаза неприятно сузились. — Поскольку смысла в жизни, как выяснилось, нет, остается только использовать ее для, как бы тебе сказать... ну, впечатлений, что ли. Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю, и в аравийском урагане... Я прожил юность на свободе, молодость при деспотии, успешно бежал из концлагеря, стал добропорядочным членом среднего класса, пожил несколько лет нищим, а теперь хочу разбогатеть — и на покой где-нибудь во французских Альпах. Чего и тебе советую. Хочешь половину выручки? Твоя беда, дорогой АТ, состоит в том, что ты безнадежно провинциален. Да-да, именно провинциален. Несмотря даже на переезд из одной провинции в другую. И даже твои эллоны выстроены на песчаном основании, если пользоваться Библией. Тетрадку-то рыжую помнишь, а?

— Я давно расплатился за это, — сказал АТ протрезвевшим голосом. — Даже не напоминай. Все уверяют, что мое последнее намного лучше, чем раннее. И поверь, что мне это недешево досталось.

— Лучше. Однако все равно им далеко до того, что твой дядюшка сочинял в твоем возрасте, правда? А вы, молодой человек, зачем подслушиваете?

— Пускай ума набирается, — сказал АТ вяло. — Про курения твои он не денесет. Но если я провинциален, то ты безвкусен. Роба, голова бритая, мантры — и все ради пошлой, хотя и прибыльной операции. Пан Павел, я полагаю, знает?

— А за чей, по-твоему, счет я в Москве?

Доцент Пешкин вскоре, пошатываясь, ушел, оставив у меня на руках мычащего АТ, которого я с трудом оттащил в гостиную и усадил в кресло, чтобы тот хотя бы час-другой поспал перед рабочим днем. Вскоре спящие начали шевелиться. Звуки в спальне затихли. Мимо нас в ванную проскользнула сначала одна девица, а за нею и другая. Часа через два мне удалось растолкать аэда и отправить его под холодный душ. Он вышел из ванной мрачный и неразговорчивый, угрюмо облачился в деловой костюм и уже не поддавался на призывы Белоглинского продолжать веселье. Я с грустью посмотрел на притон, в который превратилась всего за один вечер чисто убранная обывательская квартирка с неизменным набором собраний сочинений Достоевского и Жюль Верна, с жалким хрусталем в полированном шкафу и коврами машинной работы. Счастье, что ее вчера не заблевали.

— Не спалите квартиру, — неприятливо сказал я оставшимся.

— Да уж постарайся, — сказал Ртищев.

— Попробуем как можем, — переглянулся с ним Белоглинский.

Глаза у них обоих сияли безумным алкогольным пламенем. И то сказать, далеко не каждый день достается российской богеме бесплатная выпивка в почти неограниченном количестве.

К Белорусскому вокзалу, где «Канадское золото» снимало офис в дипломатическом доме, мы отправились пешком. Серело раннее, обиженное Бог весть на что московское утро. Грузные старухи в штопаных пальто с труппами неведомых зверей на воротниках выстраивались в очередь у закрытых дверей молочного магазина, сжимая в руках вытертые пластиковые пакеты. У иных, впрочем, пакеты были наполнены пустыми бутылками. Ларьки с дрезденскими ликерами и доминиканскими сигаретами уже работали, а возможно, и не закрывались всю ночь. АТ сделал робкую попытку купить пива, но я как начальник приказал ему ограничиться скучной бутылкой местной минеральной воды.

— Поздняя осень, — уныло продекламировал АТ, глубоко втянув стриженую голову в тощие плечи, — грачи улетели. Лес обнажился. Поля опустели. Как вы думаете, Анри, выгонят меня с работы? И что я, спрашивается, в таком случае скажу жене?

Я мстительно помалкивал, размышляя об услышанном от Пешкина. Для АТ было бы положительно лучше, если б его выгнали, как, впрочем, и для меня. Я человек послушный и не стану кусать руку, которая меня кормит, но перспективы отсидки, тем более в советской тюрьме, не привлекали меня ничуть. Старая лиса Верлин так и не объяснил мне два месяца назад, откуда у него взялись триста тысяч на раскрутку фирмы. Вернее, понятно было, что деньги взяты взаймы, уж эти-то бумаги я разыскал, но на мои вопросы о возвращении долга (выданного Зеленовым всего на шесть месяцев без залога, но под неслыханный процент) Верлин только задушевно улыбался. Из газет я уже знал, как в России поступают с несостоятельными должниками; этот страх после подслушанного разговора прошел, но зато теперь я размышлял о глубинном смысле русской поговорки «хрен редьки не слаще». Право, право, уж лучше бы меня выгнали с работы, тем более что за пять или шесть месяцев, которые я в общей сложности провел в Москве в течение последних двух лет, мне не удалось устроить даже подобия *личной жизни*. Но сам бы я с фирмы не ушел. Не смог бы бросить АТ. А уж он явно бы не уволился даже под страхом смертной казни. Помахав паспортами, мы миновали подпоясанного толстым ремнем милиционера у входа в дипломатический двор и поднялись в наш офис, собственно, обыкновенную двухкомнатную квартиру, даже без евроремонта, неряшливо оклеенную виниловыми обоями в голубой цветочек. В проходной комнате за небольшим «Макинтошем» обычно тосковала бесцветная Ольга, а за другим с некоторых пор разрабатывала совместный проект золотого завода откомандированная к нам «Вечерним звоном» Катя Штерн. Верлин платил обеим долларов по тридцать в месяц плюс мифическую долю в грядущих прибылях. Еще два компьютера предназначались для нас с Татариновым. На кухне пил чай Жуков, также предоставленный нам на некоторое время Безугловым. Забавно было наблюдать превращение вдохновенного аэда (который накануне, еще до того, как я потерял сознание под столом, но после того, как ушла Катя, уединился-таки в спальне не то с Таней, не то со Светой, а может, и с обеими) в сравнительно мелкого служащего подозрительной фирмы. Едва кивнув, он проскользнул мимо ухмыльнувшейся Кати и открыл дверь в кабинет шефа. Мне показалось даже, что спина его раболепно изогнулась.

Свежий, румяный, веселый господин Верлин, восседавший в вишневом кожаном кресле с еще большей важностью, чем в Монреале, привстал нам навстречу.

— Спирт «Ройял», — сказал он с отеческой укоризной, принохаясь. — Что же вы, Анри, не удержали своего подчиненного? Как он, спрашивается,

будет работать? Но ладно уж, простим на первый раз. Ты у нас, Алексей Борисович, в конце концов самый ценный сотрудник. Смотри.— Пан Павел протянул ему свежий выпуск «Столичных новостей», развернутый на первой странице отдела культуры. Фотограф запечатлел АТ в миг триумфа — беспомощно улыбающимся, прижимающим к груди сразу все подаренные букеты.— Доволен?

— Наверное,— сказал Алексей, потирая лоб тыльной стороной ладони.— Позволь, тут и статья есть? «Сегодня один из наших лучших аэдов обратил свои взоры к бизнесу. Что сказать об этом? Россия, искалеченная семью десятилетиями большевизма, разучилась ценить честный предпринимательский труд. Между тем Шестов, один из самых светлых умов нашего Отечества, имел свое кожевненное дело. Фет вел образцовое помещичье хозяйство. Ходынский несколько лет проработал банковским служащим. Так и Алексей Татаринов занимает ответственную должность начальника департамента развития деловых связей в известной фирме «Канадское золото», работающей в тесном партнерстве с ТОО «Вечерний звон» и банком «Народный кредит». Безупречная репутация г-на Татаринова, смеем надеяться, послужит укреплению престижа этой фирмы в нашей стране...» Елки-палки! — Лицо АТ потемнело.— Что за херня, Паша? С каких пор ты используешь мое имя в своих авантюрных целях?

57

Безобидный патриарх Верлин вдруг побагровел и, встав в полный рост, как бы навис и над бедным Алексеем, и над вашим покорным слугой.

— Ты не преувеличивай своего имени,— заговорил он неузнаваемым голосом.— Мы, а значит, и ты тоже, занимаемся весьма серьезным делом. Это тебе не аквавит распивать и не эллоны сочинять. В этой стране прямо на улице валяются несметные деньги. Но охотников на них тоже предостаточно. Сквозь эти ряды нам и предстоит прорваться — зубами, когтями, как угодно. Ты играешь тут роль наискромнейшую, уж не обижайся. Но всякое лыко в строку. Нам необходимо удивить, озадачить местную публику, расположить ее к себе. Даже такими мелочами, как наличие в нашем штате Алексея Татаринова.

— Да что же это за дело такое, наконец! — воскликнул Алексей едва ли не в слезах.— Ты меня не для этого нанял! Я думал, речь идет об обыкновенной коммерции. Так до сих пор и было. Ну, торговали мы удобрениями, торговали оленьими шкурами, ну пытался ты тут, я знаю, текстильное производство налаживать. Всякий раз мы лезли в чужую епархию, где и без нас было достаточно конкурентов. Даже наш Безуглов недостаточно зубаст для денег по-настоящему больших. Заметь,— он вдруг ожесточился,— я достаточно тебя уважаю, Паша, чтобы не ставить под сомнение ну как бы философскую законность твоих стремлений. Заметь, что любого другого бизнесмена я бы презирал до глубины души. С каких пор деньги стали главным в мире? Я никак не могу отделаться от мысли, что за всем этим стоит некая, извини, высшая цель. Ладно, можешь мне не отвечать.

Я еле удержался от ухмылки. Люди меняются, ах, как меняются люди с течением лет! Бывший пухлогубый идеалист Паша Верлин, конечно же, мог не без блеска поддерживать едва ли не любой разговор на возвышенную тему и с удовольствием, вероятно, отчислил бы процентов десять гипотетической прибыли на нужды детских домов. Но когда бы не рассказы АТ о нем в молодости, он бы вряд ли меня особо заинтересовал.

— Теперь вдруг Пешкин,— горячо продолжил АТ.— Ты почему мне ничего не сказал об...

Господин Верлин плюхнулся обратно в кресло.

— Спятил? — крикнул он.— Считаю, что я этого имени никогда не слышал. Точка. Меньше пить надо, Татаринов! И шкурами ты больше заниматься не будешь.— Он успокоенно вздохнул.— С сегодняшнего дня назначаю тебя ответст-

венным за техническую сторону завода «Аурум». Участок уже куплен. Наняты инженеры, проектировщики, бухгалтер, чертежники. Вопросы финансирования я оставляю полностью за собой. Считаю, что это область конфиденциальная.

Дверь открылась без стука. Катя Штерн в длинном черном платье, скорее вечернем, чем рабочем, с черными гематитовыми бусами на шее смотрела то на Верлина, то на АТ взглядом, который я видел до сих пор только в кино.

В нем сквозили отчаяние, надежда, гнев, страх. По левой ее щеке стекал ручеек туши.

— Он что, здесь? — сказала она сиплым голосом.

— Екатерина Александровна, — Верлин поморщился, — наш коллега оговорился. Местонахождение господина Пешкина мне неизвестно. Более того, подозреваю, что он давно покинул пределы нашего мира для мира иного, где нет ни мести, ни печали. Вы оговорились, Алексей Борисович, правда? Кроме того, я категорически запрещаю вам подслушивать то, что происходит у меня в кабинете.

— Пожалуйста, — почти простонала Катя. — Ну пожалуйста, а? Мистер Верлин! Хотите, я к вам сегодня ночевать приду? А ты, Алеша? Ну? Вот кто мне сейчас скажет про моего Пешкина, к тому и явлюсь. Ей-богу, мне больше нечего предложить. Леш! Ты же еще вчера меня уверял, что настоящая любовь никогда не проходит, и стоит мне тебя поманить, как ты сорвешься, забудешь все и поползешь за мною? Говорил?

Татаринлов растерянно кивнул. И он, и Верлин были ужасно смущены этой выходкой, как бы взятой напрокат из Достоевского. А я, грешным делом, весело отметил про себя, что на меня Катяно предложение не распространялось.

— Успокойтесь, Катя, не унижайтесь, — отечески заворковал Верлин. — У господина Татаринлова похмелье, он сам не знает, о чем говорит. Жертва ваша, право, была бы напрасной. Я любил господина Пешкина. Собственно, это был один из самых талантливых людей, мне известных. — Он выбрался из-за стола, налил Кате стакан сидра. Та попыталась пить, но не сумела. — Но люди, к сожалению, смертны. Люди уходят от нас, даже самые лучшие.

— Он жив, — сказала Катя.

— Возможно, но мне об этом ничего не известно. Ну хотите, поклянусь на Евангелии? И Татаринлов поклянется, правда?

Меня снова исключили из игры. Проницателен, собака, подумал я. С Богом у меня отношения запутанные, но пусть другие лжесвидетельствуют на Евангелии. Я бы не смог.

— Я тебя звал обратно не на таких условиях, — буркнул Алексей. — Допустим даже, что я соглашусь. Кто будет больше унижен, ты или я?

— Ты, разумеется. — Катя уже взяла себя в руки. — Но коли уж вы оба клянетесь, я свое предложение снимаю. Черт с вами, недоумки! Вы ему в подметки не годитесь, ни ты, Верлин, ни ты, Татаринлов. Понимаете? В под-мет-ки!

— Итак, фирма «Канадское золото» переключилась на торговлю подметками и шнурками?

Дверь раскрылась нараспашку. На пороге кабинета стоял осанистый Зеленов, будто и не пил вчера, будто не распевал до двух часов ночи «Широка страна моя родная». Он улыбался широко, обнажая вставленные по бокам челюсти золотые зубы, штук пять, не меньше. Ужасно. Золотые зубы заставляют меня мгновенно и навсегда терять всякий интерес к их обладателю.

— Ну вот, — с преувеличенным восторгом кричал он, потрясая тем же выпуском газеты, что и в руках у Алексея, — свершилась мировая справедливость! А я-то хотел тебя обрадовать, Татаринлов! И ты посмотри, вот ты сменил карьеру, и никто не удивляется, скорее даже рады. Почему бы неглупому аэду не поработать ради процветания Родины? Но какой успех! Мне даже стыдно, что ког-

да-то я недооценивал твое дарование. Все мы ошибаемся. Иной раз, пускай и откровенно, от всей души, служим делу, которое исторически обречено. Однако время все ставит на свои места. Может быть, мое настоящее призвание заключалось как раз в банковском деле, в покровительстве наукам и искусствам... Может быть, я такая же жертва режима, как Коммунист Всеобщий, почему знать?

Выкрикивая эту дребедень, он стрелял глазами по кабинету, отмечая взглядом зареванную Катю, апоплексически румяного Верлина, обозленного АТ, наконец, меня, уравновешенного наблюдателя, никак не затронутого кипевшими страстями.

— Что ты оправдываешься? — АТ с интересом вскинул голову. — Мне не до душеспасительных разговоров. А впрочем, ты вовремя пришел. У нас спор с господином Верлином. Я считаю, что от заведующего отделом развития деловых связей, то есть меня, негоже скрывать определенные моменты деятельности фирмы. Например, получение ею необеспеченного кредита на четыреста тысяч долларов.

— Екатерина Александровна, — скучно произнес Верлин, — оставьте, пожалуйста, помещение.

Катя вышла, сжимая в руке стакан с ситро, и через несколько мгновений я услышал из дальнего конца квартиры сначала звон разбитого стекла, а затем нечто, подозрительно похожее на сдавленные рыдания. Пока ринувшийся за ней Алексей отсутствовал, мы успели выпить по чашке растворимого кофе — надо сказать, премежского. Уж не знаю, что было тому виной — выдохшийся кофейный порошок фирмы «Пеле» или московская водопроводная вода.

Точно так же, как неоднократно до него это проделывал пан Павел, Зеленов многозначительно поднял глаза к потолку и обвел руками комнату.

— Я устал от твоего театра, — сказал АТ. — Кто, кроме вашего учреждения, станет здесь устанавливать микрофоны?

— Другой департамент, — сказал Зеленов спокойно. — Пока вы не сняли квартиру у чешского посольства, это была внешняя разведка, а теперь, вероятно, департамент контроля над коммерческими структурами, отдел Северной Америки под руководством полковника Копылова, который, кстати, меня недолюбливает. Единственный на расширенном совещании выступил против моего перехода в банк, в котором американского капитала-то кот наплакал, процента два с половиной. Два месяца не давал визы на мое заявление. Занимайся, говорит, своими песенками под лиру, а серьезные дела оставь нам. Но знаешь, Татарин, я на твоей стороне, вы уж не сердитесь на меня, господин Верлин. В серьезной фирме не должно быть секретов от высшего руководства, к которому ты, безусловно, принадлежишь. Господин Верлин, вы позволите сообщить господину Татарину и господину Чердиченко некоторые подробности нашего соглашения?

— Согласен, согласен, — растаял Верлин, видимо, вполне доверяя изобретательности председателя банка «Народный кредит». — Тем более что даже наш главный бухгалтер знает историю этого займа лишь в общих чертах.

Зеленов достал из винилового дипломата папку с бумагами и протянул ее нам с АТ. Я ощутил некоторую обиду. Бог с ним, с простодушным аэдом, но, оказывается, за моей спиной тоже проводились какие-то секретные операции. Замечу, что под предъявленные бумаги не подкопался бы и самый строгий ревизор. Целевой валютный кредит на строительство завода «Аурум» предоставлялся компании «Канадское золото» правительством Москвы сроком на один год по ставке в восемьдесят процентов, под залог имущества компании в г. Монреале, Канада, состоявшего из зданий, сооружений и земельных участков общей стоимостью в 1,2 миллиона канадских долларов. К протоколу прилагалось заключение оценщика г-на Летурно, снабженное весьма правдоподобной печатью из золотистой фольги, с болтающимся кусочком сургуча.

— Что-то не помню я этого Летурно, — задумчиво сказал АТ. — Кроме того, я всегда думал, что наше помещение в Монреале мы арендуем.

Господин Верлин яростно повернулся в кресле и открыл поскрипывающим ключом небольшой сейф. На самом верху в стопке бумаг там лежал внушительный, хотя и отпечатанный на цветном принтере, а не в типографии, документ, оказавшийся купчей на здание и участок.

— Хорошая обстановка у нас в фирме, — сокрушенно произнес он, — ответственные сотрудники не доверяют президенту компании. Наверное, в этом есть часть и моей вины, господи. — Он искоса поглядел на Зеленова. — Прошу не забывать, что сам я человек не слишком состоятельный. Однако за нами стоят могущественнейшие из смертных. Те, для кого миллион двести тысяч ровным счетом ничего не значат. Вы ведь видели купчую, господин Зеленов? У вас нет сомнений в обеспеченности кредита? А у вас, Анри? А у вас, Алексей? Вот и хорошо. Теперь, когда эта маленькая проблема выяснилась, прошу вас приступить к работе. Все необходимые по «Ауруму» документы, Алексей, находятся у вашей неуравновешенной подружки. Пожалуйста, получите их под расписку, изучите, осмотрите участок, и через неделю отправимся обратно в Монреаль, набирать персонал. Да, не забудьте о том, что «Аурум» будет акционерным обществом. За проспект эмиссии и выпуск акций отвечает господин Чередниченко.

59

Мрачно заполнял Алексей таможенную декларацию под пустыми, словно на похоронах, взглядами Ртищева и Белоглинского, пересчитывал разрозненные долларовые бумажки и разыскивал по карманам запрещенные к вывозу рубли (перемешанные с сигаретными окурками и автобусными билетами), чтобы отдать их приятелям. Я наблюдал за ним с сосредоточенной печалью. Как-никак мне предстояло возвращение домой из ссылки, а ему — наоборот.

— Человек питается не жирами, белками и углеводами, а веществом любви, — сказал он мне, когда самолет поднялся в небо и погасло табло «Не курить». От его сигареты «Прима» исходил дым столь удушливый, что на нас обернулись соседи из предыдущего ряда кресел. — Тонкая, редкая материя. Всякий пытается создать ее для себя сам, тем более что материя эта, что бы ни говорили поэты, преходяща, как все живое.

— Оставьте, — по обыкновению возразил я. — Не стал бы спорить, если бы вы возвращались в концлагерь. Но мы с вами летим в одну из самых прекрасных стран мира. И уж поверьте мне, Алексей Борисович, что вы себя так замечательно чувствовали в Москве благодаря, извините, деньгам, заработанным у нас. Кроме того, приезжие сейчас в моде. Иными словами, ваши товарищи и соратники сейчас, как и вы, вернутся к своей обычной жизни, без дармовой водки и походов по валютным барам.

— Меня здесь любят, — сказал АТ. — Здесь мой дом.

— Сентиментальность вам не к лицу. Ваш дом там, куда мы направляемся. У вас в конце концов дочь, жена, чего еще нужно нормальному человеку?

— Я не очень нормальный человек, — промолвил АТ без кокетства. — И потом, вы заметили, Анри, дом мой неблагополучен. У нас, например, умирают комнатные цветы. Я столько за ними ухаживал. Поливал, удобрял, ставил ближе к окну. Засыхают, и все. И тесто в доме не подходит, сколько дрожжей ни клади. Ну а с другой стороны, — он вдруг оживился, — нет худа без добра. Терраса меня ждет, надо только перешпаклевать окна. Верлиновской премии хватит на портативный компьютер. А в Москве, сами знаете, работы не получает-ся. Я удивляюсь, как еще Ртищев продолжает писать.

— Раз в пять меньше, чем раньше, — заметил я.

— Меняются времена, в новой обстановке необходимо перестраивать душу, а это процесс куда более трудный, чем сочинительство. И все-таки грустно возвращаться, — невпопад добавил он.

Я не сказал ничего. Кто спорит, приятно ли превращаться из знаменитости в рядового обывателя. Да и не было у меня сил проповедовать АТ семейные ценности, в которых сам я разочаровался.

Жозефина с Дашей встречали нас в аэропорту на моей машине. Мы ехали молча. Я любовался нехитрыми придорожными пейзажами: рощицами, силосными башнями, одноэтажными фермерскими домами, бензоколонками. Все казалось мне небывало чистым и мирным. Не понимаю, как можно считать себя какой-то особо духовной нацией и при этом жить в хлеву и в быту гадить друг другу, как только возможно.

— В России по-прежнему мочатся в лифтах? — осведомилась Жозефина, словно услышав мои мысли, но как-то уж слишком грубо.

Даша, игравшая с плюшевым кенгуру рядом со мною, расхохоталась.

— Так не бывает, — сказала она. — В лифтах не писают.

— Всякое бывает, душа моя, — кротко заметил АТ.

— Почему ты так редко звонил? — Голос Жозефины был таким же напряженным, как и раньше.

— Разговор надо заказывать за два дня, — вмешался я примирительно, — а у нас такая работа, что невозможно предсказать, будешь ли в этот час у телефона.

— Анри, вы мне позволите поговорить с мужем? Я вам, конечно, очень благодарна за машину, но вопрос был задан не вам.

Ох, Жозефина, Жозефина, подумал я, угораздил же тебя черт связаться со своим милым! Добро еще был он ручным эмигрантиком, в меру сил тосковал по родине, сочинял свои песенки, а теперь — кранты! — щуку бросили в реку, или как там в басне Крылова. Впрочем, не таковы ли все женщины? Влюбляются в птиц вольных, а потом сажают их в клетку. А если совсем честно: не таковы ли мы все?

— Ваша работа мне известна, — ярилась женщина за рулем, — коммерция, род деятельности, ниже которого только проституция. Много продали оленьих пенисов и красной ргути?

— Я привез денег, — сказал ошеломленный АТ. — Верлин оказался щедрее, чем я ожидал, и выплачивал нам командировочные. Почти все сэкономлено. Плюс премия. Ты не представляешь, насколько дешева жизнь в сегодняшней Москве. То есть почти ничего нет в продаже, но уж если есть, то за сущие гроши. Я купил Даше велосипед. Он у меня в багаже. Анри обещал помочь со сборкой.

— Пытаешься нас купить?

— Люди не продаются, — вставила Даша. Кажется, она уже начала беспокоиться. — А за велосипед спасибо. Двухколесный?

— Ага. С тренировочными колесами сзади. Когда научишься кататься, мы их снимем, и станет настоящий, как у взрослых.

Вдалеке, на склоне горы, уже вставало серо-зеленое здание собора Святого Иосифа. Мне хотелось спать. Кроме того, я злился на Жозефину. В конце концов всему есть свои пределы, думал я, несправедливо забыв о многочисленных барышнях, забредавших в нашу квартиру на Савеловском послушать эллоны, а затем в меру девичьих возможностей отблагодарить приезжую знаменитость. Не может быть, чтобы она об этом не догадывалась.

Время действия моих воспоминаний совпадает с трудным периодом в истории России, которому посвящены дюжины книг, принадлежащих авторам существенно более талантливым, чем я. Что я видел в конце концов? Офис «Канадского золота»? Экзотерические вечеринки? Убожество магазинов? За окнами квартиры на Савеловском, где мы с АТ проводили примерно каждый третий месяц, иногда пересекаясь только частично, разворачивалась небывалая драма,

вышедшая далеко за границы «перестройки» и «гласности». В столицах губерний разгоняли демонстрации и захватывали телецентры, в газетах и журналах кипели страсти сначала вокруг Сталина, потом вокруг Ленина, потом вокруг идеи коммунизма как таковой. Но и АТ с товарищами, и самому мне все это казалось естественным и необратимым выздоровлением после затянувшейся на семьдесят лет болезни. Кто мог предположить, что в конце августа реклама «Пепси-колы» по телевизору сменится «Лебединым озером», а потом на экран вылезет ублюдок с трясушимися руками и начнет нести напыщенное советское вранье? Вначале я перепугался до смерти. Впрочем, я считал своим долгом утешить своих друзей.

— Народ их сметет, и не из любви к демократии, ребята,— говорил я собравшимся у нас на квартире аэдам,— нет, для этого требуется, чтобы сменилось минимум два поколения. Но из любви к бананам на улицах и спирту «Ройял» в каждом киоске.

— В нем примесь метанола,— сказал Ртищев.

— Ну да, а в вашем сучке производства Ижорской птицефабрики содержится только чистый нектар,— осадил его я.— Я в философском плане говорю. Так что не ходили бы вы на эти пресловутые баррикады. *Inter arma Musae silent**. Пристрелят, не дай Бог, а вы еще нужны этой стране.

— А вы сами боитесь, да? — спросил Ртищев.

— Просто не нахожу нужным. Вдобавок, если меня отловят ваши путчисты, может начаться международный скандал. Запишут в наемники, например. Во всяком случае, канадскому посольству это не понравится. Я и вас бы, Алексей Борисович, попросил об этом не забывать.

Хлопнув еще по стопке водки, все трое как-то разом встали и молчаливо начали собираться. У каждого было с собою по лире в пластиковом чехле. Я только пожал плечами, закрывая за ними дверь.

Несмотря на путч и на встретившуюся мне по дороге колонну танков, такси в считанные минуты доставило меня на Кутузовский проспект, где в дипломатическом гетто ждал кучерявый и веселый вегетарианец Дональд из коммерческого отдела американского посольства. Я никогда не приезжал к нему без предупреждения, но на этот раз слишком беспокоился. Хотелось следить за новостями не только из окна квартиры, но и более цивилизованным способом. Милиционер у входа долго светил карманным фонариком на мой паспорт, но в конце концов все-таки пропустил.

— Так и знал! — встретил меня Дональд громовым хохотом.— Твои русские, Анри, обязательно должны отмочить какую-нибудь гадость! Им дали шанс, и вот, пожалуйста! *They blew it!*** А если серьезно — конец наступает ихней демократии. Слышишь?

Он замолк, и я услышал отчетливый рев танковых моторов, движущихся от Филей к центру города.

— *Shit*,— сказал я.— Мои друзья все отправились к Белому дому. Я не думал, что это так серьезно.

— А нам выходить сегодня запретили. Ну и слава Богу. В заложники не возьмут, тут не Иран. А мне и тем более выходить не стоит, с моим-то примитивным русским и черномазой физиономией. Давай воспользуемся правом экстерриториальности и посмотрим новости. Тебе мартини, как обычно?

— Нет, лучше бурбона,— сказал я.— И бутерброд. У тебя еще что-то осталось?

— Ты же знаешь, я привез чуть ли не полконтейнера.

Дональд подал мой бурбон с тремя кусочками льда и присел рядом со мною на диван, орудуя пультом дистанционного управления. Мы были в безопасности (если не считать неизбежных микрофонов контрразведки). В выпуске новостей

* Среди оружия Музы молчат. (*лат.*)

** Они все погубили! (*англ.*)

CNN грохотали танки, мелькали знамена, в том числе алые, двигались во тьме толпы ожесточенных людей. Перед Белым домом горели костры, толпа интеллигентов протягивала к ним озябшие пальцы. Кое-кто произносил напыщенные речи. Вокруг защитников Белого дома, очевидно, сжималось танковое кольцо.

— Вот они! — воскликнул я.

У одного из костров с лирами в руках стояли все трое — Татаринцов, Ртищев и Белоглинский. Странно! Они уходили из дома в светском платье, а тут вдруг оказались облаченными в камуфляжные хитоны. У Ртищева на голове к тому же топорщился наскоро сплетенный веноч из колючей проволоки. Лица их сияли скорбным воодушевлением. В отдалении маячили конкуренты — Таисия Светлая и Ястреб Нагорный. (Впоследствии Белоглинский уверял, что у их троицы слушателей было раз в десять больше.) Пели они, к моему удивлению, вовсе не наскоро сочиненные патриотические песни, но хорошую классику — кажется, Ходинского, а может быть, и Розенблюма, но все-таки в переводе на русский.

— Я брал курс экзотерики в университете, — зевнул Дональд. — Эти ребята совсем неплохи.

— Один из них мой коллега, — сказал я, — да и других я хорошо знаю.

— Когда эта заварушка кончится и если их не пристрелят, познакомь, — попросил Дональд. — А пока давай-ка баиньки. Пускай эти русские разбираются сами. Еще бурбона?

61

Наступила осень. Нас было пятеро вокруг потемневшего дубового стола на даче у Безуглова. Недвижимость была еще дешева, и даже тех маленьких денег, которые зарабатывал Иван с помощью «Канадского золота», хватило на покупку этого одноэтажного домика без канализации и телефона, но с электричеством, к тому же всего в получасе езды от Москвы. Прежний хозяин, ошалевший от возможности безболезненно и быстро уехать в Израиль, отдал дом Ивану со всей обстановкой, с отсыревшими комплектами толстых журналов на полках, с щербатой посудой и плетеными стульями, даже с постельным бельем. Тот еле сдерживал радость. Слово «мое» как бы светилось у него во взоре. Нас было пятеро, но у ворот дачи (стоявшей на довольно большом участке, засаженном вельможными соснами и яблонями, хворавшими артритом) припарковались три автомобиля. «Волга» Безуглова, «мерседес» Зеленова, наш джип «чероки», на котором приехали мы с Верлиным. В каждой из машин осталось по шоферу. Минут через двадцать подъехала разбитая «Лада», из которой вышел доцент Пешкин, благоухающий лосьоном для бритвы. На шее у него, на простом шнурке, висело какое-то украшение. Присмотревшись, я увидел, что это недорогой малахитовый носорог, из тех, что продаются в любом африканском магазине.

Нас было пятеро вокруг стола, украшенного не набором бутылок, не чайным сервизом и не пытящим самоваром, но объемистым чемоданчиком искусственной кожи. Все, кроме меня, заметно нервничали.

— Надеюсь, что оружия ни у кого нет, — сказал доцент Пешкин как бы в шутку.

Никто не улыбнулся.

— Мы не уголовники, Михаил Юрьевич, — авторитетно заметил Зеленов. — Кстати, у меня-то как раз оружие есть. Время сами знаете какое. Но прежде всего, господин Верлин, вы уверены, что присутствие Анри здесь уместно? Может быть, ему лучше посидеть в машине?

— Пусть остается, — решительно сказал Пешкин. — Лишние свидетели нам не повредят. Точно, Паша?

Безуглов как бы нехотя открыл чемоданчик, и я увидел порядочное количество сто долларовых бумажек, непрофессионально упакованных в пачки оди-

накового размера. «Сколько же их тут может быть? — замороженно размышлял я. — Так, три пачки в глубину, четыре в ширину, шесть в длину... нет, семь... миллиона, пожалуй, не будет...»

— Девятьсот двадцать тысяч, — провозгласил Безуглов. — А не худо бы разыграть сейчас эдакую русскую рулетку, чтобы весь чемоданчик не дробить по мелочам, а отдать выигравшему, а?

— О нет, — сказал я. — Во-первых, жизнь дороже, если ты именно русскую рулетку имеешь в виду. Во-вторых, нынешние пистолеты не имеют барабанов. И в-третьих, я же в зарабатывании этих денег участия не принимал, точно? Я свидетель, не более того.

— Шутка, — отрезал Безуглов. — Итак, мы планировали получить несколько больше, господа, как вам известно. Возникает вопрос распределения не выручки, а убытков. Предлагаю несколько большую долю потерь отнести на счет банка «Народный кредит».

— В каком смысле? — осведомился Зеленов.

— Вы с нас взяли больше, чем планировалось, за охрану.

— Ты что думаешь, эти деньги мне в карман, что ли, пошли? Да я тебя урою, гнида!

Я замер. Господи Боже мой! Как хорошо начиналось наше предприятие! Оленьи шкуры, оконное стекло, мифическая красная ртуть, искусственное золото, наконец. Всю жизнь мечтал оказаться на уголовной разборке. Вот сейчас один из шоферюг подойдет к окошку и отстреляет нас всех из «Калашникова».

— Спокойно, господа, спокойно! — заволновался Верлин. По-моему, шефу тоже было сильно не по себе. Одно дело — мелкое жульничество с налогами и накладными, другое — дележка сомнительного миллиона. — Пусть господин Безуглов вначале отчитается. Давайте, Иван.

Безуглов достал из кармана бумажку, покрытую условными каракулями.

— Получено благовоний из Непала на номинальную сумму в четыреста, включая доставку. Реализовано полностью. Чистая выручка от розницы — миллион сорок тысяч. Обработка обошлась в сорок тысяч. Расфасовка в десять. Расходы на конвертацию — десять. Расходы на охрану и смазку — шестьдесят, хотя планировалось десять. Четыреста возвращается банку «Народный кредит».

— Пятьсот шестьдесят, юноша, — сказал Зеленов. — Восемьдесят процентов годовых.

— Дал бы договорить сначала! — огрызнулся Иван. — Не маленький. — Он отсчитал пятьдесят шесть пачек и пододвинул их к Зеленову. — Остается триста шестьдесят. Михаилу Юрьевичу сколько, господин Верлин?

— Двести, — сказал Пешкин. — И ни копейкой меньше.

— Но непредвиденные расходы, — заговорил Верлин огорченно, — ты же сам слышал. Сейчас все деньги разойдутся, а на что мы будем строить завод?

— Двести, — повторил Пешкин. — И поверьте мне, что это самая скромная сумма, которая мне нужна. Я на нее в Альпах даже такой халупы, как эта, купить не смогу, придется доживать век в какой-нибудь Коста-Рике.

— Ну хорошо. — Безуглов затравленно огляделся. — Останется сто шестьдесят. Сто пятьдесят Верлину. А мне всего десять, так? За всю кампанию по продаже, за весь риск, так?

— Ничего себе! — присвистнул Верлин. — Десять тысяч! Это же тебе в карман, Ваня! А мои полтораста целиком уйдут на зарплату специалистам, на аренду помещения, на перелеты. Я же вкладываю деньги в дело! В СП, от которого ты же сам будешь кормиться через пару лет! На «мерседесах» ездить, из-за границы не вылезать! А?

— Слушайте, — сказал Безуглов, — а может быть, скинемся понемножку и повторим всю операцию?

За окном уже совершенно стемнело. Раскачивался фонарь под жестяным колпаком, проплывали тени наших шоферов, которые кругами расхаживали во-

круг автомобилей. В кронах сосен стояла полная луна, всегда напоминавшая мне лицо больного синдромом Дауна. Я боялся. Мне казалось, что у ворот дачи вот-вот притормозит кавалькада милицейских машин, которая заберет всю честную компанию, включая и меня самого, и отвезет на Лубянку. Впрочем, успокаивало то, что представитель Лубянки уже сидел за нашим столом, и, вероятно, поделится доходами от операции со своими коллегами. Радовало меня, признаться, и то, что я сумел отговорить Верлина приглашать на эту встречу АТ. За него я боялся гораздо больше, чем за себя.

— О нет! — рассмеялся Пешкин. — С меня хватит. Вы никогда не пересекали границу СССР с фальшивым непальским паспортом и грузом ритуальных благовоний, причем с заочным приговором на двенадцать лет лагерей? Да и Паша вряд ли захочет.

— Вряд ли, — подтвердил господин Верлин. — Все мы знаем, что наша операция носила исключительно однократный характер, с целью достать денег на строительство завода. И в этом плане она принесла слишком мало. Нет, надо искать другие пути, господа.

62

Дележка затянулась далеко за полночь, и я проснулся на Савеловском только в одиннадцатом часу с тяжелой головой. Было время, когда подавленность охватывала меня в этой квартире мгновенно после пробуждения, потому что я знал: за стеною Алексей Борисович, по его собственному выражению: *глубоко познает душу другого человека единственным доступным нам способом*. Я уставился на дешевые тисненые обои (рисунок мучительно напоминал недорисованного двуглавого орла) и почти сразу все вспомнил.

Перед тем как садиться в свои «Жигули» без шофера, с пластиковым пакетом, который распирала полученные от Безуглова двадцать пачек, доцент Пешкин подождал меня.

— Мы с вами, наверное, не увидимся больше, — полуутвердительно сказал он по-французски. — Завтра я отбываю за границу.

— А попрощаться с АТ вы не хотите?

— Ни к чему, — усмехнулся доцент Пешкин. В дачной темноте, освещенной только автомобильными фарами, он казался гораздо старше своих пятидесяти с небольшим. — Я напишу ему, когда доберусь. Если доберусь, конечно.

— А что может случиться?

— Все под Богом ходим. Вы знаете, как я боюсь пересекать границу завтра. У вас хорошая память?

— Не жалуюсь.

— Тогда, если я месяцев через шесть не объявлюсь, передайте ему одну фразу, хорошо?

Он наклонился к моему уху и прошептал несколько слов. Я повторил фразу.

— Но что это значит?

— Он поймет, — сказал доцент Пешкин. — Можете еще добавить: отпускаются тебе, чадо, грехи твои. Но это необязательно. *Maintenant, adieu*. Было очень приятно познакомиться. Вы производите впечатление человека более порядочного, чем эта свора. И еще. Возьмите вот это. — В карман моего плаща легло нечто довольно увесистое. — Четыре пачки из полученных мною. Пожалуйста, передайте их Катерине. Лучше за границей, если она там будет. До свидания.

Побитые «Жигули» тронулись, качаясь на неровностях проселочной дороги, следом покатали Безуглов с Жуковым, за ними Зеленов со своим шофером. Наша машина не заводилась, и вскоре задние фонари наших коллег исчезли в ночи. Над проселком мерцали звезды. Я задремал, в полусне добрался до постели, а теперь, наутро, не мог сообразить: передать ли таинственные слова Пеш-

кина АТ или подождать. Я решил промолчать, чтобы избежать вопросов об обстоятельствах нашей встречи. В конце концов АТ как-то раз пытался убедить меня, что вся история с курительными палочками изобретательным Михаилом Юрьевичем была попросту придумана, чтобы меня шокировать.

На службе, по крайней мере для нас с АТ, был неприсутственный день. Завтра планировалось совещание Совета директоров СП «Аурум», на котором АТ должен был прочесть доклад об итогах своей работы за восемь месяцев. Так что — удивительное дело! — он уже сидел в спальне за компьютером, чертыхаясь.

— Наконец-то! Я пытался тебя растолкать еще в восемь. Поехали! И побыстрее. Я хочу застать этих жуликов еще до начала обеденного перерыва.

Собираюсь я быстро, машина ждала у подъезда, и минут через сорок (которые АТ посвятил привычным жалобам на провал проекта) мы уже подъезжали к пустырю, бесплатно предоставленному нам в Тушино, рядом с кинотеатром «Балтика», московской городской управой. На пустыре был выкопан довольно глубокий котлован. Два ярко-желтых экскаватора фирмы «Катерпиллер» застыли над ним, как пораженные громом динозавры. В их огромных ковшах толстым слоем лежали сухие листья, колеблемые осенним ветерком, такие же, как сейчас на моем балконе. На дне котлована, на груде бетонных панелей, сидел пришелец из другого мира, бедолага Пакетт, нанятый за гроши архитектор-неудачник. Он был небрит, а может быть, и нетрезв. «Туда, туда!» — прокричал он, показывая рукою на одну из бытовок, где, должно быть, и находились набренные полгода назад по конкурсу московские строители (на турецких и уж тем более на канадских Верлин расщедриться не сумел).

Нас с Алексеем встретили оглушительным реготом. Именно в этот момент прораб, видимо, оканчивал тост, и граненые стаканы десятка рабочих уже были готовы с праздничным звоном столкнуться над дощатым столом, где на газетке располагались соленые огурцы, вареная колбаса и черный хлеб, накромсанный толстыми ломтями.

— А вот штрафную! — заорал прораб.

— Мы не пьем, — почти с ненавистью сказал АТ. В первый раз в Москве я заметил в нем отсутствие умиления. — Почему вы не работаете?

— Шеф, ну какая работа! — Прораб выпил свой стакан, утер губы рукавом комбинезона. — Вон закуска какая роскошная, зря брезгуешь. Вот Анри иностранец, не знает, что, когда закуски нет, полагается пить под мануфактуру, как я сейчас. Вдыхаешь ее — и сивуха вся забивается.

— Работа, — напомнил АТ беспомощно.

— А ты фронт работ обеспечил? Экскаваторов у нас два, так? Первый уже три дня стоит, коленвал полетел. Выписали за валюту, заказали в Лондоне, обещали завтра доставить. А ко второму солярки нет. Ее во всей Москве нет, зальешь. Конец месяца, завод на ремонте, не подвезли. Вынужденный простой, так наряд закрывать и будем. Вообще пашем мы на ваш «Аурум», как бобики. Ни путевок в дом отдыха, ни записи в трудовой книжке. Стаж на пенсию не идет. Все нелегально, все не по-человечески. Повышай зарплату, шеф! Инфляция — сам видишь какая!

Сугубое занятие — бизнес. Взрослые, серьезные люди, неплохо даже друг к другу относящиеся, сидят в кружок за столом, облачившись в наряды, в сущности, не менее смехотворные, чем хитон и деревянные сандалии, и с горячностью обсуждают предметы наискучнейшие!

Можно сказать и так, а можно посмотреть на собравшихся и по-иному. Скучно-то оно скучно, но за всеми этими накладными, фобами и сифами скрывается азартная игра не хуже рулетки. В конце концов на карту поставлено благополучие собравшихся. Попивая минеральную воду, они вряд ли забывают о том, что как бы ходят по канату с весьма и весьма ненадежной страховочной

сеткой. Сегодня какой-нибудь Дональд Трамп мультимиллионер, а завтра зазевался — и утекли его денежки в чужие карманы. Вот почему на лицах у членов Совета директоров СП «Аурум» застыло чрезвычайно серьезное выражение, будто решали они судьбы мира. Господин Верлин всегда стремился устроить деятельность фирмы как положено и настоял не только на официальном совещании (галстуки, двубортные костюмы, протокол), но и на том, чтобы Алексей распечатал доклад и роздал по экземпляру остальным членам Совета директоров. На первой страничке документа стоял жирный гриф «Конфиденциально».

— Таким образом, проект можно считать погубленным, по крайней мере на настоящий момент. — Алексей захлопнул свою алую сафьяновую папку. — Я прошу об отставке.

— Выбирайте слова, господин Татаринov! — прорычал Верлин. — Если у вас слабые нервы, то не следует отражать это в официальных докладах.

— Господин Верлин, — Алексей отпил воды из тяжелого хрустального стакана, поперхнулся, закашлялся, — перед вами лежит документ. Я зачитал из него некоторые самые яркие места. Позвольте еще раз кратко подвести итоги. Я многократно обращал ваше внимание на хронический недостаток оборотных средств, на слишком низкие зарплаты, которые выплачиваются с опозданием, на убогие условия жизни канадских специалистов, размещенных почему-то в подвале у фирмы «Вечерний звон». За полгода мы потеряли трех инженеров, двух архитекторов и несчетное количество вспомогательного состава из русских. Не исключено, что кое-кто из них перебежит к конкурентам. Итак, даже разработка самого проекта еще не завершена. Строительные работы стоят. Теперь с поставками оборудования. Как вам известно, стоимость нашей линии составляет восемь миллионов долларов. Договор с поставщиками подписан семь месяцев назад. Имеющиеся чертежи готовились под эту гипотетическую линию. Переведена на русский язык половина спецификаций. Между тем две недели назад мы получили из Сеула известное вам последнее предупреждение. Копия приложена к моему докладу. Линия почти готова. Если первый взнос в размере двух миллионов не поступит на их счет через месяц, контракт будет расторгнут, а на «Канадское золото» подадут в арбитраж. Неустойка составит минимум четыре миллиона. Я положительно отказываюсь понимать, кто и как планировал этот проект. Во всяком случае, когда меня назначали ответственным, речь шла о том, что финансирование, пускай и ограниченное, будет поступать. К сожалению, тогда я еще не знал, что означает слово «ограниченное».

Безуглов с Зеленовым переглянулись и, кажется, подмигнули друг другу. Черт подери, подумал я, не слишком ли много в этой фирме происходит за спиной ее главного бухгалтера! По книгам нашим проходили суммы самые ничтожные: собственно, у меня даже не было полномочий подписывать чеки на сумму больше тысячи двухсот долларов. Впрочем, я с самого начала положил ни о чем не спрашивать. Уже не о четырехстах тысячах шла речь, но старый лис, несомненно, должен был вывернуться. И действительно, вместо того чтобы смутиться, он спокойно дал слово мне.

Я обрисовал положение. На Гознаке уже лежали оплаченные напечатанные акции на номинальную сумму около десяти миллионов долларов. Оставалось выпустить их в оборот и добиться приличной котировки. На это моего опыта и знаний уже не хватало.

— Ладно, мои юные друзья. — Господин Верлин извлек из внутреннего кармана пиджака толстенную сигару, а из бокового кармана — особые круглые ножнички, каковыми ловко и откусил конец сигары. Дым от нее, надо сказать, был премерзкий. — Я скоро раскаюсь, что взял вас в дело. Ладно Алексей Борисович — аэд, так сказать, мятущаяся, пугливая душа. Но вам-то как не стыдно впадать в такое уныние, Анри? Неизвестно зачем перепугали наших российских партнеров. Даже на меня тоски нагнали. Любочка! — возвысил он голос. — Любочка!

Наша секретарша почти мгновенно показалась в дверях. Ее руки оттягивал мельхиоровый поднос с ведрком для шампанского, блюдом с французскими сырами и вазой с апельсинами.

— «Вдова Клико»,— доверительно сообщил Верлин, бесшумно открывая бутылку.— Всего восемьдесят долларов, то есть примерно в сто раз дороже, чем советское пойло, и примерно в двести раз лучше. Прощу, господа.

— С утра? — осведомился Зеленев.

— А почему бы и нет? Мне не хочется, чтобы мы тут грустили. Дело продолжается и будет успешно завершено. Вот за это и выпьем.

— Поди ты! — с восторгом сказал Безуглов.— Вроде и не сладкое, но совершенно некислое. Точно, Володя?

— Вполне.— Зеленев отхлебнул порядочный глоток и поставил бокал на стол.— Почему на нем такая странная этикетка с ценой? Что это за деньги?

И тут Верлин потряс меня.

— Корейские воны, из беспопытного магазина в сеульском аэропорту,— сказал он, метнув на стол подписанный и снабженный печатью договор с поставщиками.— Вы не обратили внимание на то, что я на прошлой неделе четыре дня отсутствовал?

Корейцы сдавались. Они не только давали отсрочку платежа, но и выражали готовность обеспечить кредит на пять миллионов от своего экспортно-импортного банка, а также *принципиальную возможность* принять участие в уставном капитале предприятия. Вопрос с линией был решен. Алексей запылил стыдливый румянцем.

— Но это только линия,— вдруг сказал он.— Оборотных средств у нас все равно нет. Одним канадским специалистам задолжали тысяч восемьдесят.

— Неужели? — Верлин испытующе посмотрел на Зеленова, потом на Безуглова.— Неужели мы с вами не сможем положительно решить вопрос об увеличении уставного капитала, друзья мои, особенно в свете новой информации, как позавчерашней, так и сегодняшней?

«Где было взять ему, бродяге, вору?» — мелькнули у меня в голове строки Пушкина. А я-то думал, что начисто забыл все читанное в детстве.

64

— Теперь о настоящем деле.— Верлин собрался, всей тяжестью тела облокотился на стол, сощурился.— Все эти сотни тысяч не означают, что у нас есть деньги на оплату линии. Разумеется, наши могущественные партнеры в Канаде с готовностью профинансируют нас, но только если мы сумеем их убедить в том, что исчерпали все остальные возможности. Кроме того, деньги, добытые нами самостоятельно, означают и прибыль для нас самих. Главный наш козырь сейчас — это акции. Вот тут-то у меня и есть революционное предложение.

Господин Верлин был сегодня в ударе. Он просил нас забыть слово «котировки». Он умолял нас навсегда изгнать из памяти понятие «финансовые отчеты», которые полагается регулярно предъявлять кое-кому из недоверчивых. Россия — демократическая страна, вещал он, где, слава Богу, разрешено все, что не запрещено. Нам не понадобятся ни биржа, ни специалисты по фондовому рынку. Черт с ним, с заводом, он прекрасно подождет. Только что договорились сформировать оборотные средства? Ну и прекрасно. Начнем массовую рекламную кампанию. Откроем сеть собственных фондовых магазинов. Будем продавать акции по заранее объявленной цене, *гарантируя рост курса в долларах на шесть, скажем, процентов каждый месяц.*

— Это против всех законов экономики. Акции должны обращаться. Кто же их будет выкупать по повышенной стоимости?

— Мы сами и будем, дорогой Анри.

— А где же прибыль?

— Эх, Анри, экономике вас учили, а социальной психологии, видимо, нет. Кто же захочет резать курицу, несущую золотые яйца? Акции наши будут только покупать. Люди — простодушные животные, Анри.

Краем глаза я заметил, как заволновался сидевший рядом со мною АТ. Он тоже был парнем — при всем простодушии — неглупым, только мысли у него работали в ином направлении.

— Я категорически против, — сказал он. — Одно дело — строить предприятие. Другое дело — раскручивать финансовые схемы.

— Да кто их не раскручивает, аэд ты наш ненаглядный! — Зеленов похлопал Алексея по плечу. — Как говорится, нам нечего терять, кроме своих цепей! Где ты видишь слабину в нашей, — он так и сказал — *нашей*, — схеме?

— Все это очень и очень сомнительно, — не утихомиривался Алексей. — Если этот план осуществится, я уйду в отставку. Я человек честный, а главное, у меня есть имя, которое я не могу позволить себе трепать. Вышел мой первый роман. Готовится издание компакт-диска. Планируются еще концерты. Когда меня засветили в «Столичных новостях», почему я с этим смирился? Господин президент компании, — произнес он с некоторой издевкой, — сумел убедить меня, что в нашей деятельности мы не будем выходить за рамки законов — раз и простой человеческой порядочности — два.

В комнате установилась неприятная тишина. Только из смежного офиса доносилось воркование Любочки, уверявшей директора завода из Сибири, что всю имеющуюся у него мочевины на сумму шестьсот тысяч долларов мы готовы приобрести хоть сегодня с оплатой наличными. Директор кричал, объясняя, что получение лицензии займет минимум неделю, а кроме того, все двадцать вагонов с мочевиной загнаны в тупик на станции Иркутск-2, и он готов перегнать их в Москву или в Китай при получении аванса. Я боролся с соблазном выйти к Любочке и прогнать посетителя в три шеи. Эти истории в разных вариантах я слышал уже не один десяток раз.

— Сколько на свете жулья! — сказал Верлин меланхолически. — Совет директоров СП «Аурум» не может принять вашей отставки, господин Татарин. Мы можем предложить вам в связи с расширением круга обязанностей повышение заработной платы на пятьдесят процентов, с выплатой разницы в виде премий наличными деньгами.

Учитывая канадские налоговые законы, это означало повышение зарплаты почти вдвое. У меня в голове сразу бы, признаться, замаячили переезд в новую квартиру, поездка в Италию и покупка норковой шубы Жозефине.

— Нет, — сказал Алексей.

Я подумал о пособии по безработице, о сквозняке на обшарпанной террасе, о том, что, когда сломается компьютер, его будет не на что починить, о тех унижительных объяснениях, которые придется давать Даше на просьбы о новой электронной игрушке.

— Слушай, Татарин, — назвал его Безуглов старой школьной кличкой, — ну вот ты тут в Москве блещешь, выеживаешься как хочешь, девки там, водочка, песенки под лиру, цветочки, тусовка — класс. Ну уйдешь, хотя нам никому этого не хочется, — знаешь ты уже слишком много. А на какие деньги ты будешь приезжать, а? Так и будешь дальше на своем сыгтом Западе жить на гроши? Тебя Верлин из грязи вытащил, неблагодарная ты тварь! Ты с нормальными людьми занимаешься нормальным бизнесом!

Алексей молчал, перебирая страницы своего злополучного доклада. Документ был набран почти профессионально — с графиками, иллюстрациями, просканированными фотографиями тушинского котлована, по которому непrikaжно бродили человек десять пьяных рабочих.

— Гордые! — воскликнул Зеленов. — Имя у нас есть! Безупречная честность! Никому и никогда мы не лгали! Мы всю жизнь бескорыстно служили высокому искусству! Так?

— Не издевайся, — сказал АТ, настожившись.

— А ведь ты мне тогда солгал, Алешка! На Лубянке-то. Помнишь нашу беседу? Эссе антисоветское ты написал, помнишь? С тех пор пока ты жировал на своем Западе, мы тоже не сидели сложа руки.— Он достал из портфеля серо-коричневый скоросшиватель с печатью «Хранить вечно» и потряс им в воздухе.— Хочешь, чтоб я молчал, или объяснить присутствующим историю этой рукописи? Может быть, устроим тут текстологическую дискуссию об авторстве? Я ведь не ошибаюсь, она должна выйти в будущем месяце в «Экзотерическом вестнике» уже без таинственных штучек, то есть под твоим именем, так?.. Это оригинал. Желаете получить? Увольняться раздумал?

Алексей, кивнув, протянул руку за папкой.

65

Алексею и мне предстояла не просто пьянка, а деловая встреча, хотя и с весьма странными партнерами.

— Первым делом водочки, разумеется,— потирал руки Ртищев.— Замороженной. Тем более при такой закуске!

Стол ресторана «София», накрытый белой льняной скатертью с умеренным количеством желтоватых пятен, ломился от советских яств, чуть обветренных, чуть потерявших цвет и консистенцию, но для местных жителей в те годы оставался пределом мечтаний. Ртищев нерешительно посматривал на меня. Чтобы не мучить аэда, я раскрутил сложенную конусом салфетку и положил ее на колени. Он с облегчением последовал моему примеру.

— Ты смотри, Жора, язык! Да еще и копченый! А колбаса какая! Ей-богу, я всегда говорил, что в этой стране все есть, надо только знать места. Икра! Откуда что берется? Слушай, Алексей, а ты не разоришься?

— Фирма платит,— усмехнулся АТ,— да и в любом случае это копейки по сравнению с монреальскими ресторанами. Куда я, кстати, вовсе не ходок.

— А почему сюда не ринется пол-Москвы?

— Во-первых, бедность,— сказал я.— Во-вторых, если вспомнить мое экономическое образование, в Советском Союзе ходит не одна валюта, а несколько десятков. Рубль только выглядит рублем, но его покупательная способность различна в зависимости от географии и общественного положения обладателя. Сюда пускают далеко не всех.

— Как же нас пустили?

— А мы люди непростые. Мы — фирма «Канадское золото», столик забронирован по телефону. Так что, водки? Или все же начнем с более приличного? У вас с шампанским как? — спросил он подошедшего официанта.— «Советское полусладкое»? А какого завода — ростовского? Н-да.

— Есть новосветское,— сказал официант с вызовом, косясь на грязный свитер Ртищева и кургузый синий костюмчик бородатого Белоглинского, напоминавший школьную форму.— Брют. Вам недорого будет?

— На бедность не жалуемся,— ослабил Алексей.— Две бутылки для начала, ледяного.

Шампанское оказалось немногим хуже «Вдовы Клико», а уж компания и точно была более приятной. (Надо ли объяснять, что, посмеиваясь над двумя аэдами, я от души старался усмотреть в их юродстве ту высшую силу, которая двигала — как я точно знал! — их словами и поступками. Правда, это удавалось не всегда.) Несмотря на очередь у дверей, большинство столиков пустовало. В дальнем углу зала настраивал инструменты эстрадный квартет, и массивная крашенная блондинка средних лет, в длинном платье с люрексом постукивала пальцем по микрофону. Я вздохнул, предвидя обычную советскую пытку, связанную с посещением ресторанов,— музыку оглушительную, старомодную и фальшивую. Впрочем, последнее слово отчасти соответствовало и самой нашей встрече. После вчерашнего скандала я не узнавал Алексея. Он перестал смеяться и говорил, словно оправлялся от инсульта, короткими, невыразительными фразами.

— Вам не кажется, ребята, что мы снова становимся никому не нужны? — вдруг спросил Алексей.

— Кажется,— с готовностью ответил Белоглинский.— Особенно после звездного часа на баррикадах. Вдруг словно сломалось что-то. На наш прошлый концерт неделю назад пришли двенадцать человек, да и то все те же, что приходили на выступления еще при Брежнев, в частных квартирах. И роман твой, между прочим, не расходуется. А что делать? Хорошо Петру, он, кроме себя, никого не кормит.

Белоглинский растил сына, и платил алименты (уж не знаю с каких зарплаток) первой жене с пятнадцатилетней дочерью.

— Кормить — не главное,— возразил Ртищев.— Подумаешь! С голоду никто не умирает. Ты мне лучше объясни, почему раньше мы пели больше, чем пили, а теперь наоборот. И даже неугомонный наш АТ вместо эллонов сочинил препаршивейший, надо сказать, роман. Не обижайся, Алеша,— добавил он торопливо.— Я боюсь, что не им мы не нужны,— он обвел рукою постепенно наполнявшийся разношерстной публикой зал ресторана,— а самим себе. Наше время кончается.

— И что же,— с интересом спросил АТ,— так и будем ждать конца, как быки, ведомые на закляние?

— Сие от нас не зависит! — засмеялся Ртищев.— Творчество — от Бога. Я помню твою юношескую теорию о том, что молчание возникает из-за несоответствия между образом жизни и внутренним миром и для борьбы с ним нужно, пускай даже насильно и против собственной воли, менять судьбу. Но результаты получатся искусственные, вроде твоего романа. Не сердись, но аэд ты выдающийся, а писатель средний, я положительно не понимаю, зачем тебе размениваться.

— Ты все о творчестве,— недовольно сказал АТ,— но мы ведь не только аэды. Я в отличие от вас научился бороться за существование. Более того, я знаю, что в ближайшие годы это предстоит и вам. Больше не будет в России должности бойлерщика, водки по три шестьдесят две и сердобольных красоток. И путевок в дом творчества Союза экзотериков тоже не будет. Все станет, как в Америке, только хуже. Вот почему я убедил Верлина предложить вам помощь.

Он заказал третью бутылку шампанского и несколько оживился. Я знал, что Белоглинский уже кое-как пытается сражаться за существование. Ртищев же по-прежнему жил Бог весть на что. Все предложение заняло минуты три.

— Роскошно,— сказал Георгий.— Говорили мне о том, какое хлебное дело реклама, и раньше, но выходов как-то не было. Ей-богу, здорово!

— Дурак,— отчетливо произнес захмелевший Ртищев.— Коллаборационист. Столько лет выдержал при паскудном режиме, а как только запахло деньгами — сломался? Ты думаешь, что это племя младое, незнакомое — лучше прежних? И ты готов лизать им задницу?

— К Алексею ты с этим не пристаешь! — огрызнулся Белоглинский.

— Он отрезанный ломоть — раз. И ему можно больше простить — два. А ты...

Он грузно поднялся со стула, уронив салфетку с колен на пол, и, чуть пошатываясь, направился к выходу. «Еще вернется, клоун»,— буркнул Белоглинский.

Но даже к горячему Ртищев не вернулся, и подробности проекта мы обсуждали уже без него.

Я засыпал с трудом и не раз поднимался с постели, чтобы принять полстакана минеральной воды с коньяком — моего излюбленного снотворного. И снова мне приснился сон, но уже без участия Алексея и без намека на мистику. Стояла поздняя ночь. Я ехал в старых «Жигулях» по Ярославскому шоссе. На обо-

чине чернел, словно обгоревшая кость, силуэт заброшенной церкви, а слева меня то и дело обгоняют сияющие фарами автомобили. Мне снилось, как из «мерседеса», идущего за мною впритык, вдруг раздастся как бы резкий хлопок, и мой автомобиль начинает подпрыгивать на спущенной шине. Мне снилось, что я рефлекторно торможу и заруливаю на обочину. «Мерседес» останавливается за мною, и из него выходят двое с оружием, присутствие которого угадывается в темноте по полусогнутым, направленным на меня правым рукам. Смертный ужас охватывает меня, и я — о блаженство! — просыпаюсь в холодном поту и гляжу на стену, где уличные фонари выхватывают из тьмы огромный портрет Розенблюма, когда-то подаренный мне Алексеем.

Иногда этот сон приходит в цвете: черное небо, ртутная, нездоровая белизна придорожных фонарей, темная зелень роц ранней осени, где уже сквозит — вернее, угадывается в ночи — алое и желтое. Иногда сон обрывается на несколько секунд позже, и я успеваю, выходя из машины, ощутить запах болотной сырости от близлежащего пруда и легкий запах американских сигарет, доносящийся от моих убийц.

— Может быть, ничего этого не было?

Два года назад в этой самой комнате под насмешливым взглядом беззубого Розенблюма мне пришлось рассказать Кате почти все обстоятельства нашей встречи на безугловской даче. Садилось солнце за спущенными жалюзи, трепетали на ветру последние листья на высоченном клене под моим окном. Мы сумели оторваться от всей команды, которую лукавый Верлин без особого повода решил свозить на неделю в Монреаль, — если, конечно, не считать поводом съемку рекламных роликов, на которую Белоглинский пускал только непосредственных участников, да еще Алексея, приложившего руку к сочинению сценариев.

— Погодите, — сказала Катя волнуясь, — а он был уверен, что я эти деньги возьму?

Она стояла спиной к окну, с бокалом темного, почти черного вина, и волосы ее в свете закатного солнца казались совершенно рыжими.

— Почему бы и нет? — поразился я.

— Потому, Анри, что подарочек этот — с задней мыслью, причем весьма несложной. Михаил Юрьевич прекрасно знает, какие это по российским меркам сумасшедшие деньги. Да и вам известно, что я на них могла бы, если б захотела, протянуть весь остаток своей злополучной жизни, уже не нуждаясь в секретарской службе и главной — перестав зависеть от Ивана. Это Михаил Юрьевич меня искушить решил.

Сколько раз на Савеловском, пристроившись с ногами на пыльном хозяйском диване, она произносила взвешенные, рассудительные речи в защиту своего Безуглова (который, замечу, ничуть не сворачивал собственного небольшого предприятия, связанного с гостиницей «Космос», однако и я, и АТ благородно этой теме не касались).

— Он относительно богат, — брезгливо втолковывал ей АТ, — и, очевидно, будет еще богаче со временем. Он сменит круг знакомых. Его новые друзья в малиновых пиджаках не будут знать ничего ни об алхимии, ни об экзотерике. И Катерину Штерн, любимицу московских аэдов и звезду алхимической кафедры МГУ, потребуется — по причине потери товарного вида — заменить одной из новеньких, тех самых, у которых ноги начинают расти от горла. Пока ты ему нужна. Но не криви душою, любовь свою к нему ты себе внушила. И достоинства его выдумала.

Иногда Катя смертельно обижалась, срывалась на визг и пыталась уйти, не попадая в рукава ветхой цигейковой шубы, иногда же ехидно смеялась, усматривая в инвективах АТ обыкновенную зависть. Они жили с Иваном уже года четыре, не съезжаясь, однако встречались почти каждые выходные. По-моему, он не только не скрывал своих измен, но даже старался выставить их напоказ, как тогда в подвале. Я сам был свидетелем, как она своей узкой худой рукою отвешивала ему полновесные оплеухи. И все же оба полагали, кажется, что любят друг друга.

— Ах, Пешкин, Пешкин, ну почему же он такой трус, почему он меня увидеть не захотел?

— Он не трус, — неожиданно вырвалось у меня, — он на дележку денег приехал один, даже без шофера.

— Как! — вскинулась Катя. — И поехал в ночь, один, с такими огромными деньгами? Вы уверены, что с ним ничего не случилось? Вы проводили его до Москвы?

Я замолчал. Я вдруг вспомнил про дополнительный взнос в уставный капитал компании, неизвестно откуда раздобытый Безугловым. Стоило рассказать об этом Катерине, и с ней случилась бы истерика.

— Ваш Иван авантюрист, Катя, но все-таки не уголовник, — промямлил я наконец.

— Н-да, — протянула Катя, — на миллион долларов героя, по-вашему, не уголовщина?

— Тогда и Михаил Юрьевич уголовник, — резонно возразил я. — Да и я, вероятно, тоже. И Алексей Борисович. В России до сих пор сажают за недонесение об особо серьезных преступлениях?

— Если вы донесете, вас подручные Зеленова пристрелят. А Пешкин — просто пресытившийся жизнью безумец. Как я боюсь за него! Он не написал вам еще?

— У меня не работал факс. Все два месяца, пока меня не было. Сейчас он включен, можем спокойно ждать весточки. Не опасайтесь за него, Катя. А теперь возьмите деньги. Я их не хочу класть в банк на свое имя. Не ровен час налоговая инспекция придерется. Завтра с самого утра сходите в банк, откроем вам счет, а думать, взять деньги или нет, будете потом.

67

В те годы я почти забыл, что постоянные переезды из одной жизни в другую — это роскошь, доступная немногим. Вспомнить об этом мне пришлось, когда мы начали водить по городу наших московских партнеров. Все они очутились за границей впервые. И все, кроме Кати, первым делом пожелали отправиться на стриптиз.

— Слушай, Анри, а сколько они зарабатывают?

— Очень скромно, Танечка. Доллара четыре в час, а в некоторых барах и вовсе бесплатно.

— Это канадских долларов?

— Ага.

Таня наморщила лобик, производя какие-то мысленные расчеты.

— Все равно прилично, — вздохнула она. — А опекуны у них есть?

— Они просто танцуют, — пояснил я. — Никаких других услуг не предусмотрено. Кроме танцев перед клиентами. За них дополнительная оплата.

— Рассказывай! — взревел Зеленов, после пяти кружек пива порядочно захмелевший.

На небольшой табуретке перед ним извивалась всем телом весьма миловидная чернокожая девица, время от времени едва ли не прикасаясь к его лицу то пухлой попкой, то кудрявыми, хорошо развитыми гениталиями. Подгулявший банкир то и дело клал перед нею очередную десятидолларовую бумажку.

— Ладно, ступай, — сказал он наконец.

Девица отработанным жестом натянула черные кружевные трусики и запихнула в них заработанное. Не удержавшись, я подмигнул ей, и она, видимо, заметив у меня в правом ухе сережку, ответила тем же. Таня и Света проводили ее внимательным, заинтересованным, а возможно, даже и не лишенным зависти взглядом.

— Наш юный друг прав, — вальяжно заговорил Верлин, — у этих барышень несколько иная профессия.

Последовавшее обсуждение тонких различий между стриптизом и платным сексом я позволю себе опустить. Мне доводилось бывать в этих заведениях, когда мы только начинали дружить с АТ, и он, смущаясь, попросил приобщить его к этому таинственному и запретному миру. Недавно я набрел в Интернете на шуточную страничку, выражающую протест против кошачьей порнографии и проиллюстрированную нарочито нечеткими любительскими фотографиями обнаженных мурок. Стоит ли объяснять, что примерно такой же интерес вызывали у меня и эти девицы, неумело выделяющие свои якобы эротические па. Да и Алексею они успели надоесть еще много лет назад. Зато я с неослабным наслаждением наблюдал за нашими московскими гостями. Никогда бы не предположил, что у Белоглинского и Зеленова может быть на лице одинаковое выражение завороченного наслаждения, окрашенного, впрочем, некоторой горечью.

— Живут же люди! — выдохнул Белоглинский.

Я удивился, заметив, как он подливает в свое пиво «Смирновскую» из небольшой фляги. После ссоры со Ртищевым Жора взялся за ум и почти совершенно прекратил пить, ежедневно к вечеру являясь в офис для отчета перед Верлиным. Вообще в последние три недели обстановка в фирме резко изменилась. Я разъезжал по городу, подыскивая помещение и закупая обстановку для пресловутых фондовых магазинов. Алексей тоже принялся за свою работу с непонятым ожесточением, может быть, стремясь как бы отгородиться от планировавшейся финансовой схемы. Прежде всего он вытребовал у Верлина четверть оборотного капитала в свое распоряжение и уже не грозил мелодраматической отставкой, а попросту положил перед стариком несколько страниц бухгалтерских расчетов, из которых тот при всем скупердяйстве не смог урезать ни гроша. Веселому прорабу пригрозили увольнением. Оба экскаватора, снабженные надлежащим количеством солярки, в считанные дни дорыли котлован до конца. Началось бетонирование фундамента, необходимое, как меланхолически пояснил мне Верлин, для консервации стройки. Впрочем, часть времени АТ проводил с Жорой за сочинением сценариев.

— Вот именно! — рявкнул Зеленев. — Ты мне скажи, Белоглинский, на что потрачено полжизни? Уже и молодость, можно сказать, миновала. Ладно, ты сочинял свои песенки. А я, дурак, за полкило сервелата в праздничном заказе тебя, понимаешь ли, окорачивал. Но ведь меня тоже обманывали. Причем больше, чем тебя.

— Каждый сам выбирает свою судьбу, — корректно отвечал Белоглинский. — У вас была власть в конце концов.

— Да на хрена она была нужна, такая власть! Да я, может, с большим бы удовольствием тут клерком в банке работал! Ты ихние магазины видел? Ты мне скажи, — повторил он с пьяной настойчивостью, — на что угроблена жизнь?

— Хоть остальную половину можете прожить как люди, — засмеялся Верлин.

— Ну а первую кто нам вернет? У, коммуняки поганые! — заорал Зеленев. — Так вот почему мы у них были невыездные! Теперь вы понимаете, Анри, что мы принесены в жертву этими вонючими масонами?

Кажется, он уже мысленно поставил знак равенства между собою и сидевшими за столом аздами.

— Ну уж и масонами, — несколько напряженно усмехнулся АТ.

— А что, — сказал Иван задумчиво, — слабо тебе, Зеленев, одну из барышень приобрести?

— Нагонять! Добирать! — закричал Зеленев, вставая из-за стола и направляясь к давешней чернокожей девице, как раз сходящей со сцены с трусиками в руках.

Заведение было почти пусто. Двое вышибал в кожаных жилетках уже следили за Зеленовым внимательно-ленивыми взглядами. Он приблизился к девице и, тряся нетолстой пачкой долларов, хозяйски ухватил ее за обнаженную

грудь. Девица вскрикнула и отвела руку для удара, который, однако, не потребовался: один из подскочивших вышибал мгновенно закрутил бедняге руку за спину. Взвыв, Зеленев опустился на колени и с опаской посмотрел на лица обидчиков, но не увидел на них ни злости, ни даже раздражения. Они подняли его с пола и отвели к дверям заведения.

— Эх,— вздохнул Верлин, расплачиваясь по счету,— я же его предупредил!

68

Мир симметричен; я пью свой коньяк, склоняюсь над компьютером, и мучаюсь совестью, потому что минут пять назад вежливо выставил за дверь двух юнцов, пахнущих недорогим лосьоном, которые предлагали мне не только спасение души (не слишком меня волнующее), но и сердечное успокоение еще на этом свете (что мне бы вовсе не помешало). Ах, как загорелись их чисто промытые глазки при виде моей обросшей, страшноватой от запоя физиономии!

— Нет-нет,— скривился я,— мне вполне достаточно своей церкви. Впрочем, хотите кофе? Чаю? Коньяку?

Они жизнерадостно замотали манекеноподобными головами. Или я вру? Нынешние манекены все больше выкрашены в мертвый серебристый цвет и лишены черт лица. А ребятишки смахивали на манекенов моей юности.

— Мы пьем только воду,— радостно сказал один.

— И молоко,— закивал второй.

Они оставили мне экземпляр глянцевой брошюрки под названием «В чем смысл жизни?». Ну спасибо, дети мои, без вас бы не догадался. «Для полной реализации в этом страшном мире,— прочел я,— человеку следует понимать всю тщету мирских соблазнов и поручить свою судьбу Господу нашему Иисусу Христу, олицетворенному в Церкви святых нашего времени». Ну да, отгородиться от всего на свете, вручить свою судьбу жуликоватому многоженцу-проповеднику. Иисус с нами разговаривать не станет, как ни проси. Мы вроде беспризорных, которые уверены, что где-то живут их настоящие родители, но в лучшем случае могут рассчитывать на место в приюте или в приемной семье. Я тоже хотел прожить жизнь светло и достойно, просил о самой малости — о любви. Если б не АТ, по чести-то говоря, я быстро унес бы ноги из фирмы «Канадское золото» со всей ее мочевиной и сушеными грибами. Но я знал, что без меня он пропадет, и пытался оберегать его, как умел. Впрочем, после того вечера на даче появилась еще одна причина. Я понял, что знаю гораздо меньше, чем Верлин, Зеленев и Безуглов, но все же слишком много для того, чтобы сказать «ады» этой честной компании. Дальше — больше. Кто мог предполагать, что так славно начавшаяся увеселительная поездка в мой родной город закончится на такой отвратительной ноте!

Безуглов прошел через детектор металла, и тот истошно заверещал. Он выгрузил из карманов зажигалку, горстку мелочи, золотую столдолларовую монету в прозрачной плексигласовой коробочке, пачку сигарет. Детектор заверещал снова. Безуглов раздраженно снял пиджак и бросил его на ленту рентгеновского аппарата.

— Что это такое? — вдруг спросила его Катерина неузнаваемо сиплым голосом.

Я стоял поодаль и не видел небольшого предмета, который, видимо, вывалился у Безуглова из внутреннего кармана пиджака.

— Что. Это. Такое,— повторила Катя и вдруг с размаху ударила бедного Безуглова кулаком прямо в лицо. Нет, это была не женская пощечина, а самый настоящий удар, от которого Иван, правда, не упал, но зашатался. На щеке у него мгновенно набух кровавый синяк.

— Ты что, спятила? Да я тебя убью к чертовой матери! Раздавлю!

Служители аэропорта мгновенно схватили Катерину. «Мадам, мадам»,— верещали они в испуге. Встал массивный служащий и за спиной у Безуглова.

— Полиция! — закричала Катя.— Полиция! Алексей! Ты понимаешь, что случилось? Они нашего Пешкина убили! Или ты тоже с ними заодно?

Присмотревшись, я увидел зажатую у нее в руке малахитовую фигурку носорога, из тех, что можно купить в любом африканском магазине Монреала. Кажется, Алексею она тоже была знакома.

— Этот, с синяком,— не веря своим ушам, переводил я,—он убийца. Арестуйте его немедленно!

— Вы можете доказать это, мадам?

— Да! Да! — кричала Катя, суя полицейскому под нос малахитового носорога.— Арестуйте его!

— Преступление совершено в Канаде?

— Да! То есть нет. В Москве. У меня есть доказательства!

— Предъявите их *российской* полиции, мадам. Юридически вы уже находитесь за пределами страны.

Катерина побледнела как смерть.

— И вы думаете, что я полечу в одном самолете с этим? Он и меня убьет, как только мы вернемся! Вот, все слышали, как он мне угрожал?

К полицейскому осанистой походкой подошел господин Верлин и быстро зашептал в его ухо, похоже на розовую устричную раковину.

—...у них сложные отношения... истеричная женщина... я канадский гражданин, это мои московские компаньоны...

Объявили посадку, а наша маленькая группа все стояла у рентгеновского аппарата, прямо под фанерной моделью самолета, выполненной по чертежам Леонардо. Всем хорош был перепончатокрылый аппарат, и Леонардо, конечно, был гений, одна беда — не летал...

— Иван,— сказал АТ,— что это все значит?

— А то,— огрызнулся Безуглов,— что эта дура окончательно сошла с ума. Я купил этого зверя вчера на улице Сен-Лоран, в сенегальской лавочке, за тридцать пять долларов. Вот, между прочим, чек. Девочки! Света! Таня! Покупал я эту безделушку или нет? Зеленов! А ты, сука, проси прощения!

69

При таких вот маловероятных обстоятельствах Канада приобрела еще одну постоянную жительницу. Катерина наотрез отказалась лететь нашим рейсом и, поскольку виза у нее в тот же день истекала, сгоряча попросила убежища. Задержался на сутки и я, добросовестно переведа ее заявление. Потрясение потрясением, но Катерина тут же ловко сочинила легенду, по которой на родине ей грозило чисто политическое преследование. Фигурировали в ней какие-то школьные друзья-коммунисты, которые грозились не простить Кате участия в обороне Белого дома, участвовал Зеленов, который, будучи штатным сотрудником ГБ, недавно узнал о демократических убеждениях Кати и пригрозил ей отомстить. Я бы не удивился этому обычному вранью, рассчитанному на недалеких иммиграционных чиновников, если бы автором его не была та самая Катерина, которая вчера еще, склонясь в греческом ресторане над бараньей котлеткой, уверяла АТ, что жизнь в глубокой провинции, пускай и на легких хлебах, не по ней и что будущее, безусловно, за Россией.

До города нас подбросила Жозефина. Неведомо как догадавшись о неладном, она дожидалась нас у дверей зала отлета, а потом — у иммиграционного офиса. Я сел на переднее сиденье и инстинктивно стал искать привязные ремни. Полагаю, что о роли новоявленной политической эмигрантки в жизни собственного мужа Жозефина тогда еще не знала. Зареванная Катерина сбилась в комочек сзади, помалкивая. Впрочем, английский у нее был прескверный, а о французском и говорить не приходилось.

— Какая грязь, какая мерзость! — Жозефина, выслушав всю историю, передернула плечами.— С кем связался мой бедный муж ради денег! Как ты, Анри, можешь с ними иметь дело? Верлин — жулик мелкий и сравнительно безо-

бидный, во всяком случае по призванию. Но этот Зеленев, с его бычьей шеей и привычкой жевать окурки! Этот скользкий Иван! И кто эти мифические покровители, о которых Верлин говорил за ужином?

— Боюсь, что их не существует,— чистосердечно сказал я.— Так называемый блеф.

— Катя,— Жозефина сочувственно обернулась,— я говорю о том, какие они все мерзавцы, но не думаю, что ваш Иван способен на убийство. Вы с ним сколько уже? Четыре года?

— Я теперь никому не верю,— всхлипнула Катя.— Никому. Я боюсь лететь домой, а там родители с ума сойдут. От вас можно будет позвонить, Анри? Спасибо.

— Вы уверены,— гнула свое Жозефина,— что правильно поступили?

— Конечно, нет! — выкрикнула Катя.

Через час в мою дверь уже стучался посыльный с пищей. В доме обнаружилась недопитая бутылка коньяку. Катя плакала. Я принялся взывать к ее здравому смыслу и, кажется, переусердствовал, вполне поверив в собственные адвокатские аргументы. Безуглов в конце концов никому не давал отчета о своих финансах, и те сто с лишним тысяч вполне могли оказаться у него свободными. Да, доцент Пешкин с тех пор исчез, но разве не исчезал он до этого на долгие годы? Что же до носорога, то это было и вовсе смехотворно. Сенегальские ремесленники наводнили этими грошовыми поделками весь цивилизованный мир.

Выслушав мои речи, Катерина сначала успокоилась, потом покраснела, потом опять зарыдала.

— Мне уже почти сорок,— всхлипывала она,— как можно быть такой дурой! Он же мне не простит теперь!

— Простит,— твердо сказал я,— только я не уверен, что вам это нужно, Катя. Вот ваша сберегательная книжка, которую вы мне оставили на хранение. Этого хватит на три года скромной жизни. Поступите в университет, подтвердите свою ученую степень, найдите работу. Замуж выйдете за порядочного человека. Не понравится — вернетесь, тем более что Безуглов со всеми его комплексами вам все равно не пара. К тому же Алексей Борисович...

— Ну да. Он наверняка полагает, что я осталась ради того, чтобы быть к нему поближе. Я порядочная женщина, Анри, и никогда не стану отбивать его у этой безумной. Да и зачем? Любовь должна быть взаимной, иначе она ненастоящая.

Я постелил на пол спальный мешок, устроив Катю на своей постели. Через несколько минут она дышала уже глубоко и спокойно, а я не мог заснуть из-за полной луны, свет которой бил мне прямо в глаза.

«Какая чушь! — думал я в полусне.— Конечно, Катя — просто взбалмошная женщина. Никого он не убивал, Иван, никого не грабил.

А если нет? Если права взбалмошная женщина и доцент Пешкин с проломленной головой лежит сейчас под слоем палых листьев в подмосковной роще?

Тогда ей в Москве не поздоровилось бы. Способный на одно убийство пойдет ради спасения своей шкуры и на второе. Особенно если убил не вполне ради денег. Боюсь, что у бедного Ивана накопилось немало ненависти к этому человеку, фотографию которого Катерина до сих пор держала на письменном столе. А если так, — у меня вдруг похолодело под ложечкой, словно в самолете, ныряющем в воздушную яму, — есть один свидетель, который может донести на Безуглова. И этот несчастный — не кто иной, как я, Анри Чередниченко».

Мы встретились с Безугловым в шашлычной, за алой скатертью, уставленной остро пахнущими кавказскими закусками. Подали кислотоватое красное и сладковатое белое. От водки я отказался. Иван ел с отменным аппетитом. Рядом

со своей тарелкой он положил небольшой газовый пистолет, очень похожий на настоящий.

— Все-таки пережарен да и жирноват,— вздохнул он, отставляя в сторону свой шашлык,— да и «Мукузани», судя по всему, поддельное... Так о чем мы? Ты у меня объяснений просил? Будут тебе объяснения, только с предисловием.

— Какие предисловия?

— Твой секрет уже всем известен, Гена,— вздохнул Безуглов.— И что я могу тебе по этому поводу сказать? Знаменитой статьи УК еще никто не отменял, и ты в определенном смысле ходишь в этой стране по лезвию ножа.

— Зачем ты об этом? — чуть не поперхнулся я.

— К слову, к слову. А ты, Гена,— он вдруг не без нарочитости захохотал,— решил, что я тебя шантажирую? Ну, уморил! Мы же старые друзья. Ты кушай шашлык, кушай. Он не такой скверный. Я в страшном сне не подумал бы на тебя доносить. Тем более на Дональда.

— Какого Дональда?

— Ну, негритоса твоего. Или он мулат? Я, честно говоря, не разбираюсь. У них в посольстве тоже, наверное, не поощряются подобного рода дела? Ну-ну, успокойся. Дрожишь весь. На самом деле я почему завел разговор на эту тему? Потому что я тебе отчасти завидую. Никогда не знаешь, чего ожидать от баб! Ведь Катька зачем все это придумала? Во-первых, отомстить мне сам знаешь за что. Жить я с ней жил, а жениться, как ты сам знаешь, не торопился. Ну и всякие там мои подружки, сам понимаешь. Мужика в моем возрасте, естественно, тянет на девочек помоложе. Во-вторых, в этого Пешкина она всегда была влюблена по старой памяти. Глаза мне колола. Он, говорит, был гений, а ты молодой хищный буржуа. Сука. В-третьих, не достался ей Пешкин? Не достался. Он был, в смысле, и сейчас, наверное, такой же, бабник похлеще меня. Трахнул девочку, закружил ей голову и смылся с концами. Теперь смотри, друг сердечный. Татариннов за ней увивается всю жизнь. Письмишки там, эллоны, цветочки, сам знаешь. Это все херня, но имей в виду: через несколько месяцев наш аэд, вероятнее всего, станет человеком состоятельным. Вот тебе и соблазн для нашей барышни. С Жозефиной у него не вполне ладно, так что достаточно Кате поманить его пальцем, и он будет у ее ног. Впрочем, Гена, не хочу даже ее имени слышать. Опозорила меня, гнида, перед всеми. Вся обратную дорогу пришлось доказывать, что я не верблюд. На Библии клясться. А ведь так не полагается. Есть презумпция невиновности наконец! Ты, между прочим, последний, кому я даю эти объяснения.

— Мы могли бы навести справки у пограничников,— сказал я.— У них есть сведения обо всех, кто покидает страну.

— Значит, все-таки ты мне не веришь. Шеф верит, Алексей верит, девочки мои не сомневаются, и только ты один оказался в компании с этой грошовой б...

— Верю,— сказал я без большой убежденности.

— А ты знаешь, по каким документам он уезжал? И я не знаю. И еще. Подымать шум, Гена, не в наших интересах. Работал Пешкин чисто, я тоже. Но какие-то следы могли остаться. Врагов у компании предостаточно. И если начнут, не дай Бог, копать, то даже зеленевские связи нам не помогут. Нет, Гена, нам надо сидеть и не рыпаться. А твой Пешкин сейчас, вероятно, попивает ром на Багамах или куда он там собирался.

Доводы эти, грешен, показались мне убедительными. Будь Безуглов уголовником, рассуждал я, он непременно пригрозил бы мне. Или просто пришел бы в темной подворотне, возможно даже, и чужими руками — слово «киллер» к тому времени уже прочно вошло в русский язык. И я постарался изгнать из своих мыслей обаятельного Михаила Юрьевича. Если он жив, то объявится, решил я. Если, не дай Бог, погиб, то ему уже ничем не поможешь.

Что до Катерины, главного обвинителя, то месяца через два в Монреале она напрочь отказалась возвращаться к этой опасной теме. Стыдилась ли она того, что *опозорила* своего Безуглова (которого, вероятно, тоже по-своему лю-

била)? Или поняла, что ворошить эту историю не следует? Или новая жизнь оказалась слишком большим испытанием, которое заставило ее как бы поставить крест на прошлом? В последнем я сомневаюсь — необходимые бумаги она получила на удивление быстро, сняла и обставила квартиру в одной из многоэтажных бетонных громад в центре города, подала заявление в аспирантуру. Увидав на століке в ее прихожей конверт с чеком социального пособия, я усмехнулся про себя неискоренимой страсти русских обманывать правительство.

Все, кажется, забыли доцента Пешкина; Алексей (так и не узнавший, правда, обстоятельств нашей последней встречи с Михаилом Юрьевичем) был уверен, что тот благоденствует в своем Белизе или куда еще могла занести его судьба. Но обещанного факса от него нет до сих пор.

71

Прошло месяцев восемь. Утром переименованного, но не отмененного Первого мая я валялся в постели, предвкушая двухдневный отдых. В углу, прямо на ковре, бессовестно храпел Ртищев, отошедший ко сну только под утро, когда вся водка уже кончилась. Его участившиеся вечерние встречи с АТ, в которых я с известных пор прекратил участвовать, становились все угрюмее. Скажу больше: если поначалу с кухни иногда доносились пискливые звуки лиры — друзья либо хвастались сочиненным, либо ругались по поводу непонятных мне технических подробностей, — то со временем они сменились тусклым позвякиванием полных стаканов да громогласными политическими инвективами.

Иные, размышлял я, рождены для того, чтобы противостоять обществу, каким бы оно ни было, и сделать этих людей счастливыми положительно невозможно!

Я включил телевизор, где душещипательный мексиканский сериал перемежался дурно переведенными на русский рекламами жевательной резинки и гигиенических прокладок. Посередине ридания чернокудрой героини вдруг заиграл марш «Прощание славянки», и по экрану поплыли виды улицы Сен-Дени. В углу мерцал логотип фирмы «Аурум» — слиток золота с угадывающимся клеймом швейцарского банка. У витрины мехового магазина задумчиво маялась Марина Горенко, переодетая под российскую фабричную работницу, то есть в мешковатом пальто с кроличьим воротником и (секрет фирмы) примерно тремя килограммами ваты, подложенной на бедра и поясницу. Благодаря умелому гримеру она выглядела не на тридцать, как обычно, а на добрые сорок пять. В кадре появился Безуглов с логотипом фирмы на лацкане малинового пиджака. Он залихватски обнял фабричную работницу и увлек ее сквозь двери магазина. Через секунду они уже обнимались на смотровой площадке горы Монт-Ройяль, над панорамой города. Вату демонтировали, грим заменили новым, прическу полностью переделали. Шуба (взятая в магазине за сотню напрокат — уж это я помню) была даже не норковая, а соболиная, от Альфреда Сунга. В отдалении, скрестив на груди руки, стоял господин Верлин, с отеческой улыбкой созерцающая облагодетельствованных россиян.

— Фирма «Аурум», — вкрадчиво сказал Белоглинский. — Гарантированная прибыль, устойчивые котировки, вложение в производство. Канадское золото!

— Shit! — услышал я вдруг из ванной комнаты. — Shit! Сколько миллионов уже сделал этот поганец Верлин и до сих пор не может переселить нас в нормальную квартиру!

— Что-то вы становитесь буржуазны, Алексей Борисович, — сказал я вежливо. — Неужели для вас какая-то горячая вода важнее, чем возможность жить на родине и верно служить ей своим высоким искусством?

— Go to fuckin' hell!* — закричал АТ, который в последние месяцы приобрел странную привычку ругаться по-английски, причем — вот лингвистическая

* Иди к чертям! (англ.)

загадка! — почти без акцента. — Перестаньте меня дразнить! Что, и телефон опять не работает? А еда в доме есть по крайней мере?

— После либерализации цен в Москве есть все, — сказал я.

— Это в Москве, но не в этой квартире. И кофе кончился? Впрочем, не сердитесь, Анри. У меня просто похмелье. Кроме того, первого мая я всегда в депрессии.

Он все-таки разыскал остатки растворимого кофе и присел с дымящейся чашкой на диван.

— Знаете тоску по утерянному раю? Для многих это связано с детством. Я не стану приукрашивать — дети, по большому счету, бывают столь же злыми и корыстными, — сколь и взрослые. Только предметы их зависти или корысти кажутся нам, после стольких прожитых лет, жалкими и невинными.

— Не вполне так, — сказал я.

— Бог знает. В любом случае я не исключение. Мне было лет восемь, Анри. Мы жили в известном вам подвале. Первого мая отец с матерью оставались в постели едва ли не до полудня. Между тем еще с самого раннего утра с Кропоткинской начинали доноситься слабые звуки полувоенной музыки. У советских песен есть одно неоспоримое достоинство — они умеют будоражить незрелые души. С первых же звуков ты вдруг ощущаешь небывалую радость, как будто навсегда получил прощение от отца небесного. В тебе просыпается неодолимое желание встать в строй, возможно даже и с винтовкой, и, притопывая, маршировать куда-то рядом со смелыми, сильными молодыми людьми и грудастыми девицами со значками ГТО на тренировочных костюмах, под огромным, чуть шатающимся от ветра портретом вождя, который к тому же глядит на тебя со всех фасадов.

— Вы знаете, что я страдаю амнезией, Алексей Борисович. Все, что относится к моей жизни в России, кроме языка, у меня словно резинкой стерто из памяти. Право, мне трудно поверить, что вас может волновать вот это...

На экране показывали демонстрацию коммунистов, на первый взгляд почти такую же, как при старом режиме.

— О нет, этот муляж меня не волнует. Посмотрите на эти затравленные стариковские лица — на них ни следа того счастья и покорности, о которых я вам рассказываю. Представьте себе постаревших Адама и Еву, пикетирующих райские врата. Возвращение в рай невозможно. Никакая советская музыка, звучащая сегодня, уже не заставит меня, украдкой выскользнув из дома, добежать до перекрестка с Кропоткинской, по которой неостановимой волною ступают мои старшие сограждане, преобразенные причастностью к великому. Знаете самый счастливый час в моей жизни? Демонстранты однажды взяли меня с собою на Красную площадь. На трибуне Мавзолея стоял Брежнев, нет, скорее Хрущев в своей хрестоматийной шляпе. И мне казалось, что он машет шляпою мне, Алексею Татаринову, и хотелось ну просто жизнь положить за свою прекрасную отчизну! Где это все?

— В гнезде! — рявкнул проснувшийся Ртищев. — На верхней полке! Где несутся волки! Подавай пива, миллионер вонючий! Я знаю, ты непременно с вечера запаса!

К середине весны работы в фирме отнюдь не убавилось, но она как бы вошла в колею, и даже разношерстные канадские специалисты, переселенные наконец из безугловского подвала в четыре специально купленные квартиры в Крылатском, по комнате на каждого плюс гостиная с телевизором, перестали жаловаться на жизнь, напиваться до полусмерти поддельным коньяком и выяснять сравнительные достоинства хоккейных команд путем кулачного боя. Строительство завода, к моему удивлению, возобновилось. Турецкие рабочие уже штукатурили стены, прокладывали коммуникации и распаковывали на строй-

площадке первые коробки с оборудованием. Пан Верлин и его компаньоны начали ходить на приемы в посольства и давать интервью в печати. У дверей наших трех фондовых магазинов стояли многочасовые очереди, охраняемые конной милицией. Мы проводили в Москве уже больше времени, чем дома, но Алексей, к моему изумлению, приезжал на родину все с меньшей охотой. Что это было — усталость? Брезгливость? Крушение надежд? Не испытывая недостатка в приключениях любовных, Алексей жаловался мне, что их героинь привлекают к нему не эллоны, а нечто куда более прозаическое. Охладел он, по-моему, даже к Катерине, однажды обмолвившись, что она «перегорела» — что меня, надо сказать, возмутило, потому что под словечком этим чувствовалась всегда бесившая меня в АТ ультраромантическая подкладка.

— Да и вся эта страна если не перегорела, то это произойдет в самом ближайшем будущем, — добавил он.

Между тем засинело небо, растаял последний черный снег, до теплых дней сохранившийся в дальнем углу нашего двора, обнажив старые газеты, собачьи фекалии и полуистлевший кусок картона с торопливой крупной надписью «Коммунизм не пройдет». Банк «Народный кредит» приобрел здание разорявшегося без государственных дотаций Малого гимназия и уже заканчивал отделочные работы. Зелено публично объявил, что щедростью банка в Сосновом зале будут продолжаться концерты и что на освящении нового здания там выступят все звезды отечественной экзотерики.

Первый роман АТ, вышедший сразу после путча, вызвал весьма вялый интерес и едва окупил расходы. «Плохо берут», — вздыхали продавщицы, когда АТ осведомлялся об успехе своего творения, которое даже я, при всем сочувствии к автору, едва дочитал до конца.

Этот провал сначала порядком подкосил моего бедного друга, всегда мечтавшего жить творческим трудом, тем более что разбитной издатель уверял его, что книга произведет фурор среди читателей и критиков. Возможно, он просто опоздал и публикация совпала во времени с неумовимым поворотом, когда словно волшебной палочкой махнул Господь Бог и скромные томики литературы разоблачительной, классической, модернистской — словом, любой — в одночасье сменились на книжных развалах попугайскими обложками американских детективов и любовных романов.

Между тем начиная с декабря АТ, вернувшись с работы (по большей части он проводил свои дни на стройплощадке или в конструкторском бюро) и переодевшись в подбитый ватой таджикский халат, привезенный из случайной командировки, все чаще склонялся в дальней комнате над своим «Макинтошем». Вместо писка экзотерической программы оттуда доносились лишь приглушенные удары клавиш да распространялся жирный запах горящего парафина от двух незатейливых свечек, вставленных вначале в пробки от советского шампанского, а потом — в случайные алюминиевые подсвечники, отделанные под бронзу. В первые недели он нередко хохотал за работой, а потом, прошлепав в разношенных фетровых тапочках на кухню, неторопливо заваривал чай и порою просил меня разъяснить ему значение того или иного финансового термина. Потом смех прекратился. Написанное не распечатывалось, во всяком случае, при мне. На диске сохранились, как я уже говорил, только две повести — упоминавшийся «Иван Безуглов» да «Портрет художника в юности», сочинение с беззастенчиво сворованным названием. О причинах воровства теперь спросить уже некого.

Пристроить две повести в печать Алексей не успел, но я это сделал за него. Небольшим тиражом, под тем же среднеазиатским псевдонимом, что и «Плато», — за собственные, сравнительно немаленькие деньги плюс помощь Катерины, то есть косвенно — доцента Пешкина. Любочка сообщает мне из Москвы, что они прошли незамеченными, как и большинство появляющихся в печати романов. Ну что ж, видимо, русским не до искусства, и я не берусь их осуждать.

Нелегко теперь воскресить чувства, одолевавшие меня в звездный час нашей компании, когда статья о ней появилась в весьма популярном еженедельнике с едва ли не четырехмиллионным тиражом. Сохранившийся у меня номер журнала потрепан, зачитан и похож скорее на историческую реликвию, чем на живое свидетельство сравнительно недавнего прошлого. Журналист (благоприятно скрывшийся под псевдонимом) получил порядочную сумму за то, чтобы воспеть наш триумvirат, обходя скользкие темы, и, надо сказать, справился с этой задачей блестяще.

Впрочем, главное чувство я помню — мне было весело и жутко. Со слишком уж невероятной скоростью группа в общем-то частных лиц, включая вашего покорного, ухитрилась взлететь едва ли не на вершину могущества и славы, ту самую высоту, с которой больнее падать. Всегда полагал, что подобные истории происходят только в романах, а если уж случаются в жизни, то с кем-то совсем посторонним. Как-то раз, еще до начала своих вечерних беллетристических занятий, АТ за чаем на кухне вдруг сказал мне, как хорошо бы написать повесть, которая представляла бы собою некий коллективный сон ее героев. Видимо, тогда и возникла у него идея «Ивана Безуглова». Но все последние месяцы существования компании «Канадское золото» меня и так не оставляло сумасшедшее ощущение, что я живу во сне.

«Аурум» — пирамида или прообраз будущей России?» — вопрошала надпись на обложке, как бы вмонтированная в настоящую золотую пирамиду на фоне змеящейся очереди в наш фондовый магазин на Тверской. Эту очередь начинали занимать часов с шести утра, и не без труда приходилось мне, размахивая пропуском, протискиваться через наших вкладчиков, которые норовили стоять не ровным рядом, как, скажем, в ожидании монреальского автобуса, а сбиваясь в тесную толпу. Дамы в джинсовых костюмах и продавщицы с обильно подведенными глазами, бородатые научные работники и спившегося вида слесари, чиновники с незначительными лицами, школьные учительницы, медсестры, пенсионеры с орденскими планками. Как-то раз я заметил среди них родителей Алексея; потом — его школьную учительницу экзотерики, которая появлялась у нас в квартире, причем однажды отозвала меня на кухню и с неожиданной патетикой попросила «беречь Алексея»; потом встретил кого-то из богемных девиц, бывавших на Савеловском. Всех знакомых я, разумеется, вылавливал из очереди и под ручку отводил в помещение, где за шестью окошками бронированного стекла наши миловидные кассирши продавали и покупали акции. Второе, естественно, случалось реже. Впрочем, третья операция состояла в выплате дивидендов, доходивших в последнее время до восьми процентов в месяц чистыми, то есть с учетом инфляции.

Как мог верить в надежность подобного безумного предприятия такой человек, как Анри Чередниченко, недурно подкованный в экономике и при цифре «8 процентов в месяц», услышь я ее в Канаде, быстро-быстро побежавший бы в противоположную сторону?

Мне останется только развести руками.

Я мог бы прочесть краткую лекцию о российской экономике тех лет, о бешеных банковских процентах по краткосрочным займам, которые, как ни странно, иногда, после завоза партии колготок или тушенки, погашались. Но понятно было, что проценты эти учитывали небывалый риск, когда один добросовестный заемщик фактически расплачивался за прогоравших. Нет, дело обстояло сложнее. В воздухе появился некий вибрион легкого обогащения, которым Россия оказалась заражена едва ли не поголовно. Всякий от души полагал, что если люди в малиновых пиджаках делают миллионы в одночасье, то они вполне могут поделиться с народом, привлекая его сбережения.

Примерно к этому, кстати, сводилась статья в популярном еженедельнике.

Г-н Верлин. Ну, не совсем так. Мы, конечно, занимаемся экспортно-импортными операциями. Алюминий, деловая древесина, удобрения. Однако и я, и мои российские партнеры считаем это направление лишь побочным.

Г-н Безуглов. И не совсем патриотичным. Мы категорически против превращения России в сырьевой придаток развитых стран.

Г-н Зеленов. Наш банк даже не вступил бы в СП «Аурум», если его задача сводилась бы только к получению прибыли.

Г-н Верлин. Основной упор в нашей деятельности мы делаем на развитие производства. Строится завод по изготовлению алхимического золота повышенного качества. Недавно куплено швейное предприятие. Планируются и другие шаги, о которых пока говорить рановато. Но мне хочется воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить нашим вкладчикам: их деньги работают, именно работают на благо экономики, а не, как сейчас модно выразиться, «прокручиваются».

Корреспондент. А что скажет на это автор ваших знаменитых реклам? Как сочетается столь высокое искусство, как экзотерика, со столь низменным жанром?

Белоглинский (смеется). Я был и остаюсь человеком искусства, и меня в моей нынешней работе волнует скорее ее постмодернистский аспект. Да, наша команда занимается телевизионной рекламой. Вещью, казалось бы, весьма далекой от экзотерики, традиционно отгораживавшейся от жизни. Но времена меняются, и в рекламной работе я вижу шанс не столько решить вопрос об утилитарности искусства, о пресловутой башне из слоновой кости, сколько снять его, обойти. Искусство и жизнь едины, и способы их единения бывают иногда крайне парадоксальны. Того же мнения, кстати, придерживается и мой старый соратник Алексей Татаринов, принявший немалое участие в составлении сценариев для этих роликов.

После выхода статьи, где всерьез говорилось о долгожданном появлении в России класса совестливых предпринимателей, нам пришлось нанять еще троих кассирш и дополнительную бригаду охраны. Но финал предприятия был уже не за горами.

74

— Вот, наконец, и весна, — с лихорадочным оживлением говорил АТ, ни к кому особо не обращаясь. Да и слушателей-то было — только мы с Дональдом, приглашенным на открытие нового филиала банка «Народный кредит» независимо от меня. — Вот и весна. Сколько раз выходил я в мае, под конец сезона, из Александровского гимназия, переполненный ощущением новой жизни, вдыхал запах лопающихся тополиных почек, особенный майский ветер, легкий, праздничный аромат бензина и городской пыли. Обычно я шел сюда, на Патриаршие. Всегда один. Это уже потом, много лет спустя, мы приходили сюда с Катериной и сидели до закрытия метро на скамейке, иногда с бутылкой вина, и не целовались, нет, хотя мне очень хотелось, но я полагал, что она слишком скромна и юна, а на самом деле она уже принадлежала другому.

В искривленном черном зеркале пруда беззвучно дрожали ветви лип, покрытые беззащитной молодой листвой. Суматошно вскрикивая, хлопал крыльями у своего плавающего домика лебедь, которого, вероятно, тревожили дурные сны. Прохожих почти не было.

— Вы Булгакова, должно быть, читали, Дональд? — после короткой паузы спросил АТ.

— Мой русский весьма лапидарен, — засмеялся Дональд, — всего один семестр в летней школе. Вы же знаете нашу работу. Три года в России, а потом перебросят, например, в Бирму. Чтобы не слишком привязывались.

— А я вот, кажется, привязался. Хотя было бы к чему... — как бы оправдываясь, сказал АТ.

— Напрасно оправдываетесь,— рассудительно отвечал мой товарищ.— Я для своих лет столько путешествовал, но больше всего люблю нашу улицу на юго-востоке Вашингтона. Не были там? Я так и думал. Туда бояться заходить. А окажется — подумаешь, что трущоба. И не заметите, например, что все дома в окрестности голые, а наш покрыт плющом и в палисаднике перед входной дверью цветут розы, а на заднем дворе целая роща шелковичных деревьев. У нас там страшно, Алексей. На улице вечно слоняются подростки с бритыми головами, в коже, с кастетами. А я могу заговорить с любым из них — это дети наших соседей, им просто деваться некуда, вот и напускают гонор. У нас бедный район, Алексей. Ростовщических лавок больше, чем денег, а в магазинах продают отнюдь не такую еду, которой нас только что потчевали, а кока-колу и чипсы. Кстати, как вам прием? Такого количества икры я не видел никогда в жизни.

— Большевики превращали церкви в склады, а эти перестроили гимнасий в операционный зал своего поганого банка,— сказал АТ с неожиданным озлоблением.— Вот и ухнула моя новая жизнь.

— Оставьте, Алексей! Ну что вы кукуетесь! Обещал же ваш коллега...

— Тамбовский волк ему коллега! — огрызнулся АТ по-русски.

— Не понимаю.— Дональд несколько растерялся.

— Выражение крайнего презрения,— пояснил я.— Служит для дистанцирования от той или иной личности. Мы не опоздаем?

После освящения нового здания Митрополитом Московским в Сосновом зале, который Зеленов действительно обещал сохранить в прежнем качестве, состоялся символический получасовой концерт, в котором Алексей участвовать наотрез отказался. Впрочем, Ястреб Нагорный и Благород Современный исполняли трогательные эллоны, где возмущались убылью русской духовности и призывали вспомнить о том, что *эта нация* — народ Достоевского и Розенблюма. Спел что-то лирическое и Белоглинский, очевидно, польщенный возможностью выступить в компании с классиками. Народ, впрочем, позевывал, дожидаясь угощения и, видимо, радуясь тому, что концерт не затянулся. В половине десятого хлопнули первые пробки в новом операционном зале банка «Народный кредит», среди мрамора и вишневых плоскостей матового дерева. Пан Верлин держался решительным миллионером (каковым, впрочем, уже и стал). Лично Безуглов в шелковом костюме от Версаче, при черной бабочке, вручал избранным (исключительно мужского пола) билетики на еще одно мероприятие (что было уже, на мой взгляд, чрезмерно).

— Это недалеко,— радостно пояснял Безуглов,— лучше всего дойти пешком, всего минут десять. Самые булгаковские места! Патриаршие пруды, напротив того места, где зарезало Берлиоза, да! Старые москвичи должны помнить. Швейная мастерская. Теперь называется ночной клуб «Мануфактура».

— Куда торопиться? — вздохнул АТ.— Давайте здесь посидим. Я своровал с презентации бутылку «Абсолюта», правда, пол-литровую, но не поддельную. И стакан. И даже горсточку маслин.

— А если полиция? — затревожился Дональд.

— Мы не в Америке. Ртищев бы, например, им предложил глоток. Раз его нет, я сам в случае чего попробую.

Мы сели втроем на отсыревшую, прохладную скамью, у самых ног массивного памятника Крылову.

— И не утешайте меня, мой умудренный историческим опытом американский друг. Я не хуже вашего знаю про период первоначального накопления капитала, про неаппетитность всех этих ротшильдов и морганов. Чужой опыт никогда не помогает. И если б вы знали, как противно мне принимать участие в этой афере.

— А это действительно афера? — В голосе его слышалась профессиональная заинтересованность.

— Что об этом говорят ваши эксперты?

Дональд пожал плечами.

— Понимаю, служебная тайна. У меня тоже служебная тайна. Впрочем, правильно говорят. Я, дорогой Дональд, намерен сегодня рвать копыта из фирмы «Аурум». Иными словами, подать заявление об уходе. С души воротит. Не сердитесь, Анри. Против вас я ничего не имею. Давайте-ка примем немножко. Странное дело — нас в «Мануфактуре» ожидает океан бесплатной выпивки. Но здесь как-то слаще. Ей-богу, надо Ртищеву позвонить. Может, он наконец помирился бы с Жорой?

75

Добрая дюжина недовольных завсегдатаев (кто в малиновых пиджаках, кто — по старой памяти — в кожаных куртках, иные — с золотыми цепями на массивных багровых шеях) толпилась у двери, над которой сияла славянской вязью алая вывеска «Мануфактура». Швейцар, толщиной шеи и особой пустотой в голубых глазах не уступавший никому из толпы, совсем как в старые добрые советские времена пускал внутрь только по билетикам, неласково повторяя слово «спецобслуживание». За полтора месяца своего существования бар стал одним из самых модных заведений в городе. Любопытно, что владельцем его считалось не СП «Аурум» и не ТОО «Вечерний звон», а совершенно независимое ЗАО (люблю эти новые русские аббревиатуры) во главе с Татьяной Сидоренко. Светлана числилась ее заместителем. В тот вечер я был там в первый и последний раз — и, признаться, ахнул. Не зря мы катали сообразительных девочек в Монреаль, ибо по своему убранству заведение в точности соответствовало известному «Хрустальному дворцу» на улице Св. Екатерины. Те же дубовые столы, те же пивные кружки, та же небольшая эстрада с никелированными вертикальными стойками, держась за которые пляшущие девицы принимали соблазнительные позы. Впрочем, девицы на эстраде раздевались не вполне, оставляя на себе чудом державшиеся бикини, и отличались от монреальских несколько большей раскормленностью. Танцев на табуреточке не предусматривалось. Зато (я сразу вспомнил об афронте, пережитом несчастным Зеленовым, и подумал, что он наверняка приложил руку к организации «Мануфактуры») за стойкой бара, занимавшего центр довольно обширного, на сорок столиков, зала восседало дюжины две девиц вполне одетых, со скучающими взорами, попивающих пепси-колу и молочный коктейль. Приглядевшись, я узнал кое-кого из «Космоса». Гости с презентации весьма алчно подстраивались к девицам. Позднее я узнал, что плата за услуги в тот вечер была им выдана заранее банком «Народный кредит». На всем пространстве зала бешено плясали хмельные гости. Мелькали желтые, синие, багровые лучи света. Стереосистема громыкала так, что болели уши. Я прислушался к словам разудалой песни, но разобрать ничего не смог, кроме припева — «American boy... уеду с тобой...».

— Таиландская система, — усмехнулся Дональд. — Девицу пускают и поят бесплатно, но, чтобы увести ее из бара, следует заплатить так называемый штраф. Экая пакость! Но толпа занятая, Анри. Вот так примерно происходит сращение организованной преступности и правительства.

— Мы не организованная преступность, — возразил я.

— Рассказывай!

Я прижал палец к губам. Стоявшая рядом с бокалом чего-то красного, вероятно, «Кампари», корреспондентка «Столичных новостей» как-то слишком осмысленно прислушивалась. Тем временем к нам пробрался сквозь толпу господин Верлин чуть ли не под ручку с какой-то личностью в мятом пиджаке, весьма похожей на стареющего бухгалтера.

— Прядилин, заместитель министра финансов России, — шепнул мне Дональд.

— Это заведение нам, разумеется, не принадлежит, — журчал и лучился пан Верлин, сжимая в руке бокал шампанского и визитную карточку Дональда, — но в последнее время приток средств стал настолько интенсивным, что «Аурум»

решил заняться кредитованием прибыльных проектов. По обеспеченности барами и ресторанами, господа, Москва стоит на одном из последних мест в мире. Да, была здесь швейная мастерская. Ну и что? В Гонконге шить дешевле да и качественней. Мастерская была арендована, ее выкупили, переоборудовали, обещали работникам места на новом предприятии. Кто помоложе с удовольствием согласились.

— Плясать голышом? — усмехнулся заместитель министра.

— Ну, мы не пуритане, — сказал Верлин с оттенком удивления. — Вы же знаете, что наша политика состоит в поощрении производства. Только поэтому мы можем выплачивать нашим акционерам такие солидные доходы.

Заместитель министра смотрел на удивление неприветливо. От него сильно пахло водкой.

— Это не производство, — икнул он, — а сфера обслуживания. В валовой национальный продукт не входит.

— Смотря по какой методике, — возразил Дональд. — Валовой внутренний продукт включает все услуги.

— Нас не так учили, — настаивал замминистра. — Да и вообще, скажу я вам, не бывает таких доходов. Деньги не могут возникать из воздуха. Правда, господин Дональд? Или у вас в Америке по-другому?

— У нас в Америке по-всякому. Иной биржевой спекулянт может стать миллионером за один день. Даже миллиардером. Ну и разориться, конечно.

Похолодев, я заметил, что из сумочки стоявшей рядом корреспондентки (которая при желании вполне могла бы сойти за одну из девиц, работавших в заведении) торчит нечто, весьма напоминающее микрофон. В тот же момент к нам приблизился АТ, успевший надраться бесплатным шампанским до положения риз.

— Паша, — сказал он, — я оставлю вашу лавочку. Получайте свое фальшивое золото без меня, стройте египетские пирамиды, завоевывайте мир. Я все-таки родился не купцом, а брамином. И первородством своим торговать не намерен. Зачем мы обманывали всех этих несчастных, несущих нам последние деньги?

Последние свои слова он почти выкрикнул. Окружавшие нас гости замолкли, недоуменно прислушиваясь.

— Вам не идет морализировать, господин Татарин. — Впервые в жизни я увидел в глазах у Верлина настоящую злобу. — Советую вам проспать, а утром принести фирме и лично мне свои извинения. Простите, господин заместитель министра, — он пожал плечами, — наш аэд иногда подвержен приступам алкоголизма.

— Ничего, — благодушно сказал Прядилин. — С кем не бывает!

Я оглянулся на корреспондентку, но она уже исчезла из моего поля зрения и даже, видимо, покинула «Мануфактуру».

Наутро АТ, разумеется, одумался, извинился перед Верлином и как бы в наказание был отстранен от сооружения завода и направлен на дежурство в главный фондовый магазин на Тверской. «У тебя опыт строительства, — ядовито сказал пан Павел, — а магазин как раз расширяется. Будешь надзирать за рабочими. А заодно и познакомиться с нашей финансовой деятельностью». В субботу АТ взял меня в гости к родителям. Пироги, особенно с капустой, оказались не хуже тех, которые пекла моя мать. После того, как АТ с отцом и я опустошили поллитровую бутылку и АТ были заданы всевозможные уважительные вопросы насчет его экзотерических и литературных дел, отец пристроился в кресле и развернул свежий выпуск «Столичных новостей».

— Что за клевета? — пробормотал он. — Слушай, Алеша, тут про вас всякие гадости пишут. Смотри. «Впрочем, власти ведут себя по отношению к «Ау-

руму» на удивление либерально, чтобы не сказать попустительски, ссылаясь на то, что фирма не является банком, а следовательно, не подлежит ни лицензированию, ни контролю со стороны ЦБ. Законодательство же о небанковских финансовых учреждениях находится в стадии разработки. С другой стороны, в частных беседах официальные лица — например, замминистра финансов Прядилин, — не стесняются говорить о смехотворности претензий фирмы на то, что она не является пирамидой... Того же мнения придерживаются и иностранные наблюдатели, достаточно назвать имя Дональда Уайта, третьего секретаря посольства США по экономике, который прямо называет деятелей из «Аурума» авантюристами. Известно также, что не вполне потерявшие совесть члены правления «Аурума», можно назвать хотя бы известного аэда Алексея Татарина, уже увольняющегося из фирмы, которая намерена производить на священной русской земле радиоактивное искусственное золото, а пока промышляет финансовыми махинациями и организывает сеть публичных домов, замаскированных под ночные бары...» Что это такое, Анри?

— Это конец, — сказал я с поразившим меня самого спокойствием. — Вам даже не надо было просить об увольнении, Алексей Борисович. Самое позднее к среде фирма обанкротится. Пакуйте чемоданы. Я бы на вашем месте вылетел в Монреаль завтра же, первым рейсом. Пока выездную визу не аннулировали.

— Анри, — с детской растерянностью сказал АТ, — мы же не нарушали никаких законов.

— У нас в «Ауруме» три тысячи долларов, — сказала Елена Георгиевна. — Все деньги за бабушкин дом в Оренбурге и остатки архива Ксенофонта.

— Обзвоните всех своих близких знакомых и родных, — сказал я, поморщившись. — Заставьте их поклясться могилами предков, что они будут молчать. Скажем, человек шесть предупредите. Нину Ивановну в том числе, Алексей. Вы же не хотите, чтобы ваша наставница лишилась всех сбережений. Я слышал, она чуть ли не квартиру продала? Нет? Все равно позвоните. Пусть привезут свои акции сюда и отдадут мне. Я думаю, что в течение первых трех-четырёх часов мы в понедельник еще сможем выкупать акции.

На экране включенного телевизора возник пан Верлин на фоне тушинского завода. Сочувствующий длинноволосый корреспондент держал перед ним микрофон на длинном черном шнуре. Старик явно помчался в Останкино сразу же после того, как получил газету. Странно, что рядом с ним не было Зеленова с Безугловым. Зато на заднем плане, несмотря на субботний день, сновали непроспавшиеся турецкие строители в ярко-желтых касках, явно вытащенные из коек за сверхурочные.

— Удивительно, насколько легкомысленны российские журналисты! — гневался и печалился господин Верлин. — Опубликовать без подписи клеветническую статью против процветающей компании, на защиту которой выступят сотни тысяч вкладчиков, — верх цинизма, верх любви к так называемым жареным фактам. Я с полной ответственностью заявляю, что дела у фирмы обстоят прекрасно. Возрастающая котировка собственных акций с гарантированным выкупом остается ядром нашей политики. Я полагаю, что эта атака на «Аурум» инспирирована нашими недобросовестными конкурентами.

— В статье упоминается радиоактивное золото, — сказал корреспондент.

— Сапоги всмятку! — негодуяще отпарировал Верлин. — Алхимическое золото готовится без всякой радиоактивности и по всем параметрам практически не отличается от настоящего. В одном Гонконге таких заводов шесть штук.

— Дома терпимости?

— Считаю ниже своего достоинства отвечать на это обвинение. В завершение хочу сказать, что в понедельник мы возбуждаем против «Столичных новостей» иск на миллион долларов. Не сомневаясь в выигрыше, замечу, что полученное за диффамацию вознаграждение фирма «Аурум» полностью передаст в фонды помощи.

Печально сидели мы в родительском доме Алексея, где благодаря «Ауруму» появились некоторые признаки зажиточности, вроде японского телевизора

и финской морозильной камеры. Так бывает на похоронах, когда люди ведут в общем-то обычные разговоры, иногда даже смеются, но в воздухе разлита неприятная тяжесть, а кое-кто из гостей иной раз вдруг срывается с места и убегает на кухню или в другую комнату. К восьми часам у меня в портфеле уже лежало акций тысяч на пятнадцать долларов, уж не помню, сколько это было в рублях. Мы пили бесконечный чай и разговаривали о постороннем. Однажды потеряв сына, как им казалось, навсегда, Борис Александрович и Елена Георгиевна всегда трепетали от блаженства, когда он был рядом, и не хотели тратить драгоценное время на вопросы и упреки. А может быть, они предчувствовали, что видят его в последний раз.

77

Денег на выкуп акций в понедельник хватило не на три часа и не на четыре, а почти до самого конца рабочего дня. Два или три человека из обслуженной тысячи с лишним даже не продавали акции, а покупали. Нам с Алексеем, однако, не удалось разыскать ни одного из остальных членов правления СП «Аурум». Дела в конторе шли как обычно, даже очередной директор завода, лживо глядя голубыми глазами, совал Любочке мятые накладные на партию красной ртути. Но шефа не было. Ничего не имелось и за настезь распахнутой дверью его сейфа, где всегда хранилась кое-какая наличность. Домашний телефон не отвечал. В «Народном кредите» мне ответил заместитель Зеленова, неласково сообщивший, что все связи между СП «Аурум» и его банком расторгнуты. Впоследствии выяснилось, что еще в четверг мерзавец по фиктивным платежным требованиям изъял свою часть уставного капитала — деньги сравнительно небольшие, но достаточные для выплат двум-трем тысячам вкладчиков. В чистом арбатском особняке, куда месяца полтора тому назад переехало из своего подвала ТОО «Вечерний звон», озадаченная секретарша сказала, что сама ищет Безуглова. (Впрочем, сейф у Ивана в кабинете, как обычно, был закрыт.)

Я вернулся в фондовый магазин с небольшой бутылкой бурбона. АТ, бессловесно выпив, мрачно посмотрел из-за своего министерского стола сквозь стеклянную дверь в операционный зал. Пятеро кассирш работали, не разгибая спины. Даже в кабинет доносилось пощелкивание машинок для счета денег. Через полтора часа, правда, оно смолкло.

— Дамы и господа! — Я вышел из дверей с мегафоном, отстранив утомленных и взвинченных охранников. Толпа, как стоголовый зверь, подползла ко мне, прислушиваясь. День был жаркий. Ветер донес до меня запах прогорклого пота. В толпе было много стариков и старух. Не знаю, отчего мне стало так жаль этих людей, наказанных за собственную алчность. — Вызывать еще одну инкассаторскую машину поздно. Банк уже закрыт. Завтра в девять тридцать выплаты возобновятся.

Я лгал. Денег на счете практически не осталось. В четверг Верлин перечислил остаток суммы за оборудование для завода. Кое-что давно уже было раскидано по разнообразным и не слишком надежным заемщикам, хотя и под хороший процент. Ожидать возвращения этих денег в ближайшие дни и даже недели не приходилось. Что же до нашего счета на Багамах, то доступа к нему я не имел.

Мы вышли вместе с нашими кассиршами во двор через заднюю дверь. Машина по моей просьбе ждала за два квартала. Полагаю, что вкладчики могли бы заинтересоваться содержимым моего «дипломата», битком набитого рублями на общую сумму в двадцать четыре тысячи долларов. Двое алкашей на облезлой скамейке с аппетитом закусывали банановый ликер кислой капустой из пластмассового кулька. «Все-таки рыночная лучше», — донеслось до меня. Лысеющая старуха в ватной безрукавке подставляла провалившиеся щеки закатному солнцу. Ее приоткрывшийся рот обнажал три или четыре кривых, цвета старых фортепьянных клавиш зуба. На коленях у старухи лежал засаленный, рассыпающийся том Пруста.

— Завтра будет такой же кошмар? — боязливо спросила одна из девочек.

— Поживем — увидим, — отвечал я.

— Кто нам утром откроет? — спросила другая.

— Я и открою, — сказал АТ.

— А вы будете, Генрих Петрович?

— Если не вызовут в контору, то буду. В принципе мы могли бы одной из вас отдать ключи.

— Что вы! Господин Верлин знаете как будет сердиться!

Мы простились с девочками и вышли на Тверскую. Толпа покрывала весь тротуар от кафе «Охотник» до гостиницы «Минск». Стоявшие в начале очереди явно собирались провести у дверей магазина всю ночь. Конной милиции не было, но пешей насчитывалось предостаточно.

— Алексей Борисович, шутки в сторону. Никуда вы завтра не придете. Скажите спасибо, что нам удалось безболезненно уйти сегодня. Вы представляете, что будет, когда эти несчастные узнают о том, что компании «Аурум» больше не существует?

— У фирмы есть имущество. Завод. Офис. Компьютеры. Дебиторская задолженность.

— Всего этого хватит на оплату двадцати, от силы тридцати процентов наших обязательств. Что до дебиторской задолженности, то я бы не купил ее даже с девяностопроцентным дисконтом. Лавочка закрывается, Алексей Борисович. Более того, я не ручаюсь, что нас не арестуют. Среди наших клиентов были люди могущественные. Завтра в семь утра вылетает самолет на Франкфурт. Я забронировал нам обоим места. Летим?

АТ покачал головой.

— Это будет некрасиво, Анри. У меня еще есть остатки репутации в этой стране. Если я приду завтра, то как бы приму на себя ответственность. В случае чего скажут, что все настоящее руководство фирмы сбежало, но Алексей Татаринов был честным техническим служащим, не ведавшим о том, что фирма стоит на грани разорения. Если же я сбегу, то никогда не смогу сюда вернуться. Вопрос принципа.

— Рисковать свободой, ставить под удар собственную семью? Разве можно быть таким идеалистом, Алексей Борисович?

— У вас у самого много было вложено денег? — поинтересовался АТ.

— Половина зарплаты за год, как и у вас. Почему вы спрашиваете?

— Вы только что отдали мне чемоданчик с деньгами моих родителей, Нины Ивановны, родителей Ртищева и кое-кого еще. А своих денег с утра не забрали, хотя могли бы.

— Ну, это было бы низко, — сказал я. — Я увидел этих людей в очереди и как-то понял, что не смогу. Я в конце концов еще заработаю, а у них последнее.

Оставив чемоданчик с деньгами у родителей АТ, мы отключили телефон и, постановив не разговаривать о работе, мирно осушили две бутылки бордо, которые я хранил в квартире на особый случай.

— Может быть, все еще обойдется, — сказал я АТ перед сном. — В конце концов мы с вами действительно не нарушали никаких законов.

Поднявшись по будильнику в полпятого утра, я собрал чемодан и зашел в комнату АТ. Он спал, приоткрыв рот и похрапывая, закутавшись в одеяло почти с головой. При всей своей ненависти к высоким чувствам, при всей сдержанности я вдруг с удивлением обнаружил, что глаза мои влажны.

Я осознал, что не смогу его оставить. К черту самолет.

К полудню из толпы (которая становилась все плотнее и плотнее и, наконец, перестала даже напоминать очередь) стали раздаваться первые крики возмущения.

— Дамы и господа,— на этот раз я чувствовал себя не столь уверенно, как вчера,— непредвиденная заминка с наличностью. Мы ждем инкассаторов с минуты на минуту.

Я говорил правду. Во втором нашем банке, как выяснилось с утра, имелось денег еще часа на два с половиной выплат, но наличность нужно было *мобилизовать*. Алексей уже положительно сходил с ума и кругами бродил по кабинету, обхватив руками голову. По обыкновению пьяненький Ртищев (неведомо зачем притащившийся с раннего утра и пропущенный охранниками по моему приказу) сидел в углу с наушниками на голове. Кажется, он слушал Ходынского.

В два часа дня раздался звонок из «Императорского банка». Денег не было.

— Единственный выход,— сказал я,— это вызвать наряд милиции. Может быть, у них уже есть ордер на арест, но по крайней мере нас отсюда выведут.

— А задняя дверь! — воскликнул Ртищев.

— Уверен, что там стоят добровольцы из очереди, чтобы мы не унесли деньги и ценности.

— Будь проклят тот день и час, когда я согласился работать в этой лавочке! — сказал АТ.

За дверью кабинета в небольшом холле томились наши кассирши. Им, впрочем, решительно ничего не грозило. Более того, вчера утром я авансом выдал им зарплату за месяц вперед.

— Темный народ,— заговорил Ртищев,— отказавшийся от предложенной ему дороги к свету. Хлеба и зрелищ алчет плебс, рыгающий и побивающий камнями своих пророков. Мы полагали, Алексей, что наше искусство, наш подвиг не нужны советской власти. Нет, они не нужны никому. Искусство бессильно против жизни. А жизнь заключается в том, что мы оставлены Господом навсегда. Дай мне еще водки.

Выпив поданные ему полстакана, красноречивый аэд вышел из кабинета и, кокетливо помахав кассиршам, скрылся в сортире. К нам в кабинет зашел тяжело дышащий, покрасневший охранник.

— Генрих Петрович, ребята собираются уходить с поста. Вызывайте милицию.

— Почему?

— Задавят. Мы охрана, а не ОМОН.

— Но вы понимаете, что они ворвутся сюда и разгромят магазин?

— Звереют, Генрих Петрович. Их тысячи две, а нас четверо. И так ворвутся, и так разгромят. Мы можем все зайти сюда, а потом будем прорываться через задний ход. Вас возьмем тоже.

— Вернитесь на пост. Дайте нам десять минут посоветоваться.

АТ опустил штору на стеклянной двери и раскрыл свой объемистый портфель, подаренный ему еще лет десять назад Жозефиной для экзотерического инвентаря.

— Вы сошли с ума! — крикнул я, увидав, как он облачается в шутовской наряд: холщовый хитон, венок, деревянные сандалии.— Нас сейчас убить могут, вы понимаете?

— *Не тронут, не убьют.*— Он достал из специального отделения свою походную лиру и щипнул сначала одну струну, потом другую.— Яко Даниил прошел пещь огненную, и Давид победил Голиафа, и море расступилось перед Моисеем. Ртищев не прав. Вам Пешкин ничего не просил мне передать?

— *Все творчество в мире воровано у Господа, и стесняться этого смертным не к лицу,*— сказала я оторопев.— И еще: прощаются тебе, чадо, грехи твои.

— Хорошо.

Он пересек операционный зал и приблизился к дубовым дверям магазина, за которым толпа уже скандировала «ГДЕ-НА-ШИ-ДЕНЬ-ГИ?». Охранники ухитрились не подпускать никого к двери, и открылась она на удивление легко. Я вышел вслед за АТ и встал с ним рядом. Было страшно. Никогда ни до, ни после я не видел столько ненависти. В глазах толпы мы олицетворяли тех, кто рас-

тратил, присвоил, похитил их деньги, даже не только деньги, а как бы надежду на бесплатное светлое будущее.

— Отойдите на три метра! — сказал АТ властно, тем самым окрепшим голосом, которым говорил с публикой на самых удачных своих концертах.

Его недоуменно послушались. Охранники, удивленные ничуть не меньше, мгновенно воспользовались образовавшимся проходом и исчезли в толпе.

— Где наши деньги?! — выкрикнул кто-то.

— Эллон «К радости». Одна из самых трудных для исполнения вещей великого Басилевкоса.

Мне было так жутко, что я даже перестал удивляться дикости происходящего. АТ прижал лиру левой рукой к груди, а правой начал играть вступление, после чего запел по-гречески.

— Что за театр?! — закричала какая-то толстуха из первого ряда. — Уже шесть часов ждем. И всю ночь простояли.

— Ты что нам голову морочишь?! — заорал кто-то еще.

— Бандиты! Обокрали и еще издеваются!

Далеко, метров за двадцать, притормозила милицейская машина, и четверо в форме со щитами и дубинками стали протискиваться к нам. Сердце мое забилося. Мне показалось, что спасение совсем рядом. Но милицейские не успели пройти даже половины пути, когда кто-то с самого края толпы, ухнув, кинул в Алексея порядочным обломком кирпича, видимо, подобранным у строящегося нового помещения магазина. От звона разбитой витрины АТ вздрогнул, но продолжал петь. Следующая половинка кирпича угодила ему в голову. Увидев, как АТ беззвучно валится с ног, я закричал, но в следующую же секунду ощутил в груди такую боль от удара, что потерял сознание.

79

Как давно все это было, словно и не было вовсе.

Мою выездную визу сгоряча аннулировали, но она и не пригодилась бы мне на первых порах, потому что я очнулся в больнице только на третий день, и первое, что увидел в своей двухместной палате, — пустую, аккуратно застеленную соседнюю койку...

Лучше бы я вовсе не приходил в сознание. Страшно болела голова, ныла сломанная левая рука, время от времени я проваливался в беспамятство, а просыпаясь — то днем, то ночью — не мог унять слез.

Ртищев (который так и проспал все, запершись в туалете) принес мне пачку газетных вырезок. Общественное негодование против «Аурума» было неопишимо. Журналисты смаковали потерянные (украденные?) миллионы, опрашивали рыдающих вкладчиков, на чем свет поносили Верлина и Безуглова. Зеленев немедленно откестился от фирмы, заявив, что занимался только кредитованием, и то на первых порах, а как только почуял неладное — немедленно вышел из СП. Но в некрологах Алексею о фирме не говорилось почти ничего. Только однажды мелькнуло рассуждение о «трагической ошибке, за которую выдающийся аэд заплатил своей жизнью». По ходатайству, подписанному Ястребом Нагорным и Таисией Светлой, мэр Москвы выделил Алексею место на Ваганьковском кладбище, рядом с могилами Ксенофонта Степного (прах которого был перенесен в Москву года два назад), Высоцкого и какого-то знаменитого мафиози.

— Половина культурных атташе пришла на похороны, — сообщил мне Дональд. Странно было видеть его, грустного, обросшего негритянской — жесткой и редкой — щетиной, в застиранном больничном халате для посетителей. — И несколько сотен местных. Я не подозревал, что он так известен. Вы были очень дружны?

— Нет, — сказал я честно. — Обыкновенная дружба.

— Дружба — понятие растяжимое. — Он вздохнул. — Но у меня есть и хорошие новости. По делу ты проходишь свидетелем. Обвиняются только ваши киты.

— Зеленов тоже?

— Нет.— Он замялся.— Анри, у меня есть и плохие новости. Мне больно тебе это говорить, но мы сможем увидеться нескоро, только за границей. Я и сейчас, строго говоря, нарушаю приказ нашей службы безопасности.

— Я понимаю.

— Тогда до свидания? Я принес тебе сок, фрукты, йогурт. Все в холодильнике. Кормят здесь, должно быть, прескверно, как во всех больницах.

Дональд склонился к моему изголовью, уже чужой, уже уходящий, как я понимал, навсегда. От его осторожного поцелуя я охнул — кожа была рассажена на обеих щеках. В дверь уже стучался следующий посетитель — следователь с Петровки.

— Очень прошу вас не волноваться, Генрих Петрович. Мы вам от души сочувствуем. Следствие приняло во внимание то, что вы с Татариновым явились на работу, как обычно, и, очевидно, не знали о том, что предприятие прогорело, как ему и суждено было с самого начала. Мы полагаем, что оба вы оказались обманутыми в той же мере, что и вкладчики. Судя по сохранившимся документам, многое от вас утаивалось. По данным пограничного контроля, обвиняемый Безуглов вылетел в США. Местонахождение Верлина неизвестно. Вы способны отвечать на вопросы?..

Через два дня у меня вдруг отказало сердце, но советские врачи оказались на высоте и спасли мою мало кому нужную жизнь.

Три дня в городе шел дождь со снегом. Деревья, крыши, электропровода покрылись ледяной коркой в два пальца толщиной. Целую неделю мы прожили без электричества. В моей квартире все закапано парафином, а на подоконнике до сих пор стоит пивная бутылка с воткнутой оплывшей свечой. Но все кончилось. Бригады рабочих с обмерзшими усами отпиливают обломавшиеся ветки кленов, расчищают полуметровый слой слежавшегося снега, восстанавливают обрушившиеся линии электропередач и заново вкапывают повалившиеся столбы. Правда, деревья оправятся не скоро, а многим суждено весной погибнуть. Электричество кажется чудом, и я постоянно боюсь, что его снова выключат, что снова замолкнет журчащий жесткий диск «Макинтоша». Жозефина напрасно беспокоилась за свою репутацию. Текстов на компьютере не оказалось — только повести да еще кое-какие эллоны, но уже год с лишним, как при первых же звуках лиры у меня начинается истерика, так что судить об их качестве я не могу.

Первая повесть — чистая буффонада. Судя по второй, АТ и впрямь начал свой творческий путь с постыдного плагиата и, засыпая, вероятно, слышал над головой клацанье медных крыльев Эриний. Не потому ли одной жалкой папочки, показанной Зеленовым, оказалось достаточно, чтобы поставить на колени моего бедного товарища?

Между тем из основательной статьи, еще осенью опубликованной добросовестным Ртищевым, явствует, что украдено было всего около шести текстов, да и те оранжированы почти до неузнаваемости. Злополучное же эссе Ксенофонта Степного появилось вовсе не под именем АТ, но лишь с его предисловием. И более того — мертвого АТ полюбили настолько, что критики после выхода повести (псевдоним быстро расшифровали) единодушно расценили ее как несомненную мистификацию. Пусть разбираются в этом потомки. Что же до меня, то я никому не стану сообщать тех двух фраз, которые просил меня передать АТ навсегда пропавший доцент Пешкин. Только стареющая Катя Штерн до сих пор едва ли не каждый вечер ждет от него звонка в своей квартирке на улице Богородицы Милосердной, куда я нередко забредаю, чтобы помолчать вдвоем за чашкой чая, к которому иногда подается рюмка-другая аквавита.

Послесловие

Несколько вопросов Бахыту КЕНЖЕЕВУ

— Роман «Золото гоблинов» — заключительная часть трилогии. «Иван Безуглов» и «Портрет художника в юности» были опубликованы в разные годы, и, естественно, среди многочисленных ваших читателей окажутся и те, для кого знакомство с трилогией начнется с конца. Здесь герои, застигнутые временем перемен, напоминают собственные тени, пытаются прижиться в новых условиях. Кто узнал и успел полюбить их ранее, еще «горящих свободой», с сердцами, «живыми для чести», останутся им преданы, другие же вполне смогут повторить вслед за русским канадцем Анри Чередниченко: «...если бы не рассказы АТ о его (имярек) молодости, он бы вряд ли меня заинтересовал...» Метаморфозы, происшедшие с героями, — это произвол случая или проявившаяся наконец правда? Был ли вкус плодов заложен еще в прекрасных цветах?

— Жалко, что части романа оказались разбросанными во времени, и, должен признаться, крайне хотелось бы увидеть их под одной обложкой — как-никак семь лет трудов, к тому же все три части очень разные. Особых метаморфоз с героями, я думаю, не происходит, просто внешние обстоятельства как бы заставляют проявляться то, что уже было заложено в их натуре. Может быть, весь роман — о недопустимости измены самому себе. А может быть, и о том, что судить никого не следует. В конце концов главный мой герой платит за свои заблуждения — попытку примирить Бога и мамону — жизнью. Да и «мытари и блудницы», как нам известно, постоянная компания Иисуса.

— В «Золоте гоблинов» бывшие оппоненты — комсомольские активисты, службисты и вольнодумцы-поэты — трудятся бок о бок. Старые противоречия будто бы стерлись, и оказалось, что подспудно все стремились к одному и тому же, получили то, чего действительно хотели (как это случилось однажды с одним из героев Стругацких—Тарковского). Ваш роман — не приговор ли целому поколению?

— Ну кто я такой, чтобы выносить приговоры, да еще и целому поколению, да еще вдобавок и своему собственному? Мне самому, старому семидесятнику, конечно же, обидно, что с грохотом рухнул миф об особой российской духовности, что мужики вместо Искандера и Пелевина несут с базара Маринину (хотя она-то как раз много лучше остальных своих коллег по занимательному делу) и Тома Клэнси глупого; что доступ к материальным ценностям опьянил мою страну куда больше, чем страны Запада. Но плетью обуха не перешибешь. А может быть, проблема и шире. Может быть, глобальная переоценка национальных ценностей — это запоздалый, но тем более внушительный и неизбежный удар по укоренившейся за время советской власти благодушной вере в то, что человек изначально хорош. Увы, увы, в общем-то он плох, к сожалению. Вот уж две тысячи лет идет работа по воспитанию нового, христианского человека, а где же ее плоды? Все как было. «Мы равнодушны, мы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, мы сердцем хладные скопцы, клеветники, рабы, глупцы. Гнездятся клубом в нас пороки. Ты можешь, ближнего любя, давать нам смелые уроки, а мы слушаем тебя...» Все правда, кроме последней фразы — и слушать-то, в общем, не хотят. Чехи и поляки, между прочим, нас в смысле самосознания нации обскакали. Там Валенса был семь лет президентом, Гавел. А у нас Сахарова затравили, Александра Исаевича засмеяли, а Белле Ахатовне дали орден за «Заслуги перед Отечеством» третьей степени... Эх...

— Российский аэд гибнет — на манер древних пророков — в центре Москвы в конце второго тысячелетия. Как бы пародийно ни выглядело героическое действие с неуместным исполнением элона «К радости», смерть одна восприняла певца всерьез, узаконила его смешную судьбу. Читая, невольно задумываешься: неужели в России удел настоящих поэтов всегда будет трагичным независимо от правящей идеологии и общественного строя?

— «Я не шоколадный, — говаривал Пушкин трехлетнему ребенку приятелей, — я жеманый». Давно, давно уже понятно, что любой поэт-художник-литератор тоже не из эфирной материи сделан. Он самый обыкновенный человек (помните, как Бродский то и дело жаловался на плохое состояние своих зубов, напоминавших раз-

валины?), разве что с повышенной чувствительностью да еще с умением выражать ее словами. (Казанова был дивным поэтом, хотя вряд ли написал хоть строчку серьезных стихов. Отсидел в тюрьме, кончил дни в безвестности, мрачным библиотекарем. Тютчева с дипломатической службы не за стихи выгнали.) И еще поэт — это, наверное, человек, не способный решить вопрос о вере и искуплении ни в одну из сторон. И всегда несогласный с толпой. Проходят поколения, и вдруг выясняется: «эпоха Пушкина», «эпоха Блока», «эпоха Мандельштама». Но при жизни толпа оставляет за собой полное право показать возмнившему о себе его место, а в крайнем случае и пришить. А он в среднем парнишка неглупый, он понимает, что ну не любят его. Девушки, может, и любят, а общество в целом — фигушки. (Денег, например, не платят, или не печатают, или в тюрьму сажают, или травят, или все это вместе.) Откуда же тут взяться благополучию! Тут-то и возникает разность потенциалов, заставляющая его лихорадочно подыскивать рифмы и созвучия, создавать прекрасное «из тяжести недоброй». Ситуация безвыходная, но и плодотворная. И, конечно, не только в России.

— История литературы знает немало примеров, когда в писателе уживались поэт и прозаик, но это соседство всегда мучительно, превращает душу в подобие коммуналки. Читатель уже привык к тому, что прозаик Кенжеев и поэт Кенжеев — один автор, но все же как им живется сегодня?

— Живется нормально. Правда, прозу мою ругают гораздо чаще, чем стихи, и даже в упрек ставят: зачем, дескать, ты свои романчики пишешь? По мне, так эти два искусства совсем различны и сходство между ними ложное, кажущееся. Хороший столяр вовсе не обязательно хороший плотник, и, наоборот, хотя оба работают с деревом. В прозе, какой бы модернистской она ни была, все же есть элемент проповеди, хотя бы потому, что читатель примеривает на себя судьбы героев. А поэзия — вроде музыки, чистая исповедь. Потому «Спекторский» Пастернака — проза, а Саша Соколов и Венчик Ерофеев — поэзия. Впрочем, при всех былых амбициях я так и не стал литературоведом и, видимо, увлекаюсь. Куда отнести Набокова? А Бунина-поэта? Пусть профессионалы меня поправят. Повторюсь: однако разное это ремесло.



Восторг и предчувствие движения

ПОВЕСТЬ

«Мой маленький Фауст, мой маленький Фауст, вот он стоит и смотрит на меня, не в силах произнести первую фразу. Ну, открой рот наконец!»

— Хочу быть свободным, как вы,— сказал Вьюноша. И повторил необыкновенно легко: — Свободным, как вы.

«Додумался — свободным, как я. Далась ему моя свобода!»

Не Согрешишь-Не Покаешься лежал в мастерской на рваном матрасе, а Вьюноша стоял над ним, как столбик ртути, прямой, ровненький, от черточки до черточки, весь как есть. Он сказал все.

«Далась им всем моя свобода! Куда он пойдет?»

— Чем ты намерен заняться? — спросил Не Согрешишь-Не Покаешься.

— Не знаю,— беспечно ответил Вьюноша.— Может быть, начну брать уроки пения.

«Вот те на! Я научил его ювелирному делу, я научил его оружейному делу, я научил его говорить, а он, оказывается, хотел петь. Этому я научить не мог,— с досадой подумал Не Согрешишь-Не Покаешься.— Сам не обучен».

Он приоткрыл глаза. До чего же противно глядеть на физиономию, искаженную судорогой свободы!

Не Согрешишь-Не Покаешься натянул одеяло на голову. Под одеялом было хорошо, как в гробу. Когда совсем стало нечем дышать, сбросил одеяло и сказал:

— На легком катере.

И отвернулся к стене.

Спиной он чувствовал торжество Вьюноши, чей уход оказался ему небезразличен, апатия была показная, ложная, он оставался совсем один.

— Вы говорили, что не собираетесь нас ничему учить, мы должны научить-ся сами, или уйти, или сдохнуть. Я уйду последним.

— Но почему? — жалобно спросил Не согрешишь-Не Покаешься.

— Я выдержал все, все освоил, теперь я могу не бояться мира, но вы оказались не просто жестоким учителем, но и большим обманщиком, вы скрыли от нас свободу.

— Что ты плетешь?! — разбрызгался слюной Не Согрешишь-Не Покаешься.— Какую свободу? Где ты ее видишь? Если найдешь здесь что-то, кроме моего одиночества, забирай!

Вьюноша самодовольно улыбнулся. Теперь он был уверен в своей правоте.

— Я боготворю вас,— сказал он.— Я хотел бы быть дверной ручкой вашей комнаты только потому, что вы каждый день прикасаетесь к ней, но я не верю вам больше и потому уйду.

— Иди, иди! — Не Согрешишь-Не Покаешься стал толкать его кулаком в спину.— Не возмни только, что выбрал сам, это я тебя выгнал.

— Конечно, маэстро.

Дверь закрылась. Теперь Не Согрешишь-Не Покаешься мог действительно чувствовать себя совершенно свободным.

Но какого же неблагодарного пса выпустил он наружу!

Ему стало страшно, захотелось предупредить людей, пусть устроят облаву и, наконец, пристрелят. Но, в конце концов, одним зверем больше на земле, одним меньше...

«Огнем и мечом, мой мальчик, огнем и мечом». Он сам учил его этому. А теперь пойдй — останови. «Он пошел куда дальше, чем я. Зачем я встретил его и расковал?»

Он-то знал, как зла и равнодушна молодость, как наказывает за доверие к себе. Он-то много чего знал. У них, молодых, из всех прорех несло цинизмом.

Те, кто дружил с ним в юности, все были старше его, с ровесниками он дела не имел. Другими они были, что ли, наставники его юности, лучше, чем он сейчас?

Теперь они разложены по могилам, и в их истлевших сердцах последней итлеват любовью к нему. Он это тоже знал.

Так почему же с недавнего времени так пакостно, так низко шпионил он за юностью, торжествуя при любом неловком ее движении?

С подозрением разглядывал молодых мужчин, стараясь смотреть исподтишка, чтобы застать врасплох. Они ему не нравились. Он уже крепко подзабыл собственную юность, но эта, новая, ему определенно не нравилась.

Не Согрешишь-Не Покаешься боялся, что его застигнут за этим нелепым занятием — разглядыванием. Но молодым было не до него.

Один только раз мальчишка-шофер спросил: «Что смотришь, дядя? А по зубам не хочешь?»

Вот кретин! Взгляд был тоскливый, верно, но не из-за этого юности, а потому, что уходят силы, вернее, уже ушли, успев стать какими-то необаятельными.

В пятьдесят лет ты попадешь в разные ямы — ямы счастья, ямы ужаса. Ты сознаешь, что всю жизнь ухитрялся их не замечать.

Виной была любовь. Его любили их сверстницы. Он не знал женщин старше двадцати пяти, он презирал тех, кто старше. Он выбирал их в дорогу — на день, на год, на сроки. Как чемодан. Они были молоды и качественно надежны.

Они были зеркалом, не предъявляющим морщин, зеркалом с коррекцией, он так и не знал собственного лица, в их интерпретации он себе почти нравился.

Но и здесь он был начеку. Достаточно было ему заподозрить лицемерие, как он изгонял их.

Старик, ну, пожилой господин, нет, рядом с ней все-таки старик, нет, скорее пожилой рядом с ней, еще очень крепкий, вполне мужчина, а она надувает губки и перебрасывает свою ножку через его колено, так ей удобно, он улыбается самодовольно, но в душе его метастазы неловкости, он знает про себя все, он видит себя глазами окружающих. Он смеется смехом, заказанным ею, он дерзок, остроумен, юн. Он гладит ее лодыжку, как только ему принадлежащую, но, когда он встает и оставляет девушку за спиной, каким измученным становится его лицо, каким прекрасным, это он вспомнил внуков, когда-то они у него были.

Ты видишь лицо этого господина и начинаешь бояться, что он не дойдет к намеченной цели, а она почти всегда проста — штучечку какую-нибудь ей купить, водички принести, заодно попить самому, но где-то втайне тебе еще страшнее возвращаться туда, где сидит она, поблескивая коленками. Одна надежда, что твое тайное нежелание вернуться воплотит сердце.

Но он возвращается омоложенный очередным марафоном, он возвращается к юности, делая вид, что вернулся в юность.

Капризница ждет, скрывая свои мысли. Кто знает ее птичьи мысли? А вдруг они благородны, полны любви? Ведь бывает же!

И потом его любили не под стать ей — роскошные, молодые, не старше двадцати пяти. Правда, многие из них умерли, но это случайность, нелепость, несправедливость, вот они и прислали к нему младших своих сестреночек скрасить одиночество. Или просто издеваются над ним?

С одной из них он стоял на коленях у Гроба Господня в Иерусалиме. Сколько людей добиралось сюда, чтобы остаться наедине с Богом! Он же и здесь был только с ней наедине. Они умели крепко занимать все мысли собой.

Он пришел на свету и уйдет на свету, никто не помешает ему принять этот мир как веру. Он так любит жизнь, что, умирая, обхватит ее за шею и будет висеть, окоченевший.

Не Согрешишь-Не Покаешься впал в абстракцию, он всегда впадал в абст-

ракцию, когда думал о любви, так было легче, он не хотел видеть себя на картинках передвижников, ненавидел реализм, тот преследовал его как навязание.

«Свобода есть извлеченное подсознание,— думал Не Согрешишь-Не Покаешься.— Все остальное — привычки, суеверия, ограничения, полын».

Из этого извлеченного подсознания он творил такую действительность — конфетка!

И существовал роскошно.

Вьюноша высмотрел ее не нарочно, шагал и высмотрел. Она была из тех, кто каждую четверть часа проверяет содержимое своего пустого кошелька. Она близоруко шурилась, копаясь в кошельке, и вообще была настолько близорука, что за целый день не заметила его навязчивого преследования. А он подходил иногда близко-близко. То он хотел, чтобы она ощутила его дыхание почти у своих губ, то пройти так резко мимо, чтобы она вскрикнула и обернулась. Но то ли дыхание его было не обжигающим, то ли бег не стремительным, в его сторону она не взглянула. Действовали на нее одни только ею видимые шорохи где-то внутри души, к ним она прислушивалась без опаски, на них отзывалась.

Мимо витрин она проходила, опустив голову. Она не давала себе права смотреть или понимала, что без очков все равно ничего не увидит.

Очки у нее были, но с отломанной дужкой, однажды она достала их и, прижав к переносице одной рукой, застенчиво и виновато посмотрела туда, где, безусловно, совсем уже ничего не было, кроме светлого неба и белого дня.

Она была слегка полновата и потому жалости не вызывала. Просто ее трудно было не полюбить, если у тебя есть сердце. И Вьюноша почти полюбил, хотя сердце он оставил там, в мастерской своего учителя.

Кому она принадлежала? Отцу, матери, миру? Он не задумывался над этим.

Возможно, она принадлежала Богу, но это не имело ровно никакого значения.

Что она хотела такого необыкновенного купить?.. А потом он догадался, что купить она хотела хлеба.

Это уже было в его жизни, до встречи с Не Согрешишь-Не Покаешься.

Десятилетний, он стоял у ворот своего дома рядом с отцом. Он хорошо помнит запах лета и отдельный парадный запах свежевыкрашенных чугунных ворот. Это было прекрасно — стоять рядом с отцом в десять лет и знать, что так будет вечно.

По обыкновению отец молчал, а он, мальчик, прислушивался к молчанию, ему всегда было интересно знать — про что молчит его отец, он и не предполагал, что молчание может быть просто наполнено этими запахами смолы и лета.

Но зато он слышал, как бьется отцовское сердце. Оно билось всюду в безмолвии летнего дня. Листва неподвижна, чугун мертв, незабудки на клумбе немые — только биение отцовского сердца.

От угла, где была булочная, шла девушка. Она шла пугливо, полная неясных намерений, к руке ее прилепилось своей ручонкой крошечное ее подобие в таком же платье из легкого ситца. Ситец тогда был не в моде, вполне доступен.

Маленькая оглядывалась куда-то назад в сторону магазина, и большая буквально волокла ее, хотя это не стоило никаких усилий — вести за собой почти невесомое существо.

Девушка поравнялась с отцом, что-то спросила. Мальчик не услышал слов, все еще созерцая это внезапное появление, их легкость, одну на двоих, но сердцем он был с отцом и потому скорее понял, чем увидел, что у отца на глазах слезы.

— Что, что? — переспросил отец.

— Постирать или полы вымыть за небольшую плату, я хочу купить хлеба, если вы из этого дома, можете знать — кому нужно, не беспокойтесь, я сделаю все добросовестно.

Подобие в это время с любопытством разглядывало мальчика.

— Вот,— сказал отец,— возьмите. Ваш ребенок проголодался, вы должны следить за вашей девочкой. Здесь на хлеб, фрукты, возьмите.

— Но я хочу за работу...

Он извлекал из кармана и всовывал, всовывал в сопротивляющиеся руки те самые, знаменитые, скомканые, отцовские, не знающие счета, и не потому, что отец был богат, просто не могло быть счета у того, что не имело никакого значения.

— Идите, пожалуйста,— сказал отец.— Не то магазин закроют, у них в это время обед.

Дальше совсем уже было больно смотреть, как оглядывается на них маленькая девочка в нежелании уйти, упираясь, как один раз оглянулась мать в страхе, что они приняли ее за нищенку, и, убедившись, что это не так, одухотворенная внезапными возможностями, скрылась в магазине.

— Пойдем,— сказал отец.— Нам не нужно их больше видеть.

Он вошел в подворотню, мальчик за ним, и теперь уже в сырой, пахнущей нечистотами подворотне расслышал мальчик в последний раз стук отцовского сердца.

Все это происходило в часу таком-то года такого-то, в его собственном детстве, давно, до Не Согрешишь-Не Покаешься. Уже и отец успел несколько раз умереть с тех пор. Так вот, эта, сегодняшняя, близорукая, напомнила ему ту, с ребенком, и он рассердился.

Дня хватило на то, чтобы разобраться, какое впечатление производит она на мужчин. Ни одного не было, кто бы не оглянулся. И хотя красавицей назвать ее было трудно, она излучала особую притягательность, которой каждый находил свое слово: доброта, нежность, покой, тепло — кому чего не доставало. Но вернее всего было слово — желанна. Она была желанна и, следовательно, могла быть определена в дело. Нужно было действовать сразу — без дешевых уловок и дипломатии.

Когда Вьюноша подошел к ней, она вновь рылась в кошельке, недоуменно соображая, куда все-таки подевалось его содержимое.

— Я могу быть тебе полезен,— сказал Вьюноша.— Не деньгами, денег у меня нет. Но я способен защитить тебя, когда кто-то помешает их заработать.

— Как это? — спросила девушка.

— Я буду твоим другом. Это слово тебе знакомо? Ты ведь не хочешь умереть на улице? Я слежу за тобой целый день. На тебя клюют, но ты этого не замечаешь. Ты что, слепая, что ли?

— Я сильно близорука,— покраснев, сказала она.

— В нашем деле это пойдет тебе только на пользу! — засмеялся Вьюноша.

— Вы не похожи на свои слова,— сказала она.— Вы так красивы.

— Потому и не лицемерю. Ты, конечно, годна еще и на то, чтобы стать чьей-то женой, но пока встретишь достойного — умрешь с голода.

— Я очень хочу есть,— немного подумав, сказала она.

— Потерпи, и мы наедемся вдоволь. Жди меня вот на этой скамеечке. Когда я подойду с клиентом, не вскакивай, не суетись, не бойся, я все узнаю о нем и буду неподалеку. За тебя я много денег возьму.

— Все равно,— сказала она.

Он так и не узнал, не был ли обманут, не прodelывала ли она всего этого раньше, до встречи с ним. Его не поразила легкость, соблазн согрешить так велик, так велик, он не разделил с ней ничего, кроме дорогого обильного ужина в самом престижном ресторане города. Каждый раз, когда она собиралась всплакнуть, он брал ее за подбородок и кормил из рук, как птицу.

Ему было весело.

В той поре, когда Не Согрешишь-Не Покаешься очень хотел согрешить, но не представлял, какая последует за этим расплата, родители повезли его морем в первое путешествие, которых у него потом будет очень много.

Помнил он только то, чем был полон. А полон был тревогами и неясностями возраста, когда любой намек кажется тебе советом и предостережением.

Коридоры узкие, каюты тесные, женщины глупые, мужчины таинственные. Шезлонги, шезлонги у бассейна на верхней палубе, никогда не знаешь, какой стройности фигура вырастет оттуда, шезлонг скрывал в себе все.

Вечером, когда в каютах происходило странное, мальчик бродил вокруг бассейна, незаметно притрагиваясь к полотну шезлонга, иногда неожиданно погружаясь в него, как бы впитывая в себя тепло согретого шезлонга за день женского тела. И понимал — этого ему уже было мало.

Путешествие от порта к порту становилось все мучительней, так как там, дома, мальчику было обещано свидание. В четверг. А уже было воскресенье, и рас-

стояние от их города увеличивалось. Сменились каштаны пальмами, пальмы — эвкалиптами, в летнем зное жизнь перетекла в полную неподвижность, пароход встречали на набережных застывшие фигуры тонких, стройных мужчин в белых костюмах, как бы беседующих друг с другом в профиль, но тем же профилем с зеленым конским глазом скользящие по сходящим с трапа женщинам, женщинам, женщинам...

Они шли недолго, ровно столько, сколько нужно, чтобы спуститься, а потом цепенели при виде красавцев, не способные больше сделать ни шагу, и тогда те прекращали мнимый разговор и предлагали беззащитным туристкам свою помощь.

Это красноречивейшее движение женщин и красавцев, развернувшееся вдоль набережной, Не Согрешишь-Не Покаешься помнил сильнее, чем линию гор, на фоне которой все это происходило.

Они уходили в обратную сторону от города, где его поджидало счастье, они уходили медленно и навсегда, а он оставался на пароходе ждать и смотреть на это сверху, зная, что они уже никогда не вернуться, а пароход будет стоять и выть всеми трубами в небо, выть надрываясь, будто это могло хоть что-то изменить.

Пароход будет стоять, они — отсутствовать, Не Согрешишь-Не Покаешься — стареть.

И тогда он сбежал, впервые точно зная цель и смысл побега. Наказание его не страшило.

Он сбежал, выкрав у матери деньги, и на другом пароходе пустился в обратный путь, чтобы точно в четверг вернуться в родной город, позвонить однокласснице по телефону и в ожидании прихода вскрыть материнский гардероб, где лежали свежие, нетронутые послевоенные простыни, выбрать самую нетронутую, отбросить, достать еще более нетронутую, не смятую его прикосновением, поменять ослепительную хрустящую наволочку на еще ослепительней и так несколько раз, лечь одному без нее, примеряя, понравится ли ей это, и, в ужасе убедившись, что измял ложе любви, начать все сначала, а потом она пришла, увидела, хотела убежать, но, так как обещала и слово свое привыкла держать, стала снимать с себя нетрудную одежду, но с таким измученным выражением лица, что ему уже ничего не хотелось, и, когда они легли на родительские послевоенные простыни, Не Согрешишь-Не Покаешься был даже рад, что она по-девичьи отчаянно скрестила ноги, чтобы ему не досталось то, ради чего он проделал это двойное путешествие, сначала уговорил родителей уехать из дома, а потом сбежал от них, обокрав.

Они встали разочарованные друг в друге, чтобы вместе попытаться сложить белье, как оно было сложено раньше, и поместить туда, где оно раньше лежало.

Но это было невозможно, уже ничего нельзя было изменить — ни в них, навсегда лишившихся друг друга, ни в этом первом созданном ими вдохновенном беспорядке, таком неполном, таком несчастливом.

Так он прицеливался, прицеливался, чтобы выстрелить в нее своим желанием через двадцать лет при случайной встрече, когда она была уже второй раз замужем, дважды делала аборт и дважды чувствовала себя нелюбимой.

Он овладел ею у моря, на склоне, в полной тьме, когда по морю и по склону шарит прожектор, и куда вернулся утром, чтобы навсегда запечатлеть место, где это наконец случилось. Это было самое заплеванное, самое облюбванное такими же, как они, место на всем побережье.

Стоило тревожить материнский гардероб, чтобы совершить все это через двадцать лет в полном, безнадежном дерьме.

Человек растягивает детство, растягивает, из этого глупейшего растягивания, наверное, и состоит жизнь. Потому что по-настоящему жизнь должна длиться только один день — день исполнения желаний.

Не Согрешишь-Не Покаешься сидел и ждал телефонного звонка. Никому он не нужен, никому, будто и не рождался. Вот и ученики разбежались по миру, как нечисть. В этом городе жили его дети, но и они не позвонят. Он предал их, как сейчас его предали ученики. Он не в обиде, он умел прощать предательство, потому что не слишком доверял самому себе. Дети росли, изменяясь, он менялся еще быстрее детей. Он понимал их, как никто, потому что вечно находился в этом текучем, переменчивом состоянии, они любили играть с ним в жизнь. Но

рассчитывать на него не могли, он уже давно не принадлежал себе. Он вызывал в них какую-то сладкую жалость, как младший, и, когда добивался чего-то, они радовались его успеху как успеху маленького. Они хотели, чтобы он жил, но за чем им эта его жизнь, не знали.

И не задумывались. Он был их личной забавой, может быть, даже ими придуманной. Он был тот, кто сочиняет сказки, строит красивые вещи, делает глупости, не умеет быть счастливым. Отец, одним словом. Они хотели походить на него, но боялись рискнуть. Давно уже нет на земле людей, вдохновленных сказочными сюжетами. Куда они делись?

И вот он сидел у себя дома и сетовал, что телефон не звонит.

Он не должен был, не хотел ощущать свою принадлежность реальному миру, отношение к собственности у него было нервным. Будто какие-то люди попросили его все это посторожить, а сами ушли. Воспользовались его честностью и не возвращаются. А он сидит и осматривается, не зная, что пропало, возможно, многое, — его не ознакомили с инвентарем.

Он любил жить нигде и надежно. Это оказалось возможно, потому что стены раздвигаются, потолок вздымается над тобой, как небесный полог, а под ногами преисподняя, как всегда.

Но где-то же надо было находиться, и тогда Не Согрешишь-Не Покаешься придумал хитрость.

Стены в своей комнате он сделал золотистыми — цвета меда, цвета ее тела. Они обнимали его, как крылья. Сноп света из угла вычерчивал багряные листья на стенах, кремовые шторы в глубине комнаты как бы распахивали объятия, а за шторами в окне — ее лицо, мерцающее в лучах заката.

Нежная пряжа любви в аквариуме, все оттенки золотого, сколько их еще есть в мире...

Но даже отсюда, из этой комнаты, ему хотелось уйти к ней, существующей где-то реально.

И если Вьюноша искал сейчас свободу, якобы зажиленную Не Согрешишь-Не Покаешься, то сам Не Согрешишь-Не Покаешься искал только ее, хранительницу его свободы.

Можно было позвонить, но они навсегда договорились не тревожить ее семью. Мир большой, больше их города, встретиться можно всюду. Он назначал ей свидания внутри мира, и она вошла во вкус таких свиданий.

И если ее что-то раздражало в нем, то мир восполнял, успокаивал.

Была ли это великая любовь или только потребность великой любви? Неизвестно.

В прошлом году на Старомесской площади в Праге, где им подарено было судьбой пять дней, он сказал: «Ах, если бы могли показать им всем, этим соплякам, как умели любить во времена нашей юности!»

«Во времена твоей юности, — уточнила она. — Моя со мной».

Это была ее реплика! Неподражаемая, снисходительно высокомерная, потрясающе бесстыдная, полная достоинства, которое он начал уже было терять, и сразу вернулось то ощущение ожога, когда двадцать лет назад она как бы случайно задела его, незнакомого пока ей человека, краем плаща, набрасывая его у театрального гардероба, а он долго еще носил на левом боку рубец этого прикосновения, боль от которого не утихала, пока он смотрел ей вслед.

Боже мой! И все это не сохранилось только потому, что в пути попадались другие и жизнь дает удивительно много времени на глупости?

Плевать! Все в нем и умрет с ним, если этому вообще не суждено пережить бессмертие.

Он вспомнил, как много лет спустя после той встречи набросился на нее с ножом, обнаружив, что она ему изменяет, и она, с такой надеждой веря в его безумие, поощряя, смотрела на него в ожидании удара, но он не ударил. Он был женат тогда и вспомнил о своих детях.

Еще позже она скажет: «Зачем тебе нужно было меня выслеживать? Из-за этого мы столько времени упустили!»

Он гулял с ней по Праге, понимая, что в этой легкости встреч, дающих страшную цену, и есть смысл жизни. Они ничего не хотели знать друг о друге вне их любви, их коротких свиданий. Каким-то чудом это им удавалось.

Вьюноша решил переплыть море. Переплыть, а не выпить. Вера в себя не иссякала в нем. За морем был турецкий город Стамбул, ислам и многоженство. За морем жили бывшие завоеватели мира, честные воины и грязные пираты, нападавшие врасплох. За морем говорили на неизвестном языке, не строили из себя невесть кого, слыли опасными и коварными.

Он хотел быть опасней и коварней всех. Как Гермес, бог торговли и воровства, с хитро посаженной головой, сутулый в попытке быть незамеченным до поры до времени, на полусогнутых ногах марафонца, и все это перед прыжком, когда, развернув тело и блеснув на Солнце, бог становился вором, хватал добычу и по-змеиному ускользал вниз, в ложбину.

Ради этого мгновения Вьюноша готов был переплыть море. И вот он плывет, выбравшись из иллюминатора большого торгового судна, куда зафрахтовался матросом, и вот он плывет, запасшись желтым спасательным жилетом, в сторону Турции вслед за скумбрией, которая сообразила уплыть туда раньше. Плывет за скумбрией в арьергарде косяка, чувствуя себя рыбой и потому с уверенностью, что плывет правильно.

Он ничего не знает про опасности моря, у него нет страха глубины, чья-то соленая ладонь переносит его через глубины. Кем он воображает себя? Да никем, просто плывет. И с каждым километром цель его становится заманчивей и заманчивей. Ориентируясь по звездам, он уже не боится, что обогнет Турцию и проплывет мимо. Везде есть для него место, везде есть для него женщина, везде есть для него богатство.

Что это за муть говорил Не Согрешись-Не Покаешься о родине и бедности? Вот и сидит со всеми своими умениями в проклятой Богом дыре, великий человек! А приключения, а деньги, а титулы, а почет, а смерть в саркофаге, разукрашенном драгоценными камнями? И между этим — постоянный риск умереть, жизнь без страховки, горы, на которые взбираешься, аэропланы, с которых сигаешь вниз, болота, в которых не тонешь, и пули, летящие мимо. Он хотел все это пережить. Он не понимал, как можно быть свободным, не узнав свободу цену. С каждым движением тела в воде он все больше не понимал, чему учил его Не Согрешись-Не Покаешься. Если он о чем и волновался — то о связках. Он мнил себя великим певцом, ему нравился собственный голос.

Ночной ветерок ласкал надменный лоб Вьюноши, море было чуть-чуть взволнованным, чуть-чуть. А ему мерещилась схватка, из которой он выйдет невредимым, он нес в теле браваду, поющую, как пила, — дзынь, дзынь, и море недоумевало, прислушиваясь к этому наглому звуку, и волны передавали его тело одна другой, как драгоценную ношу.

Видели бы его сейчас друзья детства, все эти мальчишки-торопыги, потерявшие невинность на чердаке, куда их завлек, обольстив, сосед, артист балетного миманса.

Они презрели Вьюношу, не посвятив в тайну, да он бы и не согласился принести свою невинность в жертву столь грязной затее, он ни за что бы не согласился двигаться вслед за жирным задом миманса по черной лестнице на чердак, перемигиваясь и для храбрости толкая друг друга локтями, ему была отвратительна любая подкачка судьбы — только победа над зеленоглазой Зинкой из соседнего двора с лицом, обтянутым кожей так, что проступали очертания черепа, и это было прекрасно, потому что тогда Зинка начинала казаться совершенно голый и желанной.

Зинка была романтической мечтой двора, а он, Вьюноша, должен был обладать ею и обладал, хотя, возможно, больше ей нравился не он, а тот, другой, маленький, не по-детски свирепый, зачинщик этой неудачной возни с артистом миманса. Тот, что позже попал под машину, втянутый туда весь, будто его и не существовало, как в цирковом аттракционе, а потом возник из-под нее целый и невредимый, сопровождаемый матом шофера, бессильно прислонившегося к дверце. Тот, чей отец, профессор университета, филолог, приходил во двор за сыном смертельно пьяный, вызывая в сыне стыд и нежелание сознаться в стыде, тот, чей отец упал головой вниз на ступеньки подъезда и, парализованный, умер через несколько дней, тот, чья мать, не пережив смерти отца, прыгнула с третьего этажа и, прибив какую-то старушку, превратила акт самоубийства в настоящую комедию.

Он и сам-то умер совсем молодым, бросив университет и уйдя с томиком Хемингуэя под мышкой куда-то в глубь Украины, устанавливая вместе с бригадой силовые линии для подачи электроэнергии в колхозные коровники.

Его ударило током на столбе, куда он с мальчишеским героизмом, пьяный, забрался, будучи уверен, что может справиться со всем вполне профессионально. Между чердаком и столбом лежала вся его жизнь.

И Вьюноша был уверен, что все было предопределено в тот час, когда они решились обмануть его. Ну что ж, он не в накладе, ему досталась Зинка, и сейчас, переплывая море, он вспомнил ее, пахнущую, как море, всегда с шелухой от семечки на нижней губе, рот ее был сух от лузганья семечек, она была невинна, отдаваясь ему, и пахла семечками и морем. Этот заплыв он посвящал ей и двоюродному другу, погибшему на столбе.

Что же это были за уроки, о которых говорил Вьюноша и о которых Не Согрешишь-Не Покаешься сам не мог ничего рассказать?

Это были наития, и самое забавное — им он тоже был обязан какой-нибудь выгланувшей из-за спин учеников мордашке. Эта мордашка не вызывала у него никаких желаний, кроме желания говорить, говорить до запретного откровенно. Он начинал пугать аудиторию безнаказанной свободой определений, и ученики испуганно замирали, не в состоянии объяснить — откуда взялся взрыв такой силы среди привычного затишья, когда Не Согрешишь-Не Покаешься сидел среди них и смотрел потухшими глазами.

Мордашка виновата, она мелькала, и в попытке уловить ее мелькание извлекал он столько неизвестных до сего смыслов, что в этом, казалось, замешано колдовство, да оно и было замешано.

Голубые глаза, капризные губы, глаза черные, губы тоненькие, и почему этот небрежный штрих природы был способен подвинуть Не Согрешишь-Не Покаешься на такую лаву импровизаций, что учеников начинало трясти?

Овладесть вниманием незначительного существа, случайно обнаруженного тобой, употребить все свои знания, собрав в один центр все свои силы, — как это странно и парадоксально устроено в нем. Счастливы те, кто вдохновляется при виде рисунка коры или какого-нибудь художественного воспоминания, его же вдохновение было обязано таким вот непритязательным мордашкам.

«Хотелось бы еще чем-то пронизать жизнь, кроме женщин. Мои догадки зависят от присутствия многих женщин», — думал Не Согрешишь-Не Покаешься.

Если бы они знали о своей роли, то, наверное, возгордились бы или испугались, им достаточно было гораздо меньшего — его внимания или снисхождения при подведении итогов. Но он ставил их куда выше их возможностей или даже собственных его мыслей. Если они были хоть немного красивы, он приписывал их красоту божественному происхождению и благодарил жизнь за встречу. Сколько раз, глядя на старинные портреты красавиц былых времен, страдал он, что не успел быть их современником, чтобы вознаградить за красоту немислимой нечеловеческой любовью!

Ему казалось, что они нуждались в ней, он забывал, что на тех же стенах, здесь же, рядом, были изображены роскошные кавалергарды, хитроумные царедворцы, герои и палачи, и каждая из этих женщин была любима кем-то из них или хотя бы обожаема, казалось, что никто не умел любить, как он. Никто из этих героев не сумел защитить этих женщин от старости и смерти. Разве только художнику, да и то не ему самому, а его таланту была обязана красота этой претензией на бессмертие.

Он так верил, что нет на земле мужчины, способного любить сильнее, чем он, что вера эта передавалась многим женщинам и они готовы были предать ради него своих возлюбленных.

Но, посвящая урок этой, каждый раз новой своей ученице, он понимал, что подвергает ее опасности, потому что вторая половина, мужская, следила за его взглядом, как за указкой, и начинала волочиться за той, на которой взгляд останавливался. Так они понимали его намерения, так хотели быть причастны к нему. Он становился руководством к действию.

Они начинали вычислять: почему сегодня эта, вчера другая? Они искали практический смысл в его взгляде, когда он находил ее лицо.

Они так ничего и не поймут, они так ничего и не поймут, а начнут похотливо пялиться на нее или навальтась всем скопом, чтобы материально представить, о чем думал Не Согрешишь-Не Покаешься, когда смотрел. А думал он совсем не о ней, он просто хотел в своих рассуждениях быть на уровне этого наброска природы, этого приглашения в очень простое и одновременно вконец запутанное путешествие, он хотел импровизацию свою сделать достойной этих, возможно, притворно внимательных глаз, устремленных на него, возможно.

Могла же она задуматься о чем-то своем! Он отвлекал ее от мыслей, безусловно, более важных, чем его собственные, пусть о чем-то косвенном, ерундовом, но происшедшем именно с ней и потому безумно-безумно важным.

Знала ли она, что вниманию остальных к себе была обязана прощальному взгляду своего учителя, потому что все имело свой конец и урок тоже?

Это означало, что она уходила куда-то жить и любить, а Не Согрешишь-Не Покаешься оставался ждать следующего урока.

Но объяснением происходящего оскорбить ее он не решился, он оставил это будущему, когда она сама догадается, кому были предназначены его уроки, когда поймет, что свобода, которой так завидует Вьюноша, рождена под ее взглядом.

Возможно, это будет всего-навсего льстить ей, пусть, она будет взрослеть, взрослеть и упрется в это воспоминание лбом, как в единственное.

Вьюноша помнил камыши, где происходило братание разбойника Кодина и маленького мальчика, спасшего разбойнику жизнь. Но этим мальчиком был не он.

В старой лодке, скрытые от всех камышами, разбойник и мальчик надрезали кисти рук и приложились губами к ранам, чтобы кровью скрепить свое братание. Всю жизнь он нес кровь разбойника на своих губах. Но в тех камышах он не был. Он сидел в кинотеатре и смотрел на экран. Он бы мог придумать такое, но там не был, и это его удручало.

Жизнь отказала ему в опасности, и теперь он искал ее, опережая судьбу. Он презирал Не Согрешишь-Не Покаешься за благополучие, за то, что не сидел в тюрьме, за то, что не убил неверную возлюбленную, за то, что тревожил души своей абсолютно благополучной судьбой.

Он хотел учиться благородству у каторжника Вальжана, а не у этого обойденного настоящей бедой человека. Если биография не дается, ее надо делать, иначе что вспомнят о тебе твои дети?

Тюрьма нужна, чтоб думать о свободе, и, сидя сейчас в турецкой тюрьме, Вьюноша вспоминал, что оставил за ее стенами.

А оставил он Зинку, там, на стадионе, где встретил в последний раз, добродушно оглядывающую матерящиеся трибуны, располневшую после родов и уже утершую слезы после своего очередного вдовства. Зинка улыбалась. Попробовала бы она не улыбаться, он бы задал ей такое! Детство должно улыбаться, а его детство — это она.

Вот уж кому вообще не нужна была судьба, но что-то такое невообразимое вилось вокруг нее, позавидовать можно. Ее любили все разбойники города, то есть все настоящие мужчины, все Кодины, все Вальжаны, все Папийоны. Она была желанна им, и они резали ее мужей без надежды на Зинкину взаимность, но с удовольствием.

Одного, парикмахера, зарезали на его рабочем месте в кресле, заставив поменяться с клиентом местами, другого, баяниста, прибили камнем, когда он аккомпанировал на эстраде танцулькам. Мужья умирали за работой. А Зинка продолжала жить, и, несмотря на опасность, претендентов на ее руку не убавлялось.

А когда главного обидчика ее мужей Гришку Шауташвили в очередной раз прятали в тюрьму и возникал сразу же новый жених, она, улыбаясь и лузгая семечки, всегда честно предупреждала, чем это тому грозит. Но женихи все шли и шли.

С очередной такой жертвой — маленькой, пугливой, озирающейся — и познакомила она Вьюношу на стадионе. А потом, нисколько не смущаясь присутствием жениха, осмотрела Вьюношу и с каким-то особым смаком сказала: «Всякий раз, как я думаю о тебе, мне становится весело».

Нет, конечно, он сделал правильно, не женившись на Зинке: мужчине стыдно быть жертвой. И потом, он совсем не хотел переходить дорогу главному раз-

бойнику города, его однокласснику Гришке Шауташвили, тот столько страдал из-за нее, ему просто должна была улыбнуться удача, и если он жалел о чем, так только о том, что не успел похоронить перед ней за Гришку. Гришка был хороший и относился к Вьюноше с особым почитанием, не подозревая, что именно Вьюношей должен был открыть список своих преступлений. А Зинка, конечно, не выдала, отвечая на все расспросы своей большеротой роскошной улыбкой, в которой неясно чего больше было — лукавства или изумления.

Костюм надо было сшить роскошный.

— Двубортный? — спросил портной.

— Двубортный? — испуганно спросил отец.

— Ну конечно, дву,— ответил Не Согрешишь-Не Покаешься, не имея ни малейшего представления, что это такое.

— С отворотами? — спросил портной.

— С отворотами? — почти в ужасе переспросил отец.

И тут Не Согрешишь-Не Покаешься с полной решительностью ответил:

— Без.

Он шил костюм первый раз и, готовясь к встрече с портным, больше всего боялся показаться некомпетентным.

А там внутри светились овальные зеркала, отражая день за окнами, и мужчины исчезали в кабинках с отрезами, прижатыми к груди, и в руках портного огромная линейка, будто сделанная из дынных корок, и отец смотрит не мигая, и такая ответственность, такая ответственность, и все это обещает костюм, новый костюм, первый, с бесконечными примерками, которые прерывали игру и жизнь.

Все завидовали ему, когда он шел мерить. У ателье его всегда ждал озабоченный отец. Он не был уверен, что Не Согрешишь-Не Покаешься знает, чего хочет.

— Где ты видел такой фасон? — шепотом спрашивал он.— Мама нас убьет.

— Мама тут ни при чем,— говорил Не Согрешишь-Не Покаешься.— Она женщина. А пошив костюма — занятие мужское.

Но лучший, как считалось, закройщик смотрел неодобрительно и другие клиенты насмешливо, он уже начинал сомневаться, но на последней примерке, глядя на себя в зеркало сверкающими глазами, понял, что победил, и вышел из кабины так, что все — портные, клиенты, сам отец — склонили перед ним головы.

Они не догадывались о главном секрете — Не Согрешишь-Не Покаешься знал, что должно понравиться ей.

Незримо она была рядом и оглаживала складки, оглаживала, придирчиво ощупывала ткань, это она подсказала фасон, в который влюбилась раньше, чем познакомилась с Не Согрешишь-Не Покаешься.

Она была опытна ожиданием, как любая женщина. Еще до того, как он узнал, что она существует на свете, в ее воображении уже возник его силуэт с неясными очертаниями лица, лицо могло быть любым, главное, чтобы не отвратительным, и потом — мужчину всегда можно было поставить против солнца, но костюм должен быть безукоризненным, и теперь он шел к ней в новом костюме, как на экзамен, и, увидев его, она отстранилась, постояла так некоторое время неподвижно, чуть-чуть прищурясь, а потом шагнула навстречу.

«Собственно, дело даже не в костюме,— сказал сам себе Не Согрешишь-Не Покаешься,— а в том, чтобы она узнала меня».

Лететь предстояло в Амстердам, встретиться договорились в аэропорту, не виделись до этого год.

Она всегда подозревала, что очередное место их свиданий он выбирает нестальгически, чтобы вспомнить о какой-то прошлой своей любви.

Она боялась, что он захочет сделать ее своим исповедником, и затыкала ему рот при каждой попытке рассказать. Она ошибалась.

Не Согрешишь-Не Покаешься просто хотел заполнить любимое место ею.

Ведь никогда не знаешь, за что любишь, а теперь будешь знать.

— Опять что-то сочинил про нас? — спрашивала она.— Зачем ты меня привез сюда? Только жить мешаешь.

Она гладила его по лицу сверху вниз, как покойника, навсегда прикрывая веки легкими прохладными пальцами.

— Ты смотришь на меня, будто любишь, а откроешь рот — будто и не любишь.

— Это правда, — сказала она.

Но что было правдой, не уточнила.

А если и не любила, а если и не любила? Какое, в сущности, это имеет значение, когда любовь была, и встречи, и можно было спать спокойно, зная, что утром глаза уткнутся в нее!

Светской дамой она оставалась недолго, присматривалась к городу, принималась, а потом начинался великий разбой, она отбрасывала весь такт путешественника и начинала постигать город собой. Их было двое, кому она отдавалась: он и город. Не Согрешишь-Не Покаешься не ревновал, она ничего от него не скрывала.

Она поворачивалась к городу тем самым своим живым разбойничьим цыганским лицом, и начиналось то, что город будет помнить долго и назовет потом ее именем.

Ее было трое, по крайней мере имя ей было — Лес, так он называл ее: «Ты не женщина, ты лес дремучий». И всю жизнь она хотела уморить себя работой, путешествиями, игрой, любовью, это ей не удавалось, сил было много, много надо было выпить, выхототать, вытанцевать, раздарить, разбазарить. Она провоцировала жизнь на опасности, и однажды на окружной дороге, увидев из машины, которую вела подруга, фургон с солдатами, она высунула в окно свою роскошную голую ногу, и разъяренное ее наглостью стадо увеличило скорость, стало преследовать их, а она вертела ногой и хохотала, пока солдаты не вынули из ширинок свои еще более грозные, чем нога, орудия и, потрясая ими в воздухе, стали кричать, чтобы ее машина остановилась. Им удалось удрать тогда, но история эта ничему ее не научила.

Она вела себя как девка, но девкой не была, потому что ни на что не имела никакого расчета, просто тратила силы. И болезни ее были какие-то лошадиные, необыкновенные. То сдвигался позвонок, то воспалялась оболочка коры головного мозга, и она была не способна вспомнить даже о том, как он навестил ее в больнице. Она напрашивалась на беду, напрашивалась, и он никак не мог понять, кто этот смельчак, согласившийся стать ее мужем.

Она была смелей Не Согрешишь-Не Покаешься, лучше, но очень похожа, и если бы у них родился сын — это был бы самый роскошный авантюрист эпохи.

Но жить вместе они не могли, удовлетворялись этими фейерверками свиданий.

Она искала, где же тут, собственно, город, она искала город днем, как опасность, в которой она могла наконец успокоиться, она боялась светской жизни, движения парочкой вдоль улицы, она хотела быть не горожанином, а сразу изгоем, но для этого надо было постичь город, а потом уже вступать с ним в конфликт, она же начинала с конца, вела себя неприлично, будто хотела, чтобы Не Согрешишь-Не Покаешься пожалел о своей затее, и чем больше нахальничала и шумела, тем больше поражала местных, которым было скучно жить и которым нравилась эта красивая женщина, смотревшая прямо в глаза. Она болтала на выдуманном ею языке, но так, что они ее понимали, на блошином рынке она выторговывала за абсолютную мелочь всякую чепуху и тут же дарила ее незнакомым людям, и там, где можно было войти в открытые ворота, она перелезала через забор, заставляя голландцев краснеть и мяться в нерешительности: брать ли с нее штраф?

Они не брали, и она продолжала свое яростное наступление на город до самой ночи. Ночи доставались ему, но после объятий она клала подушку на голову и засыпала так, будто ей отрубили голову. Снились ли ей сны и было ли в тех снах ему место, он не знал, как не знал, снятся ли вообще сны людям с отрубленной головой.

Прсыпалась она тяжело, и бешенство просыпалось вместе с ней, но давало о себе знать только после первой чашки кофе, тогда она начинала торопиться и, зловеще смахнув пряди волос на лицо, спрашивала: «Что, здорово я скомпрометировала тебя вчера, умник? Будешь жалеть, что не зарезал меня двадцать лет назад».

Он проверял свои силы ею и после каждой такой встречи понимал, что сил оставалось мало. Но она не давала ему умереть, а требовала все новых чудес. Она ничего не фотографировала, ничего не хотела оставить на память, понимая, что ее уже и так не забудут все, кто ее встретил, она не смотрела на то, что он показывал, ее интересовала совсем другая даль, что-то свое, она устремлялась сквозь город и притихла только на третий день, когда он привез ее к океану ночью, в те часы, когда вода на километры отходит от берега, и по океанскому дну она пошла в океан, высоко задрав юбку в надежде, что океан все-таки вернется и заберет обе их жизни, а Не Согрешишь-Не Покаешься шел рядом с ней, пока не услышал урчание зверя, остановился и взял ее за руку.

Тут только она сникла и задумалась. Он не знал о чем.

Так они простояли долго.

Потом она сказала: «И вечно я тебя во что-то втягиваю, ты сюда должен был взять совсем другую женщину. Кто у тебя сейчас?»

Ему не хотелось вспоминать, кто у него, он молчал, не в состоянии даже радоваться, что она наконец угомонилась.

На другой день она потребовала, чтобы он отправил ее домой, и, проводив ее, он оставался еще на некоторое время, надо было восстановить разрушенный ею город. Он надевал сандалии, панаму, становился пожилым воспитанным господином и шел оплачивать долги.

Когда это у него началось? Уже скрыты дома его первых возлюбленных и насыпаны их могилы. Многих нет. Умирали они, стараясь его не тревожить рядом с другими.

Одну Не Согрешишь-Не Покаешься полюбил в пять лет, родители были дружны, они оставляли их под присмотром бабушки, знаменитой тем, что была способна выпить двадцать стаканов чая в один присест, а сами уходили куда-то встречать Новый год.

Им оставляли бабушку и елку. Окна флигеля выходили в палисадничек, где на цветной клеенке, покрывавшей обеденный стол, таял снег.

Ближе к двенадцати бабушка благословляла их и отправляла спать по разным комнатам, и, переждав несколько минут, Не Согрешишь-Не Покаешься в пижаме, маленький, дрожащий, отправлялся в первое свое новогоднее, самое волнующее путешествие. Она ждала его в постели, толстая, в рубашечке, с глазами, светящимися любопытством. Кажется, уже тогда она научилась хохотать от опасности, как от щекотки, а он закрывал ей ладошкой рот.

Дразнили они бабушку или уже тогда догадывались о чем-то самом важном, самом значительном? Он не помнил. Помнил, что прижаться друг к другу совсем им что-то мешало, какая-то ложбинка между ними, им нечем было ее пока заполнить.

Бабушка спрашивала из кухни — улеглись ли, и тогда он неслышно убежал в свою комнату, чтобы ответить и тут же вернуться.

Запах своей притихшей возлюбленной он помнил, детский, нечистый, она сохранила этот запах на всю жизнь, он скорее отталкивал, чем возбуждал, но великое множество мужчин шло за ней по следу этого подозрительного запаха.

В восемнадцать лет она лежала на большом камне в море, смуглая, как змея, в черном купальнике, подперев голову рукой, а мальчишки выпрыгивали из воды, предлагали ей полюбоваться своими загорелыми спортивными торсами, прыгали, почему-то визжа, со страшными рожами, выплевывая изо рта воду.

Один только Не Согрешишь-Не Покаешься был спокоен, проплывая мимо, и она, приветствуя, по-королевски помахала ему рукой.

Как хорошо, что не он был причиной ее смерти!

Все принадлежало Не Согрешишь-Не Покаешься, и все он стал терять с недавнего времени, когда понял, что не один в мире и придется делиться.

А делиться ни с кем он не хотел.

Его занимали даже не сами женщины, а то, что связано с ними: интрига, волнение, поцелуи. Целоваться он любил страшно и в день своего рождения всегда праздновал юбилей своего первого поцелуя, случившегося Бог весть когда, через пять дней после его рождения. Перед тем как забрать из родильного дома, его решили перепеленать, убедившись, что он успел испачкаться, и, пока разво-

рачивали пеленки, он, лежа в чем мать родила, мокрый потянулся губами к другому созданию, лежавшему тут же рядом и тоже голому.

Это потом решили, что он искал материнскую грудь, а он искал тугую щечку своей соседки и, несомненно, нашел бы, если бы им не помешали и не различили навек. Он помнил это движение всю жизнь.

Ах, если бы уточнить, что намеревается делать ребенок, многое бы в представлении людей изменилось! Его бы не учили потом всякой чуши, а посадили бы рядом с девочкой и оставили наедине.

Честное слово, им бы не пришлось долго осваивать главные знания об этом мире, дети догадливы.

— Девочки, девочки, косички, бантики,— шептал Не Согрешишь-Не Покаешься, прикасаясь к их волосам.

Разве не были эти слова первой строчкой великой поэмы, так и не написанной им, бессмертной?

В этой поэме было место ожогу, рубцу, может быть, заплывам и совсем не нашлось строчек о той, с кем он прожил много лет, кого любил, кто родил ему двух чудесных детей.

Почему? На этот вопрос он не мог ответить. Не потому, что их любовь расползлась по многим обычным дням, не потому, что им приходилось на другое отвлекаться, не из-за детей и забот, нет, нет, он просто не хотел вспоминать о том, что слишком хорошо для правды.

Он начинал умирать, думая о ней, а умирать преждевременно ему совсем не хотелось. Она, как лекарство, которого он принял слишком много, и теперь оно мстит организму.

Не Согрешишь-Не Покаешься не хотел вспоминать, не умел, не знал, чем вспоминать о том, что между ними было. Пес любит хозяйку, но ошейник души. Конечно, пес готов вернуться, куда он денется, но лучше попасть под машину, перебегая улицу ей навстречу.

А почему это так, он не знал. Он хотел забыть это красивое лицо, прикрывшее его от всех невзгод мира. Все-таки он был недостойный, ничей, Гаврош, подзаборный, неспособный быть благодарным за любовь, которую понимал проще и которая давалась ему часто, как воздух.

Что сказать? Он помнил только сияние, с которым она повернулась, когда он вошел однажды в комнату, и руки, протянутые к нему.

Бог, конечно, есть, но это ничего не меняет.

Красавица стояла у окна поезда «Рим—Венеция», араб с перрона смотрел на окно, Вьюноша из соседнего с красавицей окна — на араба, ему интересно было догадываться, что чувствует восточный человек, когда провожает любимую.

А что арабу беспокойно, ясно было даже непосвященному. Красавице не нравилось так долго стоять, ей просто лень было стоять, она опадала у окна, но она не могла отказать арабу взглянуть на себя при прощании.

Если бы Вьюноша понимал по-арабски, он услышал бы, что говорит араб тощему высокому человеку, не отрывая от красавицы грозного взгляда с привкусом непритворной печали: «Когда друзья верны мне, я делаю для них все, когда предадут, отрубая им руки. Ты понял, Мехсен?»

И показал жестом, что привык отрубать руки выше кисти.

Тощий поцеловал арабу руку и пошел к вагону. Красавица же, не сводя с араба основного взгляда, косвенным заметила Вьюношу и теперь стояла у окна совсем не ради своего господина.

Она была смугла, круглолица, большегруда, в той поре женского цветения, когда многоцветное мягкое платье до пола — лишь досадная кожа, скрывающая влажную прелесть уже созревшего плода. Какой-то лишней капризный локон прикрывал ямку на шее, а покатые гладкие плечи заставляли думать, что араб, отпустивший такую женщину, сумасшедший.

Но он позволил удовлетворить ее каприз — съездить с подругой в Венецию, поручив охраннику сопроводить их.

«Пялся, пялся на нее в последний раз», — подумал Вьюноша.

Красавица стояла и продолжала смотреть на обоих, когда поезд тронулся и араб поднял руку — то ли для прощания, то ли для угрожающего взмаха пер-

стом, только Вьюноша как бы случайно оказался за ее спиной и задержался, чтобы араб на мгновение мог оценить их вместе в раме окна.

Араб оценил, но поезд уже набирал скорость. Охранник пригласил ее в купе. Она отошла, опустив глаза, успев задеть Вьюношу все тем же косвенным взглядом, и только там, в купе, рядом с подружкой, сев в кресло, расхохоталась, испугав охранника такой резкой сменой настроений. Потом начала болтать с подружкой, никакого внимания на охранника не обращая.

Вьюноша занял ее место у окна, соображая, что делать дальше.

Он не Учитель, чтобы уступить свою женщину обстоятельствам, а что женщина эта его, Вьюноша не сомневался.

Он догадался, что она итальянка, но с присущим женщинам даром мимики успела за время жизни с арабом приобрести какой-то шахерезадный оттенок.

«Я расскажу о ней Не Согрешишь-Не Покаешься, и тот мне не поверит, он вообще отрицает удачу в дороге, предпочитает находить все в своем реальном прошлом и тычет, тычет всех нас в прошлое, будто мы забыли там что-то. Если даже там что и было, он нам ничего не оставил, все забрал себе, его надо опережать географически, вот как сейчас, по пути в Венецию, хотя кто знает — не бывал ли он здесь раньше меня?»

Вьюноша знал, что в Венецию нельзя приезжать одному, только с любимой. И проблема не в том, чтобы обмануть охранника, ну обманешь, а как заговорить с ней?

И тогда он запел, сначала негромко, потом освобождая звук, какую-то абракадабру на мнимом румынском языке: «Я тебя люблю аллюдетейро ай лав ю ширефлексес дрибидин я тебя люблю и пола тейро шер будов шер будов шер будов ай кадриштен ю алю де шваро шер будов ай кадриштен драю но шери мач драгучи глаз шери мач драгучи глаз я люблю я люблю я люблю».

Этой песней вооружил их Не Согрешишь-Не Покаешься на все случаи жизни.

Восторг набирал силу, из купе вышли люди и стали ему аплодировать, он улынулся им ослепительно, но она не вышла. Выглянул охранник, из-за его спины подруга. Она же осталась в купе, но Вьюноша знал — ей был понятен язык этой песни и кому она посвящена. Он решил не уходить из коридора, что бы ни случилось, и планы его были поддержаны лавиной студентов из соседнего вагона, ехавших по каким-то льготным студенческим билетам и отказавшихся предъявить их проводнику. Новый проводник оказался терпимей, и студенты расположились вокруг Вьюноши прямо на полу, свалив рядом свои мешки и ранцы, наполнив книгами или чем-то террористическим.

Их девушки были прекрасны и улыбались ему, но экзотическая птица, принадлежащая другому, несмотря на шум, из купе не вылетала.

И тогда он решился на крайний шаг. Подошел к ее купе и, не боясь сорвать все дело, разоблачить себя перед охранником, стал разглядывать ее в упор через стеклянную дверь. Она не повернула к нему лица, читая, но он готов был поклясться, что маленькие ноздри ее задрожали от волнения и смеха, когда она неожиданно резко прикрыла лицо книгой.

Охранник смотрел перед собой, раздумывая, почему в купе внезапно потемнело. Потом догадался и выскочил в коридор.

— Вы что? — спросил он и стал теснить Вьюношу в тамбур.

— Смотрю,— ответил тот весело.

— Но здесь нельзя смотреть.

— Я студент. Мне можно.— И Вьюноша кивнул в сторону коридора, по которому пробраться куда-либо было уже нельзя из-за рюкзаков и студентов.

Охранник осматривал все общество недоверчиво и, не найдя смысла объяснению, толкнул Вьюношу плечом.

— Уходи.

Но тот продолжал смотреть, а студенты, заметив что-то для себя интересное в этой неслучившейся схватке, сразу приняли сторону Вьюноши, загалдели, поднялись с мест и окружили их, заглядывая в купе.

— Какая красавица! — закричал самый толстый и конопатый.— Это твоя любовь? Поздравляем! Ты не мог найти ничего лучше.

Они распахнули дверь и, не дав охраннику опомниться, бесцеремонно, но ласково потянули ее и подругу из купе.

— К нам, синьора, не обижайтесь на своего жениха, синьора, он красив, он всегда останется красив, если вы простите его.

Девушки дали вывести себя из купе, Вьюноша прижался лицом к капризному локоу, охранник бился где-то за стеклянкой дверью, как жук в банке.

— Ты в Венецию? — спросил Вьюноша.

— Да. А ты?

— Я с тобой, — ответил он.

Это было все, что они успели сказать, потому что проводник все-таки раскричался, студенты, подхватив рюкзаки, понеслись в другой вагон, Вьюноша за ними, подталкиваемый проводником, и ввремя, потому что охранник, чертыхаясь, уже доставал пистолет.

В Венецию они приехали ночью, и пораженный, что Венеция — самый обыкновенный вокзал, твердо стоящий на суше, и никакого моря нет, Вьюноша, уже успевший сдружиться со студентами, понятый ими без слов, вышел из вагона и покорно пошел следом за ними, понимая, что где-то впереди или сзади в том же направлении идет она.

Они обогнули вокзал и сразу увидели море. Поезд почти въехал в него, ему оставалось притвориться гондолой, катером, баркасом, чтобы плыть, но поезд предпочел остаться собой и приготовился до утра ночевать под прикрытием вокзала.

А Вьюноша и студенты перед явлением моря, ночи, Венеции вдруг замолчали, стоя кучкой на ржавом причале в ожидании катера. Туман и сырость моря нагоняли сонливость, так что Вьюноша даже забыл про свою любовь, а стоял и прислушивался к тархатению мотора где-то там, в тумане.

Он вообще забыл про свою красавицу и вспомнил только, увидев, что она прикрыла цветное свое оперение огромным оранжевым пончо.

«Это чтобы я всегда мог найти ее», — подумал Вьюноша.

Охранник нервно осматривался, но Вьюношу уже трудно было отличить от студентов.

Они вплыли в Венецию, как скончавшийся в одно и то же время оперный хор вплыл бы в рай неизвестно за какие заслуги, может быть, райское пение.

Молча, зябко ехали они мимо столбов света из воды, которые могли оказаться маяками, и тогда неясно было, куда катеру плыть, но оказались самыми что ни есть обыкновенными домами, в которых спали самые что ни есть обыкновенные венецианцы, и все на катере молчали, чтобы не беспокоить горожан и море.

Вьюноша стоял где-то недалеко от нее, и потому ему было теплей, чем другим. Она приняла его под теплое оранжевое пончо, и он маленькими короткими поцелуями прикасался к ее телу, как когда-то к Зинкиному, а она молчала так же поощряюще и покорно. В Венецию приплыли они мужем и женой.

Вьюноша не знал, куда делись охранник и подруга, когда причалил катер к площади Сан-Винченце, но твердо знал, что араб никого не встретит, придя на вокзал в назначенное время.

— Вы, может быть, мне еще и место уступить собираетесь?

— Пожалуйста, пожалуйста.

Не Согрешишь-Не Покаешься так занят был своими мыслями, что никакого сарказма в вопросе женщины не уловил, уступил ей место, даже не взглянув, и тогда она, растерянно хмыкнув, уселась.

Он ничего не почувствовал, чувствовать было нечего, нечего даже вспоминать, отношения между ними теперь если и возможны, так только на уровне таких вот трамвайно-троллейбусных.

И куда делись страсти, пылающие когда-то в сердцах этих, может быть, впервые вступивших в нормальные отношения людей? Куда вообще все девается?

Выходила она из троллейбуса недовольная им, он же никак не мог связать ее недовольство с собственной жизнью.

Какие-то слова, паузы, сначала страх, потом стыд за страх, за себя перед этой женщиной, а она где-то далеко в огромном кабинете под портретом, за столом, одетая, как нормальная женщина, юбка, блузка, шарфик, причесанная без внимания к своей внешности, и, он это уже знал, всегда проверяющая на нем впечатление от себя, не только номенклатурное.

Беседы их были часты, она любила вызывать его и вразумлять, вразумлять, а он сидел безучастный к ее словам, но разглядывал не без удовольствия. О, как она хотела быть с ним развязной, грубой, вульгарной, но право быть таковой имела, только общественно порицая, политически наставляя, граждански негодуя, и вот она несколько лет пыталась найти против него обвинения, но он так на нее смотрел, что она сбивалась на полпути, ссылаясь на отсутствие времени, и передавала его своим помощникам.

На улицах, тем более в общественном транспорте, встретить тогда он ее не мог, ездила она в служебном автомобиле с шофером, и это было бы нормально, крупный партийный работник, но у него-то, у Не Согрешишь-Не Покаешься, не было автомобиля, чтобы ее догнать, а встреча с ней, к сожалению, была необходима.

— Слушайте, зачем вам эта мастерская? — спросила она. — Неужели вы чувствуете себя вправе учить молодых людей? В вас такая свобода, не побоюсь сказать, даже распушенность, что мне страшно за молодые души, которые так легко разлить.

— Я не пришел вас ни о чем просить, — сказал Не Согрешишь-Не Покаешься. — Вы сами пригласили меня.

— Да, в этот раз сама, — после паузы сказала она. — Сама. Не притворяйтесь, вы, наверное, знаете, что есть мнение дать вам мастерскую, но я хотела последний раз от себя. Я боюсь вас, хотя вы мне нравитесь, честное слово, есть в вас какая-то прямота, что ли, но я взрослая, все выдавшая женщина, руководитель со стажем, а что у ваших подопечных, кроме детства?

— Как вы живете, дорогая?.. — И он назвал ее по имени-отчеству, забытым теперь навсегда. — Как вы живете, дорогая моя?

— Вы о чем? — растерялась она от фамильярности его обращения.

— Ну вообще как муж ваш, дети? У вас, кажется, дочка? Сегодня суббота, мы здесь сидим, а они, наверное, волнуются: почему вас нет так поздно?

— Ничего, — растерянно сказала она. — Не волнуются, они уже приходили, я отправила их в парк, пока мы говорим, погуляют, потом зайдут за мной. А вы хитрый, — сказала она. — Знаете, у меня очень хороший муж и свекровь прекрасная тетка, он ведь меня из Владивостока вытащил, я в горькоме комсомола работала. Они коренные москвичи, и вообще я занята этим городом, будто здесь родилась и никаких других забот не знала, а они ждут меня по вечерам. Свекровь говорит: «Прощыгнешь в одной сорочке из комнаты в комнату, вот и вся невестка».

Тут она спохватилась, что неуместно интимно заговорила с ним, и быстро взглянула, но он молчал, он почему-то представил себе ее во Владивостоке, девчонкой, тоненькой, длинноногой, на берегу океана, к которому она лежит задом, так океан ей надоел, под огромным, как океан, красным солнцем, дремлющей, пока ее подруги бродят вдоль берега в воде, светясь под водой белыми ногами, и иногда орут, сотрясая воздух: «Я раковину нашла, гляди, какую я раковину большущую нашла!»

И поднимают над водой чудовищно большую белую раковину, чтобы она посмотрела.

И она смотрит, перевернувшись на бок и подперев голову рукой, чтобы удобнее было смотреть, она смотрит шурясь, но не кричит, а улыбается тихонечко. Смеяться громко что-то ей и тогда не позволяло.

— Ладно, — сказала она. — В конце концов пусть в нашем районе будет руководить мастерской один беспартийный, почему нельзя?

Он молча соглашается с ней, что, наверное, можно, она встает, произносит все необходимые слова, обещает быть внимательной к тому, что у него делается, желает успеха, и они расстаются навеки.

По дороге он встречает очень симпатичную девочку и большого, может быть, даже громоздко-большого мужчину, неторопливо идущих к зданию, которое он сейчас покинул.

Он понимает, что это муж и дочь идут, чтобы забрать ее домой наконец.

Так что же все-таки принадлежало ему, только ему? Добрать сердцем он уже ничего не мог. Ни одна история не была достойна воспоминаний.

Была огромная, полная событий жизнь, а вспоминать нечего. А он гордился, что прожил ее интересно.

Все сожрала профессия, ничего для него не оставила. Присосалась и забрала все.

Человек живет, сопровождая мир. Собственных воспоминаний у него почти не остается, он даже не мелодия, он аккомпанемент и подчиняется общему необъяснимому ритму. Все-все, что с ним происходит, ярко, занимательно, необязательно. Он мог бы прожить совсем другую жизнь. Он и живет несколькими сразу, но все они ненастоящие.

Талант, если он есть в человеке, живет сам по себе. Ему интересно, талант, он присосался и перехватывает жизнь еще на пути к человеку. И она уплывает куда-то в гигантский или маленький раструб таланта мимо тебя.

О таланте можно было бы написать отдельную книгу, но писать ее не хочется, талант, если он есть, этого не заслуживает. И ты начинаешь думать о других, а что ты о них знаешь, что ты можешь знать о других? И какое твое дело?!

Остается, конечно, природа, но ее лучше всего прихватить с собой живьем, без объяснений. А так...

Зачем кичиться тем, что с тобой не происходило, даже если оно и происходило с тобой?

Вот и остался со звуком трубы в воздухе, будто сердце улетело и там, наверху, лопнуло.

А где же любимые, их ведь было много, очень много?

Все это были женщины, которых он мог бы полюбить. Вот же они улыбаются ему, не видно?

Занимательно прожита жизнь. Вспомнить нечего.

Было еще какое-то латиноамериканское посольство. Не Согрешишь-Не Покаешься посреди зала, оркестрик из студентов, не могущих по бедности вернуться на родину, толстые заносчивые люди в темных очках, способные дать студентам денег на отъезд, беседующие друг с другом под музыку, негр разносит бутербродики, высокий худой посол, его друг, развлекает гостей беседой, ни о ком не забывая, и вдруг по залу идет она, жена посла, и подходит к нему, только к нему, чтобы чокнуться, и, покачнувшись, проливает вино себе на платье, и тогда он в восторге, что она рядом с ним, свой бокал выплескивает на себя.

Они стоят и смеются, а зал недоумевает, а мужчины начинают завидовать, а посол догадывается, и все это под звуки оркестрика, неспособного уехать на родину по бедности.

О, трескучая музыка фольклорного ансамбля! И Не Согрешишь-Не Покаешься понимает, что его не пригласят больше сюда никогда, и он уходит с большим расплывшимся винным пятном на костюме.

Прощай, Мария!

И все, и все?!

— Я встретила твоего ученика,— говорит она.— Он очень мил и назойлив. Он предложил сделать мне ребенка.

— Но ты сказала, что мы способны еще сделать ребенка сами?

— Сказала. Но он ответил, что собирается сделать самого красивого ребенка, похожего на него.

И тогда Не Согрешишь-Не Покаешься идет в соседнюю комнату, где на кровати сидит Вьюноша и размахивает босыми ступнями.

— Ну, что ты творишь? — спрашивает Не Согрешишь-Не Покаешься.— Думаешь, будешь жить вечно?

— Буду,— отвечает Вьюноша.— Буду, назло.



Николай КЛИМОНТОВИЧ

И питается не щами

ИЗ ЦИКЛА «ПОДСТРОЧНИК»

Днем, когда горбоносая усатая учительница географии, наша классная руководительница, объявила моему отцу, что больше терпеть меня в школе не намерена, кончилось мое невесть какое радостное детство и начались счастливые отрочество, юность и университеты. Но не она ли, Алевтина, еще вчера под предлогом производства стенной газеты отзывала меня с урока, чтобы в пустой учительской взерошить мне волосы и поведать, как несправедливы мужчины? У меня уже торчали над углами губ пуки темной поросли, щемило соски; тридцатилетняя старая Алевтина однажды застала меня, созревающего, в закоулке школьной лестницы за вполне географическим занятием, а именно — за проникновением рукою под юбку моей одноклассницы, тоже профессорской дочки, соседки по университетскому дому...

Мне было тринадцать. Географию, кроме девичьей, я не учил, наука не дворянская, контурные карты разрисовывал спустя рукава, да и то лишь потому, должно быть, что некоторые выпуклые очертания неясно волновали меня. Гонял в футбол. Читал под партой «Золотого осла». Отец считал, что у меня обязаны быть способности к математике. И не он один: директор школы, по совместительству преподававший нам алгебру с геометрией, любил во время контрольной встать у меня над плечом и, стуча костяшкой согнутого указательного пальца по моему темени, молвить с искренним сожалением: «Хорошая голова, да не тому человеку досталась». Он же изредка отправлял меня на модные тогда школьные *олимпиады*. Помнится, на одной из них я довольно быстро отгадал какую-то геометрическую задачу об углах падения и отражения, применив прием мысленного продления бильярдного стола, за что получил почетную грамоту. И это вызвало взрыв неподдельного изумления: люди, я убеждался в этом потом так часто, склонны упрощать другие, смежные им, организмы, но зачастую безосновательно непомерно усложнять себя. Я выступал также за школьную команду по шахматам, созданную все тем же энтузиастом-директором, за последней доской, заработав пятый разряд, вскоре упраздненный, что показалось мне не совсем справедливым. Все эти вполне случайные достижения и вводили в заблуждение старших, и вместо заведения для трудновоспитуемых, куда после упомянутой сцены на лестнице не считала чрезмерным определить меня географичка, я оказался, пройдя кое-какое собеседование, в специальной математической школе № 2.

Школа действительно была математической. Это всякий, знающий советскую действительность, сочтет за подвох — и справедливо. Звалась она к тому же *экспериментальной* — эвфемизм для начальства: нельзя же было сказать для *званых*, тем более для *избранных*, поскольку при большевиках не могло быть детей, одаренных по-разному, и имелось в виду, наверное, что в светлом будущем и пролетарским детям, не только профессорским — и дворянским, ежели выжили, — будут преподавать дифференциальное исчисление уже в восьмом

классе. Впрочем, из этого лица не вышло потом ни министра иностранных дел, ни национального поэта, лишь один диссидент, один банкир и один депутат московской Думы, да и тот заведует культурой, предметом призрачным, как неравенство «больше бесконечности».

Впрочем, не вычисление дифференциалов волновало меня тогда, и лишь спустя годы мой отец смирится, что оно всегда меня оставляло равнодушным, а звук трубы «брать интеграл» и вовсе ввергал в оторопь, но — будоражили диковинные уроки словесности, ничем не похожие на те, что получал я прежде, следом за географией — по советскому учебнику, которым я тоже пренебрегал, так что мне не пришлось в своей жизни прочитать ни горькую «Мать», ни подслеповатую «Сталь», ни гладкий «Цемент», а теперь уж, видно, никогда и не придется, а из «Повести о настоящем человеке» меня впечатлило лишь, что безногий Мересьев, ползя по снежному лесу, съел живого ежа, за каковое клеветническое наблюдение мою мать вызывали в школу, — наша учительница начальной школы, дело было в третьем классе, так внимательно канон не читала.

В восьмом классе школы № 2 вёл у нас словесность молодой человек по имени Анатолий Александрович Якобсон. То, что он был очень молод, ему не было тридцати, мне, конечно, тогда было невнятно по разнице наших лет, но его поведение во время урока ужасало и восхищало. Скажем, он был способен запустить в нас ластиком, ежели тот, пройдя мимо цели и отскочив от доски, падал перед его носом на учительский стол. Причем делал это без педагогической истерики, но вполне осознанно и азартно, целясь в лоб отправителю. Мог пожаловаться классу, в котором были и девочки-ханжи офицерского воспитания, что *штаны сползают*. Но прежде другого странна была программа — тем, что, собственно, никакой программы не было.

Вообразите, в конце 60-х в восьмой класс он притаскивал тексты Белля, Бабеля и читал вслух: «*Ее груди шевелились, как животное в мешке*», — искандеровского *козлотура*, «Случай на станции Кречетовка», что-то еще новомирское, «Устрицы» Чехова и 56-й сонет, любимого нами тогда Олешу терпеть не мог. Он читал вслух «Кошку под дождем» (что подвигло меня позже на долгое вдохновенное хемингуэйничанье, но эти опыты навсегда, кажется, осели в анналах НКВД; здесь сносок: справедливости ради скажу, что на волне демократии 91-го года ОНИ мне предлагали прийти и забрать архив, но Я предложил ИМ привезти и положить что взяли — где взяли, на чем переговоры иссякли), вопрошал желающих выговориться по поводу прочитанного, а затем сам произносил бурную, порывистую речь — о подтексте, тексте (о контексте тогда еще не говорили), Джойсе, Фицджеральде, Ахматовой, Серебряном веке и Блоке, Блоке, Блоке... Он мог поделиться с нами, четырнадцати лет от роду, что Маршак — детский поэт — классик, *ты с ума сошла, коза, бьешь десяткою туза*, — но что Маршак-переводчик — *полное говно*, что «раннего Пастернака я люблю невозможно, но позднего еще больше, поверх невозможного» (мне, кстати, это казалось тогда лишь фигурой речи, а нынче я думаю, что к смерти Пастернак и вправду нашел больше, чем потерял). Соответственно он вопрошал нас, что мы думаем, коли сравниваем строки:

Но как тебя покинуть, милый друг?

И:

Измучен всем, не стал бы жить и дня,

Да другу будет плохо без меня,—

и так стонал и рычал, что и без подсказок было ясно, что чему следует предпочесть.

Он плевался и обзывался, утверждая, что друг всех советских мастурбирующих пионеров Есенин бывал пошляком (*скольким ты садилась на колени, а теперь сидишь ВОТ у меня*), но тут же противоречил сам себе, предваряя, что строки, которые он сейчас прочтет, не хуже знаменитых русских ямбов, не слабее *все перепуталось, и некому сказать*, и даже, что, конечно, невероятно, *мой дядя самых честных правил*, и на уровне *вошла ты резкая, как «натё»*, и даже, может быть, *и ваши кудри золотисты на пышных склонах белых плеч*, и не хуже *и звездный ход я примечаю, и слышу, как растет трава*:

Напылили кругом, НАКОПЫТИЛИ,
И умчались под дьявольский свист.
А теперь ВОТ в лесной обители
Даже слышно, как падает лист,—

и здесь ВОТ считалось к месту.

Блок же сыпался и трусился без перерывов, как и Ахматова, как *за возом бегущий дождь соломин*, как бесконечные вагоны, идущие *дрожащей линией*; Цветаева шла не таким сортом, но все-таки:

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,
И все равно, и все едино,
Но если у дороги куст
Встает, особенно рябина...

И, кажется, не напиши Марина Ивановна этого обрыва, захлеба, не было б ее вовсе в якобсоновском ассортименте.

Впрочем, меня отвадил от амазонистой Цветаевой не он, но собственная бабушка. Однажды она подозрительно спросила: «Что это ты все повторяешь «Цветаева, Цветаева», не та ли это самая?» Я остолбенел и зажмурился. «Как же,— сказала бабушка,— однажды я была у нее в Борисо-Глебском. С Вахтанговым, кажется, но уже после переворота. Она все обнимала свою подружку-заморыша, долго орала дурные стихи дурным голосом, а потом повела меня наверх, в детскую. Дети были такие неухоженные...— Бабушку брезгливо перевернуло.— Неужели теперь она прославилась?»

Якобсон задавал нам сочинения на тему из разрядки РОНО (сами отгадайте, раскрасьте и найдите охотника) «Моя любимая книга», и на сочинении вашего покорного слуги, посвященном Эдгару По, начертал: «Будет писать»,— так мои родители с ним и подружились — и дружили и я, и они вплоть до его отъезда. Окрыленный, я накатал ему еще пару опусов: о «Мусорном ветре» Платонова и о «Смерти пионерки» Багрицкого. Первое он заставил меня переписать, не исправить, а перлюстрировать, и потащил тетрадку, гордясь ученичком, скульптору Федоту Сучкову, автору предисловия первого оттепельного платоновского избранного, — с ним, с Сучковым, мне еще предстояло познакомиться. А за второе дал такую нахлобучку, что я засек урок на носу на всю жизнь.

Дело в том, что слово *пионерка* было и в нашей школе, и в моей среде однозначно ругательным. А коли так, то и поэма была — дерьмо, и над ней следовало потешаться (кстати, ирония и *стёб* были непременно тогда, хоть второе слово и возникло позже, обязательны, как всякий нигилизм созревания и поллюций, и я с некоторым изумлением смотрю на нынешних тридцати — сорокалетних мужчин, с упоением предающихся этим приятным, как почитать газету в ванне и выпить с утра коньяка, занятиям, которым мы отдали должное в свое время, будучи вдвое моложе, но это в скобках). И дерьмо был автор, если следовать логике тогдашнего моего сочинения, хоть втайне я любил:

И звезды обрызгали кучу наживы,
Коньяк, чулки и презервативы...—

думаю, за последнее, тогда совсем нешкольное словцо, но и за романтический напор, конечно.

Итак, я получил бурный нагоняй. Мне было — раз и навсегда — сказано, что поэзия внеидеологична, как дождь: или идет, или нет. И мне до сих пор стыдно, что в четырнадцать, когда Александр Сергеевич уж сокрушал старика Державина, я не понимал таких простых вещей, стремясь бежать впереди паровоза по пути либеральных ниспровержений. Впрочем, если это меня реабилитирует, сознаюсь, что и до сих пор, хандря, нет-нет да поймаю себя на том, что бормочу под нос:

Пусть звучат постылые, пошлые слова:
Не погибла молодость, молодость жива,

(и здесь не обошлось без Гумилева, конечно...)

Но главного о нем, о Тоше, ни я, ни мои соученики тогда, конечно, не знали. Эта его тайная для школы жизнь была, однако, продолжением явной, литературной и педагогической, а именно — он был, что потом назвалось, *правоза-*

щитником, причем из первых. Начал он с того, что публично выступил в защиту Юлия Даниэля, своего друга и коллеги по так называемому Комитету переводчиков, едва того арестовали. Закончил же Якобсон редактированием подпольной «Хроники текущих событий» и вынужденной эмиграцией.

Здесь важен, как говорят записные мемуаристы, *запах эпохи*. Точнее, представление о том, как жила узкая прослойка столичной фрондирующей интеллигенции конца 60-х: диссиденты и сочувствующие им, тогда же получившие кличку *диссида*. Вот хоть легкий пример, чтобы вы вошли в атмосферу тех лет и тех буден — определенного круга. Когда своему девятилетнему сыну Саше, пребывавшему в пионерском лагере, Якобсон сообщил, что скоро заберет его и они поедут на Урал к его другу, диссиденту Константину Бабицкому, отбывавшему там ссылку за участие в демонстрации протеста на Красной площади после ввода советских танков в Прагу в 68-м, ребенок написал в ответном письме: «Ура, ура, ссылка лучше, чем лагерь». Или вот еще: у моего отца, человека вообще-то довольно замкнутого, был-таки многолетний товарищ, его коллега-физик со времен еще университетской аспирантуры по фамилии С. В отличие от отца он был деятелен, партиен, ездил в Америку на стажировку, откуда привез отцу в подарок фотоальбом со многими изможденными ню, сильно меня волновавшими, и с прекрасными изображениями нобелевского уже Пастернака на переделькинской даче (мрачный поэт в саду, мрачный поэт саморучно застилает свою солдатскую койку в кабинете и т. д.), альбом, кстати, по тем временам весьма крамольный. Дружили семьями, вместе отдыхали на юге, мужчины играли в шахматы, моя мать и жена С., престолярная толстушка, недолюбливая друг друга, толковали о детях и варенье. И вот в один прекрасный день выяснилось, что этот самый С. заделался парторгом в своем физическом институте — пост, кстати, тогда весьма высокий, почти директорский. Он был заван в гости, и моя мать закатала ему грандиозный скандал с поминанием 37-го и предьявлением преступлений большевиков, приводя в пример судьбы обоих моих дедов. Отец, не только что не партийный, но всегда отказывавшийся от каких-либо должностей, мрачно молчал. С. был изгнан из дома навсегда.

Изгнан из школы был и Якобсон, когда я перешел в десятый, по схожим причинам: он ведь тоже в некотором смысле подвизался парторгом. Ибо на конец 60-х и пришелся расцвет его правозащитной деятельности. Мне, пятнадцатилетнему, уже были внятны такие истины, внушенные им: после обыска надо проветривать помещение (так Якобсон напутствовал кагэбэшников, когда они, наконец, выметались с мешками награбленного из его квартиры: мол, пора, а то у вас ноги пахнут); когда даешь кому-то почитать что-нибудь собственное рукописное — срезай верх первой страницы с именем; осторожничай в телефонных разговорах; не читай самиздат в транспорте; на допросе как можно чаще говори «не помню» и «не знаю», коли нет сил вообще молчать, и никогда не называй ни одного имени. Ну и так далее. Но самым главным уроком было то, что нет пуще злодеев, чем коммунисты, ничего более уродливого, чем советская власть, и никого презреннее и неприкасаемое, чем сотрудники КГБ и их пособники-*стукачи*.

Этот нехитрый ригоризм я исповедовал со всей страстью ранней зеленой юности. В этой диссидентской интеллигентской религии, в храме которой я смолodu оказался, был кодекс чести и жертвенности, хорошо был прописан дьявол, но не было онтологии, а значит — увы — не было Бога, как, впрочем, и в любом пылающем и парящем над повседневной живой жизнью революционерстве. Если говорить на политическом языке, то в этой, духовно пестрой, среде доминировали социал-демократические идеалы, то бишь коммунистический ревизионизм, в котором так рьяно обвинял тогдашнюю КПСС председатель Мао, будто предвидевший неминуемый приход Горбачева.

У нас в доме не переводился литературный самиздат, вообще говоря, относительно невинный: рукописные поздние стихи Волошина, «Воронежские тетради», «Реквием», «Все течет», «Котлован», чуть позже потек тамиздат: русскоязычный Набоков, Ходасевич, «Железная женщина». Бывали и забавные рари-

теты: скажем, повесть Кузнецова «Бабий яр», опубликованную в «Юности», я читал по рукописному экземпляру, подаренному автором Солженицыну, причем в ней были аккуратнейшим образом разноцветными карандашами помечены цензурные купюры: всякий цвет на всякий запрет — красным «про евреев», синим — «о партии» и т. п. (и сейчас зачем-то помню, что название одной из главок «Грابتь хорошо, но надо уметь» цензурой было исправлено на «Воровать надо уметь», — глупость, конечно, помнить подобный вздор). Но все чаще появлялись и действительно опасные по тем временам вещи, которые шли чуть не по разряду революционных прокламаций: «Меморандум» Сахарова, «В круге первом» и «Письмо вождям», правозащитные статьи Чалидзе, первая книга Марченко и — самый смертный криминал — отгиски «Хроники», которую зачитывали по глушащейся «Свободе», причем Якобсон, конечно же, ничего о своем авторстве не говорил, но между строк это маячило: в подпитии он излагал за столом то, что в следующем номере только должно было появиться. Моя мать при молчаливом попустительстве аполитичного отца регулярно платила дань — «семьям заключенных». Я изредка перестукивал на машинке по поручению Тоши те или иные текстички, что, кстати, было вопиющей неосторожностью: на обысках машинки забирали именно с целью идентификации шрифта. Короче, семейство наше было — из *сочувствующих движению*, несколько даже и рисковало (именно тогда отца перестали выпускать за границу на конференции и мариновали лет десять; кажется, телефон — слушали, даже университетскую научную корреспонденцию утаскивали в партком и вскрывали). Замечу, что в естественно-научной среде это была в той или иной мере распространенная форма фрондерства, такая позиция пассивного сопротивления, считалось, приличествовала всякому *порядочному человеку*. Что, впрочем, не помешало *ни одному* ученому и неученому — кроме физика Левина и лирика Ахмадулиной — *ни единым словом* протеста не вступить за Сахарова, когда тот был сослан под надзор в Горький. Но я забегаю вперед, на дворе — лишь шестидесятые.

Якобсон появлялся у нас раз в неделю-две. К его приходу неизменно бывала приготовлена бутылка коньяка, которую он — при слабом содействии отца — за вечер и высасывал. Развлекал он семейство, конечно, сплетнями о том, как тот или иной вел себя на допросе, у кого был обыск и что он сам сказал *топту-ну*, когда тот неосторожно наступил ему на пятку, — и все это я с жадностью впитывал. Свойство памяти — помнить пустяки. Почему-то всплыло сейчас, как Тоша с возмущением рассказывал: топтун, оказавшийся с ним в лифте, сначала растерялся, а потом нагло обронил: да что же вы всегда такой грязный! «Ложь, — возмущался Тоша, — я каждое утро моюсь, как утка». Именно это *как утка* я почему-то и запомнил...

Здесь требуется еще одно пояснение. Диссидентская жизнь тех лет напоминала опасный и веселый карнавал. Скажем, когда становилось известно, что у кого-то из этого круга идет обыск, то все заединички мигом подхватывались и слетались на квартиру терпящего бедствие, всячески мешаясь под ногами обыскивающих и над ними изгаляясь. При том, что в столице совершались время от времени посадки — и на нешуточные сроки, — КГБ бояться было не принято. В кодекс поведения входили своеобразный шик презрения к властям и всяческая бравада. Конечно, все это было в вопиющем контрасте с истинно паническим ужасом перед КГБ законопослушных обывателей: один вызов на Лубянку в качестве свидетеля представлялся обычному советскому служащему вселенской катастрофой. Так что, повторюсь, речь идет о горстке, так сказать, диссидентов-профессионалов и их окружении: таких, может быть, было тысячи три-четыре на круг в многомиллионных Москве и Ленинграде, но они-то и делали погоду в комментариях западных радиостанций о положении дел в России. Бытовая атмосфера в этом кругу тоже была как бы вечно праздничная: толком, конечно, никто из тех, кого еще не выгнали с работы, все равно не работал, много пили, *моральный облик* диссидентов тех лет всюду муссировался КГБ, а сама атмосфера замечательно воспроизведена в романе Владимира Кормера «Наслед-

ство» и еще в нескольких, так сказать, «бесах» — скажем, в романе о Даниэле какой-то его пассив «К вольной воле заповедные пути» (кстати, роман, за который самого Даниэля посадили, «Говорит Москва», начинается со сцены дачной групповой любви молодой интеллигентской фрондирующей компании конца 50-х, и как здесь не вспомнить социалистические фаланстеры, ирония над которыми некогда стоила репутации Лескову). Тоша принадлежал к звездам первой величины этого круга — сразу следом за Сахаровым, Щеранским и Буковским, наравне с Турчиным, Орловым, Ларисой Богораз, Юрием Айхенвальдом (я привожу лишь имена тех, кто в те годы не сидел). Помню, однажды он ввалился к нам уже вполпьяна и возбужденно стал рассказывать, что «поднимается уже и учащаяся молодежь», что вчера на концерте во Дворце съездов какая-то девчонка-десятиклассница разбросала с балкона антисоветские листовки, и много позже я сообразил, что это была не кто иная, как Новодворская.

Но отнюдь не только диссидентскими байками пробавлялся Тоша, выпивая коньяк в нашем доме. Он декламировал Давида Самойлова, с которым водил близкую и доверительную дружбу, и не опубликованный тогда стих «Пестель, Поэт и Анна» — кстати, именно на диссидентскую тему, о соотношении фанатизма и жизни, — я услышал впервые из его уст; он шарил наизусть всю Марию Петровых, восхищенно цитировал переводы Гелескула из Лорки (*и ветер серые руки сомкнул на девичьем стане*), любил вспоминать Горбаневскую, посаженную в психушку за демонстрацию на Красной площади в год Чехословакии:

Шарманка, пой, шарманка, вой,
Шарманка — в пропасть головой,
Ах, в заколоченном саду
Поет шарманка раз в году...

Однажды он принес только что вышедший том с «Житием» протопопа Аввакума и принялся читать вслух; дойдя до знаменитого разговора протопопа с матушкой по пешему сибирскому пути на поселение, он стал хлюпать носом — бутылка была уж пуста, — а потом не выдержал и разрыдался.

Я обожал его. Все его неврастенические «артистизмы» числил по разряду очаровательных чудачеств гения. Еще бы, он знал все на свете из того, что стоило знать, и поощрял мои литературные опыты; он был смел, а на стене в его квартире в беспросветном Зюзине красовалась фотография Анны Андреевны, снятой на пленэре, с ее автографом наискось «Тоше Якобсону — под вязами» (не знаю, отчего *под вязами*, наверное, то был намек, понятный только Тоше, но факт оставался фактом: помимо четырех ленинградских «ахматовских мальчиков» были «мальчики» и московские, и Тоша состоял некогда одним из них). Помню, я был невероятно польщен, когда он поднес мне томик Верлена со своими переводами и с надписью «Колле Климонтовичу от его читателя», — эта книжечка и сейчас у меня на полке. Как-то мои родители подарили ему в день рождения байковую пижаму. Боже, как он дурачился и кокетничал, тут же и примерив ее, заявил, что такого выходного костюма у него отродясь не было и что в этой-то пижаме-то он и отправится прямо от нас на вечеринку к Арсению Тарковскому, куда в этот вечер был зван. И отправился, завернув наряд, в котором пришел, в газету, — и от этих штучек сердце мое обмирало, как у барышни.

Надо сказать, что и Валентин Турчин, напрямую связанный с Сахаровым, и Айхенвальд, в доме которого, в свою очередь, я видел и Якира, и Есенина-Вольпина, и Асаркана, и Наума Коржавина (*лучше один микро-Мандельштам, чем много макро-Манделей*, не беззлобно острил Тоша, а я так почитаю его талант; Мандель — настоящая фамилия Наума), пел нелицеприятные для властей песенки опальный Юлий Ким, — тоже бывали у нас, но по неясным мне тогда причинам никогда не одновременно с Тошей. Сейчас я понимаю, что диссиденты первого ряда чувствовали себя в те годы на общественной сцене примами, а попробуйте-ка направить объектив камеры одновременно на двух звезд, сидящих рядом хоть в курилке на студии, — одна непременно тут же спорхнет и прыснет в сторону.

Никогда Тоша не приводил к нам и свою жену Майю. Между тем это была легендарная женщина, арестованная со школьной скамьи и сидевшая в знаменитой взбунтовавшейся женской зоне, раздавленной танками, о чем написано у

Гроссмана; Тоша, ее одноклассник, дал обет дожидаться ее освобождения и дождался, так что брак этот был в некотором смысле революционерский, — они разошлись сразу же, как ступили на землю обетованную. Но все-таки однажды по случаю, кажется, одного из родительских дней рождения он пришел с Майей. Конечно же, за столом, как обычно, он премьерничал, она поджимала до поры губы, но не выдержала и одернула его: «Помолчи же, Тоша, дай другим слово сказать». Он обиженно поперхнулся, взвился было, но общий стол — не место для сцен, и, ссутулившись, он отправился на балкон, где стал нервно прикуривать одну сигарету за другой. И для меня стало откровением, что есть на свете человек, для которого Тоша был не кумиром, но лишь болтуном, хоть я и знал уж наполеоновскую сентенцию: для камердинера нет великого человека.

Года через три последовал и еще один толчок, который несколько охладил мою к нему любовь. В один прекрасный день я с гордостью сообщил ему, что исключен из университета. В каком-то смысле это был результат его же выучки: я вел себя на его манер не просто независимо — вызывающе, толкался по общезжитиям у иностранных стажеров, среди которых — тогда я не мог бы поверить, любой иностранец был для нас единомышленник в борьбе против коммунизма за светлый западный путь — было немало стукачей, и произносил свободолоубивые речи; я подбивал сокурсников отправить поздравительную телеграмму еще не высланному тогда Солженицыну, а на семинарах по марксистской философии запузыривал какие-то немыслимые доклады об избирательности «революционной морали», противоположной христианской, приводя литературные примеры — хоть из Лавренева. Короче, я мальчишествовал — на его же манер. Однако учитель отнюдь не восхитился, даже не посочувствовал мне, но обронил холодное: «Выгнали, ну и дурак». Более всего обидно было, что, увы, это являлось беспримесной правдой, и никакие ссылки на происки КГБ — кстати, они имели место, много позже на Лубянке во время допроса один из следователей обронил: «Вы у нас под колпаком с девятнадцати лет» — здесь не оправдание. Но «дураком» был и сам Тоша, вместо того, чтобы переводить верленов, все гнавший диссидентскую волну и перший без удержу на баррикады: я думаю теперь, что у него был комплекс — перед друзьями, а еще пуще перед женой, — так скажем, *непосадки*.

Не знаю, кто уж там, в КГБ, оказался таким изошренным психоаналитиком, однако Тошу упорно не сажали. Вокруг все авторы «Хроники» к 72-му уж давно крепко сидели, а этот напрашивался больше всех, но гулял на свободе. В этом и был, наверное, расчет *конторы* — *Галины Борисовны*, как это тогда называлось, — его мариновать. *Они*, отлично изучив хроническую интеллигентскую паранойю и бабскую глупость, могли точно знать, что рано или поздно у Тоши за спиной завьется шепоток: коли он всё на воле, уж не *стукач* ли он? Сейчас трудно представить весь ужас положения того, о ком так заспинно шепчутся: это случай славянина-брюнета, которого молва числит евреем, — чем больше оправдывается, тем крепче уверенность окружающих. Хождение к обедне уже мало кого переубедит, и, сядь Тоша тогда в лагерь, кто знает, не пустила бы *Галя Борисовна* инспирированный ею же убийственный слухок и туда.

Для Тоши же все это оказалось истинно убийственным: припертый к стенке КГБ, он согласился эмигрировать. На его проводах все в той же утлой квартирке с двумя смежными комнатками в Зюзине пел Галич, демоничничал пьяный Вадик Делоне, стенали диссидентские подруги и пассии, расхватаывали книги — и рушился его многолетний мир (даже моего производства фотографии, копии с портретов наших кумиров, прикнопленные на стене, и те расхватали). Двое бывших учеников преподнесли граненый стакан с гравировкой: «Говорят, что в дальних странах не найти нигде стакана». Однако Тоша был трезв, страшно печален, глядел пассажиром тонущего «Титаника». Я многократно соучаствовал в подобном отъездном обряде, но такого собачьего отчаяния брошенности не видел в глазах ни у одного *отъезжанта*. Прибыв в Израиль, Тоша вдруг с отчаяния, не иначе, вспомнил о своем еврействе, о котором никогда думать не думал, и в США ехать отказался — он на первых порах отправился работать

грузчиком на мельницу. По-видимому, это было воспоминанием о первых послестуденческих годах, когда его во времена «борьбы с космополитами» не брали на работу школьным учителем и он подрабатывал по-студенчески в Южном порту. Вскоре он засветился: принял участие в забастовке на стороне арабских грузчиков против еврея-нанимателя. Тем не менее его взяли ассистентом на кафедру славистики Иерусалимского университета. Но все продолжало сыпаться: он разошелся с женой, сын вдруг заделался израильским правым; Тоша женился на девочке-еврейке, эмигрантке из Ленинграда моих лет, завел датского дога и повесился в подвале своего дома жарким летним днем. Нашел его тело дог...

В 90-м в Вашингтоне в доме Елены Якобсон, невестки знаменитого филолога и Тошиного однофамильца, я познакомился с писательницей Руфью Зерновой, женой Сермана, известного сидельца, но тогда уже иерусалимского профессора. И спросил ее о Тоше. «Бедный мальчик», — только и вздохнула она. А я лишний раз вспомнил, что с Тошей меня связывало. Это он научил меня перед первой утренней затяжкой непременно выпить глоток жидкости — хоть воды; и опохмеляться аспирином с крепким чаем; и прелестной свободе русского синтаксиса. И прежде другого я вспоминал его книгу о Блоке, о «Двенадцати», названную им «Конец трагедии», изданную в издательстве им. Чехова еще во время его пребывания на родине, мудрость которой портила политика — Тоша и здесь не мог скрыть своей истинной, будто был эмигрантом первой волны, даже не брезгливости, но горячий, как сковородка, ненависти к большевикам. Писал он почти что на моих глазах: как-то объявил, что на месяц съезжает из Москвы и чтобы его не искали (позже мне пришлось вычитывать экземпляры первой перепечатки). Он устроился в каком-то знакомом ему сарайчике недалеко от города и сочинил за двадцать дней около пятисот страниц, материалы, конечно, у него были готовы. Он запретил кому бы то ни было приближаться. За стеной оказался крольчатник, и только кролики скрашивали его вдохновенное одиночество. В редкие минуты досуга он посвящал этим милым животным стихи. Позже он декламировал эти вирши с удовольствием. Помню лишь, что *кролик* — *он не человек*, так начинался этот ушастый цикл. А заканчивался:

И питается не щами,
Но сырыми овощами.

Сам он тоже питался — не щами. Светлая ему память.

Звенигород, август 1998



Юрий БУРТИН

Три Ленина

НЭП В СВЕТЕ ТЕОРИИ КОНВЕРГЕНЦИИ

Период нэпа — едва ли не самый сложный из всех периодов советской истории. В то же время именно он наиболее значим для нас сегодня — хотя бы потому, что при обсуждении катастрофических итогов последнего десятилетия мы то и дело примериваем на себя новейший китайский опыт, а ведь он — типологически — почти точный слепок с нэпа. И это как раз такой исторический материал, применительно к которому использование теории конвергенции (с той «достройкой» ее и с тем понятийным аппаратом, что предложены в предыдущей статье цикла — «Октябрь», 1998, № 1) способно, на мой взгляд, дать значительный и нетривиальный эффект. Разумеется, в политическом словаре 20-х годов не существовало не только термина «конвергенция», но и самого понятия взаимосближения капитализма и социализма, тем не менее, как увидим, нэп, по существу, был не чем иным, как достаточно последовательно проведенной (правда, лишь в экономической и отчасти социальной сфере) практикой такого взаимосближения.

Это первый аспект нашей темы. Второй — Ленин. Невозможно всерьез толковать о нэпе, не всмотревшись в ход мыслей его автора, не осмыслив то новое, что принес период нэпа в облик Ленина — не только в его практические действия политика, организатора, но и в самые основы его мировоззрения.

Говорить в таком плане об этом человеке сейчас не принято — ни среди тех, кто подобно Г. Зюганову или В. Анпилову отдает ему дань ритуального славословия, ни в среде пропагандистов нынешней официальной идеологии: тут при упоминаниях о Ленине, по преимуществу, впрочем, беглых, господствует осудительный или иронический тон, ясно показывающий, насколько выше данного исторического лица ставит себя говорящий. Особенно забавно бывает наблюдать, как люди типа А. Н. Яковлева или А. Ципко, еще недавно усердно обслуживавшие ленинский культ и на том сделавшие карьеру, не моргнув глазом продолжают строить ее на развенчании поверженного кумира.

Голосов какого-то иного плана почти не слышно. Поэтому нам потребуется в известной мере пойти против течения — не из чувства противоречия, а просто потому, что взгляд на Ленина с точки зрения теории конвергенции позволяет увидеть его в существенно новом ракурсе. Правда, новизна эта не абсолютна: есть предшественники, хотя и не очень многочисленные, но и в сравнении с ними некоторые ударения проставлены сильнее, разграничительные линии, прежде более или менее размытые, прочерчены резче.

Впрочем, об этом судить читателю.

1

О новой экономической политике, проводившейся в РСФСР — СССР в 1921—1928 годах, написаны тысячи страниц — как современниками нэпа, так и людьми, рассматривавшими его с большего или меньшего отдаления: отечественными и зарубежными историками, экономистами, социологами, публицистами (обширную библиографию литературы вопроса можно найти, например, в книгах американского историка Стивена Козна «Бухарин», М., 1992, и «Переосмысливая советский опыт», 1986). Стимулированное последующими попытками рыночных реформ в 9. «Октябрь» № 12

СССР и других социалистических странах, конкретно-историческое исследование нэпа сравнительно полно охватило различные его грани и ипостаси: историю введения, осуществления и свертывания новой политики, хозяйственный механизм эпохи нэпа и его эволюцию, развитие самого народного хозяйства, тогдашние политические (прежде всего внутрипартийные), социальные, демографические и культурные процессы, а также отражение всего этого в литературе и искусстве. Ни повторять сказанное, ни стараться в фактическом плане что-либо к нему прибавить совершенно не входит в мою задачу, которую я понимаю исключительно как попытку новой интерпретации хорошо известного. Речь пойдет о том, что такое период нэпа, если взять его в целом, каково его общее социально-историческое содержание и значение.

Существуют три основных ответа на этот вопрос.

Согласно первому, безраздельно господствовавшему в советской исторической литературе, нэп представлял собою один из этапов строительства социализма в СССР. Вынужденный особыми обстоятельствами, сложившимися по окончании гражданской войны, и отличавшийся значительным своеобразием, он при всех издержках, с ним связанных, сыграл в целом полезную роль, дав стране возможность залечить раны, нанесенные войной, и подготовиться к новому, решающему этапу социалистической стройки. К концу 20-х годов значение нэпа оказалось исчерпанным, вследствие чего он и сошел со сцены, уступив место периоду индустриализации и коллективизации. Второй ответ можно определить как «сменовеховский»: нэп — своего рода эпоха Реставрации; наткнувшись на непреодолимые препятствия, большевистская революция покатила вспять. Правда, не докатилась: исторически позитивный процесс возврата был оборван Сталиным.

Третий ответ, предлагавшийся рядом западных исследователей, сводился к тому, что нэп надо рассматривать как особую, рыночную модель социализма, обладавшую рядом достоинств, но не сумевшую справиться с присущими ей противоречиями, почему ей и пришлось уступить место государственному социализму сталинского образца.

В каждом из этих ответов есть, мне думается, своя доля истины, но, увы, не более чем доля.

Первый нехорош уже тем, что заглаживает и выпрямляет ход исторического процесса, преуменьшает коренную противоположность сталинской и нэповской экономики, игнорирует «взрывной» характер как рождения нэпа, так и его пресечения. Второй ответ имел право на существование лишь в пору «отступления», то есть при переходе от «военного коммунизма» к нэпу; на протяжении последующей, большей части периода о нем уже можно было не вспоминать. Наконец, третий ответ, наиболее убедительный, имеет тот коренной недостаток (свойственный, впрочем, и первому ответу тоже), что оставляет невьясненным, модель КАКОГО социализма в этом случае имеется в виду. Ведь, как доказывалось в предыдущей статье, «социализма вообще» не существует в природе, разница же между конвергентным и доконвергентным социализмом настолько глубока, что без такого добавления выражение «модель социализма» лишается смысла.

Невозможность выбрать между указанными точками зрения заставила автора этих строк искать свою, кардинально от них отличную и вместе с тем способную сочетать в себе их «рациональные зерна». Забегая вперед, скажу свое мнение сразу: своеобразие нэпа в том, что, будучи продуктом доконвергентной эпохи, он вместе с тем явился первым в истории человечества масштабным опытом общественного устройства, базирующегося на принципе конвергенции. Говоря еще конкретнее, я рассматриваю нэп как социализм смешанного, доконвергентно-конвергентного типа. (Сознаю неудобоваримость эпитета, но не вижу, чем его можно заменить, не посягая терминологической точностью. Впрочем, миримся же мы, например, с «выпукло-вогнутой» линзой.) Наличие этого особого, третьего типа социализма, качественно отличного как от доконвергентного (скажем, в СССР с 1930-го до 1991 года), так и от конвергентного социализма (в современных развитых демократиях), — еще одно проявление многообразия исторического процесса, еще одно поучительное подтверждение его вероятностного, альтернативного характера.

Чтобы составить себе более ясное представление об интересующем нас обществе-кентавре, лучше всего сопоставить нэп с его прямым предшественником — периодом «военного коммунизма». Их взаимоотношения характеризуются броса-

ющейся в глаза двойственностью: сочетанием полной преемственности и резкого взаимоотношительности; с одной стороны, почти тождество, с другой — диаметрально противоположность.

Вся политическая система, как она сформировалась после октября 1917 года, за весьма небольшими исключениями, сохранилась и в годы нэпа. Однопартийность, обеспеченная пресечением деятельности всех других, в том числе социалистических, партий, репрессиями в отношении их руководителей и рядовых членов, закрытием всех небольшевистских газет и журналов. Полное господство партии над государством, а исполнительной власти над законодательной и судебной. Фактическое отсутствие всех демократических свобод, включая свободу слова, пересечения границы, забастовок, вероисповедания и прочих, неравное избирательное право для рабочих и крестьян и поражение в правах для представителей бывших господствующих классов. Цензура и жестко поддерживаемый моноидеологизм в печати, в системе образования, в искусстве. Специальные карательные органы (ВЧК, потом ГПУ) для «внесудебной расправы» над политическими и идеологическими противниками. Огосударствление профсоюзов... Словом, за первые два-три года большевистской власти в стране уже, в общем, сформировался диктаторский и насильственный, по существу, тоталитарный режим, хотя и пребывавший тогда еще в юной, искренной, бескорыстно-уравнительной, революционно-романтической поре своей биографии.

Все его основные черты мы видим и при нэпе. Более того, одновременно с решением о замене разверстки продналогом X съезд РКП принимает резолюцию о единстве партии, распространившую диктаторский принцип на внутривнутрипартийную жизнь и, как известно, впоследствии хорошо послужившую Сталину в установлении режима его личной власти. К прежним категориям «лишенцев», то есть людей, лишенных избирательного права, добавляются нэпманы. Таким образом, со стороны политической нэп, как и «военный коммунизм», — это доконвергентный социализм и ничего более. Существующий в этот период уровень демократических свобод по большинству показателей намного ниже не только дооктябрьских, но и дофевральских отметок.

Напротив, в области экономики, в которой, собственно, и заключена вся специфика новой ЭКОНОМИЧЕСКОЙ политики, «военный коммунизм» и нэп — антиподы. Если первый и в экономике — стопроцентная диктатура, то второму свойственны значительное сокращение сферы действия командно-административных методов, свобода внутренней торговли, та или иная степень самостоятельности большинства хозяйствующих субъектов. Если первый проникнут стремлением к унификации, подчинению всего и вся коммунистическим нормам, то второй принципиально многоукладен.

Кстати, здесь — разрешение спора, на протяжении нескольких десятилетий бушевавшего в западной советологии: рассматривать ли раннюю советскую историю (в ее движении от 1917 года к сталинскому социализму) как непрерывный процесс формирования тоталитарного строя или же видеть в этом строе результат переворота, совершенного Сталиным на рубеже 20-х и 30-х годов. В свете сказанного вопрос решается очень просто: непрерывность в развитии политической системы сочеталась с двукратной, в 1921 и 1929 годах, ломкой наличных экономических систем — «военно-коммунистической» в первом случае и нэповской во втором.

Поскольку период нэпа интересует нас преимущественно как опыт конвергенции, на экономической его стороне следует остановиться подробнее.

2

Период нэпа — единственное время в советской истории, когда бок о бок легально существовали капитализм и социализм. Правда, не в том виде, какой они имели в условиях доконвергентного капитализма. Там это выглядело как борьба все усиливавшейся оппозиционной социалистической тенденции против господствующей либерально-консервативной в рамках более или менее однородной общественной системы. Здесь же социализм и капитализм противостоят один другому как два социально-экономических уклада: первый — в тотальном обобществленной промышленности, второй — в количественно преобладающем частном секторе, в виде «мелкобуржуазной стихии» деревни и отчасти города. При сохранении биполярной общественной структуры полюса здесь как бы поменялись местами: социализм держит в

руках всю полноту государственной власти («диктатура пролетариата»), выступает как ведущая, активная сила, капитализм же, довольствуясь ролью ведомого, пытается лишь выговорить для себя право на известную самостоятельность.

Однако еще более важно другое отличие — относительно мирный характер их взаимоотношений. Признавая неизбежность длительного сосуществования названных двух укладов, государственная власть вырабатывает и реализует программу их обоюдного движения навстречу друг другу.

В чем это выражается?

Прежде всего в ряде «уступок капитализму». Отменена хлебная монополия, разрешена торговля хлебом, еще недавно каравшаяся как «государственное преступление» (см., например, Ленин, ПСС, т. 39, с. 315). Допущена или освобождена от ограничений торговля и другими товарами. Восстановление рыночных отношений как внутри города и деревни, так и между ними сопровождается возрождением соответствующей инфраструктуры (например, кредитных учреждений), введением твердой валюты. Разрешено мелкое и среднее частное предпринимательство, легализовано использование в нем наемного труда. В 1925 году это разрешение распространено и на деревню. Особенно быстро усилились позиции частного капитала в сфере торговли.

Еще важнее другое — те изменения, которые с переходом к нэпу происходят в самом госсекторе. Вот главные из совершившихся тогда перемен в механизме функционирования национализированной экономики.

Восстановление системы наемного труда. В годы гражданской войны она была фактически заменена всеобщей трудовой повинностью, ограничивавшей перемещение рабочей силы. С переходом к нэпу отменялись мобилизации, были расформированы трудовые армии. Новый кодекс законов о труде (1922) предусматривал свободу труда. Взаимные обязательства работника и администрации регламентировались трудовым договором.

Замена уравнительного распределения заработной платой, дифференцированной в соответствии с количеством (продолжительностью, интенсивностью) и качеством (сложностью) труда, иначе говоря «оплата рабочего труда... по ценам вольного рынка» (Ленин, ноябрь 1921 г.), введение сдельщины. Одновременно переход с натуральной формы вознаграждения за труд (в 1920 году дошедшей до 92,6 процента среднего заработка) на денежную и отмена введенного в 1920—1921 годах бесплатного предоставления товаров и услуг.

Частичная денационализация: передача в собственность или сдача в аренду частным лицам, кооперативам и товариществам низкорентабельных государственных предприятий, не только мелких, но нередко и средних.

Развитие смешанной (государственно-частной) формы собственности — например, в виде концессий, различных акционерных обществ.

Повышение хозяйственной самостоятельности национализированных предприятий, а в государственном руководстве их деятельностью перенос центра тяжести с жестких, административных воздействий на более мягкие, косвенные, экономические способы регулирования (кредит, налоги).

Наконец, последнее — никак не по значению — распространение товарно-денежных отношений и на взаимоотношения между государственными предприятиями, перевод всех отраслей народного хозяйства на самоокупаемость («хозрасчет»), а большинства из них и на коммерческий расчет, при котором критериями успеха являлись рентабельность, прибыль.

Основными субъектами самостоятельной экономической деятельности в сфере промышленного производства стали тогда тресты. Статья 1-я декрета ВЦИК и СНК от 10 апреля 1923 года гласила: «Государственными трестами признаются государственные промышленные предприятия, которым государство предоставляет самостоятельность в производстве своих операций согласно утвержденному для каждого из них уставу и которые действуют на началах коммерческого расчета с целью извлечения прибыли... Государственная казна за долги трестов не отвечает» (Нэп и хозрасчет. Под ред. акад. Н. Я. Петракова и др. М., 1991, с. 29). Согласно тому же декрету, продукция трестов реализовалась «по ценам, назначаемым по соглашению с покупщиком». И хотя устав треста утверждался в ВСНХ, хотя в состав правления входил его представитель, а львиная доля прибыли изымалась в доход государства, определенной частью заработанных средств трест распоряжался по своему усмотрению, направляя ее на расширение производства, на «выдачу наградных для рабочих и служащих» и на улучшение их быта.

Еще более последовательно «рыночным» институтом являлись синдикаты — органы оптовой торговли, создававшиеся на паевых началах трестами для исполнения снабженческо-сбытовых функций. Выступая в качестве посредников между потребителем и производителем, синдикаты «стали уделять серьезное внимание изучению конъюнктуры рынка, рекламе своих товаров, ценам на продукцию сельского хозяйства и, следовательно, покупательной способности населения» («Хозяйственный механизм периода новой экономической политики. По материалам 20-х годов». Составитель — Е. В. Богомолова. М., 1990, с. 46). По отношению к самой промышленности они играли все более активную роль: стимулировали (а нередко и финансировали) выпуск новых видов товаров, расширение ассортимента, повышение качества продукции, снижение издержек производства. «Благодаря этому к концу 20-х годов, по мнению большинства специалистов, синдикаты представляли собой основу системы управления народным хозяйством страны», тогда как «отраслевые управления народным хозяйством теряли реальную власть над промышленностью» (там же, сс. 79, 80).

Все эти изменения, вполне очевидно, имели общий вектор — от казарменного коммунизма периода гражданской войны в направлении рыночной экономики. С другой стороны, во встречное движение пришел и частнособственнический, крестьянский уклад. Основной формой его сближения и сотрудничества с госсектором, выгодной для крестьян, не покушающейся на их независимое единоличное хозяйствование и вместе с тем вносящей в него элементы все более глубокого обобществления, явилась кооперация.

В различных своих формах кооперация успешно развивалась еще в дооктябрьской России. Однако в первые годы революции большевики относились к ней весьма подозрительно: считалось, что экономически кооперация находится под контролем кулаков, политически — меньшевиков и эсеров. Следствием такого взгляда было то, что в обстановке «военного коммунизма» она была задекретирована до смерти. Не подкрепленное никакой материальной заинтересованностью требование обязательного участия в потребительской кооперации всего населения привело к фактическому свертыванию кооперативной системы. Усиленно насаждавшиеся в деревне сельскохозяйственные коммуны, артели, ТОЗы рассыпались раньше, чем успевали собрать хотя бы один урожай; к началу 1921 года в них числилось всего полпроцента сельских жителей.

С переходом к нэпу отношение советской власти к кооперации начинает быстро меняться; «недаром декрет о продналоге вызвал немедленно пересмотр положения о кооперации и известное расширение ее «свободы» и ее прав» (Ленин. О продовольственном налоге). Правда, в первое время это отношение остается еще сдержанным («Кооперация мелких производителей... неизбежно... выдвигает на первый план капиталистиков, им дает наибольшую выгоду» — там же), но основной акцент теперь уже иной: «... "кооперативный" капитализм в отличие от частнохозяйственного капитализма является при советской власти разновидностью государственного капитализма и в качестве такового он нам выгоден и полезен сейчас...» (там же). Вместе с принципом безусловной добровольности нэп вернул кооперации жизнь — настоящую массовость, естественное многообразие форм потребительской, промысловой и сельскохозяйственной кооперации, реальный прогресс по всем показателям их деятельности.

Особое значение имело развитие сельскохозяйственной кооперации, основными формами которой стали (как и до Октября) товарищества по сбыту сельхозпродуктов и по снабжению крестьянских хозяйств орудиями производства, а также по предоставлению своим членам дешевого кредита. Росло количество специализированных товариществ — машинных, льноводческих, животноводческих, маслодельных и прочих. Различными видами кооперации, преимущественно по сбыту и заготовкам, «было охвачено к 1928 г. около 1/3 крестьянского населения» («Хозяйственный механизм...», с. 116). Одновременно все более регулярный и упорядоченный характер приобретали партнерские связи кооперативов и их объединений с госсектором. «Через свои специальные производственно-бытовые системы сельхозкооперация сумела организовать снабжение промышленности хлопком, льном, пенькой, табаком, махоркой, свеклой, шерстью, кожей, маслом и т. д.» (там же, с. 114). Были заключены генеральные договоры сельхозкооперации со многими из синдикатов. Тем самым складывался единый государственно-частный народнохозяйственный комплекс. Все это означало, как тогда говорили, укрепление смычки —

сближение двух основных укладов, их углубляющуюся интеграцию на взаимовыгодных условиях и на общей правовой базе.

Но что такое «смычка», что такое встречное движение двух укладов, если не конвергенция капитализма и социализма? И как в таком случае можно определить тот экономический строй, в рамках которого «командные высоты» в экономике — крупная промышленность, банковская система, связь, железнодорожный и водный транспорт, земля и ее недра, внешняя торговля — обобществлены, находятся в руках государства и в котором при этом совершается указанное встречное движение? Очевидно, что тут перед нами некая модель конвергентного социализма. В целом же, если соединить политическую систему периода нэпа с экономической, получится своего рода гибрид — смешанный, доконвергентно-конвергентный социалистический строй.

3

Тут необходимо объясниться. В предыдущей статье мы говорили о том, что, взломав доконвергентный капитализм, социалистическая революция обречена была строить новое из обломков старого и, значит, не могла сложить из них ничего, кроме доконвергентного же социализма, перевернутого продолжения дореволюционной действительности. Говорилось там и о том, что даже развитые страны Запада смогли в полной мере вступить в эпоху конвергенции лишь после победы над Гитлером, во второй половине века. А теперь вдруг выясняется, что первый опыт конвергенции наподобие оазиса в пустыне возник еще глубоко в недрах доконвергентной эпохи и не «у них», а у нас, в одной из наименее готовых к этому стран (что, кстати, только что подтвердила гражданская война). Как понять такую невероятную историческую инверсию и аномалию?

Единственно возможное объяснение — в той полной безвыходности положения, в какой оказались большевики на четвертом году своей диктатуры. Безвыходности сразу в двух планах — узком и широком.

Первое достаточно общеизвестно: переход к нэпу был ответом на массовые («антоновщина», «кронштадтский мятеж») выражения недовольства крестьянства, которое по окончании гражданской войны более не желало мириться продразверсткой. Это правильно и может быть проиллюстрировано рядом весьма рельефных высказываний Ленина — человека, менее всего заинтересованного в «очернении» результатов политики «военного коммунизма», проводившейся под его же руководством. «Крестьяне попали в эту зиму (1920—1921 гг.— Ю. Б.) в безвыходное положение, и их недовольство понятно... Мы говорим, что рабочие понесли неслыханные жертвы, теперь пришел год, когда в самом тяжелом положении очутились крестьяне»; «мы знаем, что нужда отчаянная, что всюду голод и нищета»; «крайнее, невиданное и неслыханное обострение нужды и отчаяния»; «кронштадтские события явились как бы молнией, которая осветила действительность ярче, чем что бы то ни было» (т. 42, с. 308; т. 43, с. 104, 119, 138).

Положение в деревне, как и в городе, таково, что основным его обозначением у Ленина становится слово «кризис» (вошедшее и в нынешний повседневный обиход). «Необыкновенно тяжелый кризис крестьянского хозяйства, которое после всех разорений, вызванных войной, было еще добито и необыкновенно тяжелым неурожаем и связанной с этим бескормицей, потому что неурожай был и на травы, и падежом скота, ослабление производительных сил крестьянского хозяйства, сплошь и рядом осуждение его во многих местах прямо-таки на разорение,— вот картина крестьянского хозяйства к весне 1921 года» (т. 43, с. 147). Среди причин этого «ужасного кризиса», который «доходит до грани», Ленин прямо называет продразверстку, изъятие у крестьян не только «излишков» хлеба, но часто и того, что было минимально необходимо им самим на прокормление и посев: «...получилось так, что увеличенные продовольственные ресурсы мы собрали из наименее урожайных губерний, и этим кризис крестьянского хозяйства чрезвычайно обострился» (т. 42, с. 357; т. 43, сс. 16, 14).

И вот — замкнутый круг. Разоренные, голодающие крестьяне того и гляди всей массой возьмутся за топоры и вилы, между тем стоит перестать снабжать город хотя бы теми крохами, что приносит продотряды, как против большевиков поднимется и последняя их опора — рабочий класс. Прибавьте к сказанному «финансовый

кризис в стране... в которой выпущено такое обилие бумажных денег, какого свет не видал» (Ленин, март 1922 г.). Прибавьте страшный голод в Поволжье.

Падаль едят люди! Мертвых едят люди!

Десять миллионов вымрет, если хлеба не будет!

— криком кричал тогда Маяковский. И действительно вымерли миллионы. Прибавьте, наконец, и общий, тотальный кризис средств: без жесточайшего насилия не обойтись (да и разучились обходиться), а оно уже не только непереносимо, но и не достигает своих целей и только все туже затягивает петлю на горле истерзанной страны.

Все это составляло, однако, лишь временный план гораздо более общей исторической ситуации, которая оставалась бы почти столь же неразрешимой и в отсутствие названных чрезвычайных обстоятельств. Суть ее заключалась в исходном и главном противоречии Октября: ПРОЛЕТАРСКАЯ революция и диктатура ПРОЛЕТАРИАТА в КРЕСТЬЯНСКОЙ стране.

Действительно, вникнем в драматизм положения, в которое поставила большевиков их октябрьская победа. Легко было взять власть, выхватив ее из слабых рук Временного правительства. Не так уж трудно ее удержать, сделав паролем правительств в Смольном четыре слова, которых жадно ждала Россия: «долгой войну» и «земля крестьянам». А заручившись поддержкой широких слоев населения и обладая государственной властью, уже не составляло большого труда подчинить себе и армию, и финансы, и железные дороги, и фабричное производство, и печать — все сферы более или менее цивилизованной городской жизни.

Другое дело — деревня. Безбрежный океан патриархальности, в котором города выглядели островками. Вековечный уклад, переживший и князей-рюриковичей, и монгольских ханов, и крепостное право, и династию Романовых, крайне консервативный, мало изменившийся за десять веков писанной российской истории, а если в последние десятилетия перед революцией и начавший сравнительно быстро меняться, то уж никоим образом не в сторону социализма.

Как же подступиться к этому океану, к этой «мелкобуржуазной стихии», которая, по выражению Ленина, «ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе» рождала из себя капитализм, с идей социалистических преобразований?

Старая марксистская литература, предназначенная отнюдь не для крестьянских стран, не оставила на сей счет никаких конкретных указаний. Суждения позднего Энгельса о недопустимости насилия по отношению к «мелкому крестьянину» и о желательности добровольного объединения крестьянских хозяйств были вполне здравыми, но, во-первых, совершенно недостаточными, а во-вторых, трудноприменимыми в условиях голода и разрухи. Аграрная программа самих большевиков не заглядывала дальше устранения помещика и национализации земли. То и другое социалистическая революция совершила за считанные недели, однако к решению проблемы «социализм и крестьянство» она в донэповский период не приблизилась, можно сказать, ни на шаг. Насаждались совхозы и коммуны (почему-то быстро хиревшие), вводились и упразднялись комбеды, менялись политические лозунги (от «нейтрализации» середняка к «союзу» с ним), но вся эта деятельность, в основном укладывавшаяся в рамки классического принципа «разделяй и властвуй», сосредоточивалась главным образом в сфере управления, идеологии, политики и лишь слегка царапала тысячелетний массив социально-экономического деревенского уклада. Более того, то осереднячение деревни, которое явилось следствием аграрной реформы 1917—1918 годов, лишь укрепляло ее приверженность к этому укладу и вековечной мужицкой мечте — вольному хозяйствованию на своей земле, разумеется, единоличному, когда

Земля в длину и в ширину
Кругом своя.
Посеешь бубочку одну —
И та твоя.
И никого не спрашивай,
Себя лишь уважай.
Косить пошел — покашивай.
Поехал — поезжай.

(Твардовский. Страна Муравия).

И вот ситуация: в городе, в промышленности стремительно идет «строительство социализма», сформирован режим, базирующийся на принципах централизации, единоначалия, железной дисциплины, «подчинения воли тысяч воле одного» (Ленин, 1918 г.). Деревня же, как при Николае, остается «мелкокрестьянской» и

хоть по возможности избегает спорить с языкастыми и грозными начальниками из города, чуть что хватаящимися за пистолет, но хочет только одного: чтобы ее оставили в покое. Всем укладом своего хозяйства и быта, всеми своими обычаями, помыслами и интересами она противится навязываемому ей социализму. Два экономических строя в одной стране, между которыми зияющий провал, только увеличиваемый объективным ходом событий. Революция состоялась, удержалась, победила всех своих врагов — и застыла в полном бессилии перед мужицкой избенкой и лошадаенкой.

Что ж, во всем этом не было ничего неожиданного. Публицистика всех направлений политической мысли, как отечественной, так и зарубежной, — от монархистов и консерваторов до социалистов, включая левых социал-демократов типа К. Каутского и русских меньшевиков, — и до и после 1917 года была на сей счет вполне единодушна: в России нет почвы для социализма в марксистском его понимании. (Подробный обзор высказываний на эту тему с цитатами из Г. В. Плеханова, П. П. Маслова, М. И. Либера, Д. Ю. Далина, В. М. Чернова, А. А. Богданова, Г. Кунова, О. Бауэра, А. Парвуса, Г. Штрейбеля и других дает в одной из своих статей Бухарин — см. «Избранные произведения». М., 1988, сс. 278—296.) Значит, революция может сколько угодно называть себя социалистической, но в действительности она либо будет вынуждена ограничиться буржуазно-демократическими преобразованиями, доделкой недоделанного Пятым годом и Февралем (в первую очередь аграрной реформой), либо, замахнувшись на большее, расшибет себе лоб о деревню, рухнет под тяжестью непосильных для нее задач.

Ленин, большевики пытались отбиться от подобных предостережений и прогнозов, но в их распоряжении был, собственно говоря, всего один веский аргумент — надвигающаяся мировая пролетарская революция. Мол, когда она состоится, хотя бы поначалу в нескольких главных капиталистических странах — а это должно произойти в самое ближайшее время, — то Россия, проложившая ей дорогу, детонирующая мировой взрыв, окажется в совершенно новых международных условиях, благоприятствующих ее внутреннему развитию. Тогда победивший мировой социализм, в свою очередь, возьмет ее на буксир, постепенно ассимилирует русскую деревню, его волны мало-помалу размоют этот гигантский антисоциалистический массив.

Однако мог ли кто-нибудь гарантировать, что детонатор обязательно сработает, и притом достаточно быстро? Даже среди большевиков не все были на сей счет такими уж безоглядными оптимистами. Известная попытка Г. Зиновьева и Л. Каменева сорвать октябрьский переворот, преодоленная лишь сокрушительным ленинским напором, отнюдь не была «странной и чудовищной», как расценил ее Ленин: поступок двух видных большевиков явился всего лишь данью господствующему умонастроению, выражением их вполне естественной тревоги за судьбу революции.

И вот год идет за годом, в развитых странах, преодолевающих последствия войны, множатся признаки стабилизации, мировая революция отодвигается на неопределенное будущее, мечтать о ней можно, но рассчитывать на нее не приходится — и как же теперь быть большевикам? Где же для крестьянской страны формула решения проблемы социализма? Где оправдание октябрьской авантюры и каков может быть из нее выход?

Похоже, остается одно из двух: либо осадить назад, к «буржуазной демократии», и, разделив власть с другими партиями, скорее всего ее потерять, либо, наоборот, воспользовавшись силой власти, попытаться сломить сопротивление деревни и все-таки, чего бы это ни стоило, прорваться к социализму. Большевистская верхушка упорствует, она-таки совершает эту попытку — создает режим «военного коммунизма». Результат известен: к 1921 году противоречие между социализмом и крестьянством не только не исчерпано, но на новом этапе оказалось воспроизведенным в еще большей, теперь уже вовсе непереносимой остроте.

Значит, выбора все-таки нет и ничего не остается, как сдать?

Так ко всем вышеупомянутым кризисам, переживаемым большевистской революцией, прибавился еще один, быть может, самый тяжелый, — кризис идей (штука, нам, сегодняшним, очень знакомая). Несколько позднее, оглядываясь назад, Ленин опишет его следующим образом: «Мы рассчитывали, поднятые волной энтузиазма, разбудившие народный энтузиазм, осуществить непосредственно на этом энтузиазме... экономические задачи. Мы рассчитывали — или, может быть, вернее будет ска-

зять: мы предполагали без достаточного расчета — непосредственными велениями пролетарского государства наладить государственное производство и государственное распределение продуктов по-коммунистически в мелкокрестьянской стране. Жизнь показала нашу ошибку». «На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским...» (т. 44, сс. 151, 159).

В этих обстоятельствах сказать, что переход к нэпу был вынужденным, значит, не сказать почти ничего. Он попросту не имел альтернативы, кроме полного провала революции, что после всех одержанных ею побед и неисчислимых жертв (с обеих сторон), коими были они оплачены, для большевиков равнялось самоубийству. Он стал для них единственным спасением, единственным выходом из, казалось, абсолютной безвыходности.

Однако эту возможность спасения еще нужно было увидеть, открыть. Оставаясь в пределах тогдашнего революционно-социалистического сознания, достичь этого было невозможно. Здесь нужен был некий умственный взрыв, совершенно неожиданная идея, которая, сломав стереотипы такого сознания, прорубала бы искомым выход. Точнее, потребовалось сочетание трех условий: экстремальности ситуации, поразительного антидогматизма Ленина и его непререкаемого авторитета в партии, — чтобы совершилось невозможное — родилась и получила осуществление идея нэпа. Идея, которая, не расходясь с основополагающими социалистическими ценностями, вместе с тем в корне противоречила основным постулатам ленинизма, всей логике социалистической революции, всем нормам доконвергентной эпохи. Намного опередив свое время, она вдруг соединила несоединимое, открыла принципиально новую перспективу пореволюционного развития страны, дала подход к самым тяжким проблемам этого развития.

Поскольку дело упиралось прежде всего во взаимоотношения с крестьянством, то исходной точкой совершенного тогда интеллектуального и политического прорыва стало то, что на четвертом году революции большевистская власть повернулась лицом к деревне, решительно пошла на сближение с нею.

4

Наша характеристика первого в истории крупномасштабного опыта конвергенции осталась бы слишком схематической и едва ли не лишенной современного смысла, если бы мы не попытались, хотя бы отчасти, прощупать духовную материю нэпа. Самым подходящим источником для этого являются речи и статьи Ленина, автора новой экономической политики. (Правда, идея замены продразверстки фиксированным налогом высказывалась и до него, среди большевиков, в частности, Троцким в феврале 1920 года; см.: Л. Д. Троцкий. К истории русской революции. М., 1990, сс. 107—108. Этим, однако, нимало не колеблется «авторство» Ленина по отношению к нэпу как цельной, комплексной программе экономических реформ.)

В отличие от нынешних реформаторов-молчаливков, предпочитающих не раскрывать свои карты перед обществом, Ленин на протяжении 1921—1922 годов десятки раз подробно излагает свою позицию (неоднократно ее развивая и уточняя), разжевывает, полемизирует, убеждает. В данной статье я собираюсь довольно много цитировать Ленина не только потому, что он ее главный герой, но отчасти и потому, что нынче он почти нечитаем и фактически малоизвестен даже тем, для кого его имя по-прежнему свято, либо, напротив, является мишенью обличений и насмешек.

Итак, в чем же заключался задуманный им поворот?

Непосредственно в практическом плане замысел новой политики выглядел так. Изменив способ изъятия у крестьян «излишков» хлеба, уменьшив объем такого изъятия и разрешив свободно распоряжаться остальным, поддержать упавшее, обессиленное крестьянское хозяйство, стимулировать его развитие, чем, в свою очередь, создать условия для оживления промышленности, сначала мелкой, но требующей значительных капиталовложений, а затем — с ее помощью — и крупной.

Отсюда предложение Ленина «начать с крестьянина», облегчить в первую очередь именно его участь, пусть даже на время еще ту же затянув пояса в городе. Ло-

гика была проста: пока крестьянское хозяйство не начнет восстанавливать свои силы, ситуацию в промышленности улучшить невозможно. Вместе с тем эта логика все глубже погружает автора нэпа в нужды и беды деревни, заставляя воспринимать их конкретнее и острее. А тем самым ведет к преодолению прежних, сугубо «пролетарских» предпочтений.

Крен в сторону деревни у Ленина в 1921—1922 годах настолько заметен, что от товарищей по партии он даже слышит упреки в «крестьянском уклоне», излишнем потворстве крестьянам за счет рабочих, в забвении классовых основ большевизма и «оппортунизме». Ему приходится отбиваться: «Кто склонен усматривать в этом движении крестьян на первое место «отречение» или подобие отречения от диктатуры пролетариата, тот просто не вдумывается в дело, отдает себя во власть фразе... Неотложнее всего теперь меры, способные поднять производительные силы крестьянского хозяйства... Тот пролетарий или представитель пролетариата, который захотел бы не через это пойти к улучшению положения рабочих, оказался бы на деле пособником белогвардейцев...» («О продовольственном налоге»). Тем не менее он продолжает неуклонно держаться той же линии и, как водится, умеет настоять на своем. 29 декабря 1921 года IX съезд Советов принимает написанный Лениным «Наказ по вопросам хозяйственной работы», в котором указанная передвижка приоритетов доводится до предельного заострения:

«1. Главной и неотложной задачей деятельности всех хозяйственных органов съезд Советов приказывает считать достижение в кратчайший срок, во что бы то ни стало, прочных практических успехов в деле снабжения крестьянства большим количеством товаров, необходимых для подъема земледелия и улучшения жизни трудящихся масс крестьянства. 2. Эту цель как главнейшую должны не упускать из виду все органы по управлению промышленностью... 3. Этой же цели должно быть подчинено улучшение положения рабочих в том смысле, что на все рабочие организации (и в первую голову профсоюзы) возлагается обязанность заботиться о такой постановке промышленности, которая бы быстро и полно удовлетворяла потребности крестьянства, причем от степени достигнутых в этом отношении успехов должно непосредственно зависеть увеличение заработка и улучшение жизни промышленных рабочих». Вот даже как!

Во всем этом был трезвый прагматический расчет, как известно, оправдавший себя. Однако содержание новой экономической политики вовсе не сводилось к такому расчету, и для самого Ленина — меньше всего. Тактика переросла в стратегию, решение практической хозяйственной проблемы возвысилось до уровня принципиально иного, чем прежде, взгляда на вещи.

Обратим внимание: свой доклад X съезду партии (март 1921 г.), ставший первым публичным изложением новой политики, Ленин начинает не с экономики как таковой: «...Вопрос о замене разверстки налогом является прежде всего и больше всего вопросом политическим, ибо суть этого вопроса состоит в отношении рабочего класса к крестьянству. Постановка этого вопроса означает, что мы должны отношения этих двух главных классов... подвергнуть известному пересмотру». И еще раз, чуть ниже: «...Мы достаточно трезвые политики, чтобы говорить прямо: давайте нашу политику по отношению к крестьянству пересматривать».

Кажется, откуда могла взяться необходимость пересмотра? Ведь провозглашенный еще VIII съездом РКП(б) официальный партийный тезис насчет «союза рабочего класса с крестьянством» вроде бы сохранял свою силу? Лишь постепенно стало понятно, что речь шла о вещах гораздо более глубоких, нежели тот или другой пропагандистский лозунг. А именно о двух: во-первых, о том, чтобы соединить, сомкнуть город и деревню экономически, во-вторых, о таком повороте в сознании, который привел к открытию той истины (весьма неожиданной и даже сенсационной для марксиста), что крестьянин ничуть не хуже и не ниже рабочего. Еще незадолго перед тем Ленин любил повторять, что у крестьянина как бы две души: душа труженика, сближающая его с пролетариатом, и душа собственника, средоточие всей скверны эксплуататорского общества. Собственническое начало делает крестьянство союзником буржуазии, темной, инертной, реакционной массой. Соответственно отношение большевиков к крестьянству было принципиально двойственным, включавшим как притяжение, так и отталкивание. Считая себя политическими представителями рабочего класса, единственной, по Марксу, незамутненной прогрессивной исторической силы, они смотрели на крестьянина, так сказать, со смешанным чувством — жалости и раздражения, сочувствия и превосходства. Считалось, что лишь под воздействием проле-

тария, наставляющего мужика на путь истины, освобождающего от собственнических привязанностей, и лишь в меру такого освобождения бывшая «мелкая буржуазия» может стать способной и достойной войти в светлое здание социализма.

С возникновением идеи эпа подобные мотивы начинают выветриваться у Ленина. основополагающие формулы большевизма «диктатура пролетариата», «руководящая роль рабочего класса» хотя и сохраняются в его выступлениях, включая самые последние, но не в социологически конкретном, а, так сказать, в символическом своем значении: под «рабочим классом» в подобных контекстах все меньше понимается слой людей, работающих на фабриках и заводах, а все больше, если не исключительно, лишь «авангард рабочего класса», то есть сама партия большевиков, в равной мере простирающая свою власть как на крестьян, так и на рабочих. Концепция класса-«гегемона» продолжает исповедоваться скорее ритуально, чем фактически; ее мало-помалу вытесняет сознание равнозначности обоих трудящихся классов, просвечивающее во многих ленинских высказываниях по тем или иным конкретным поводам. Констатация, что «интересы двух классов различны, мелкий земледелец не хочет того, чего хочет рабочий» (т. 43, с. 58), сочетается с признанием их несовпадающих интересов одинаково законными и в равной мере заслуживающими удовлетворения.

Любопытные изменения претерпевает в это время сам словарь ленинских работ. Показателен в этом смысле уже наиболее ранний из документов новой политики, вышедший из-под его пера,— несколько строчек, написанных на заседании Политбюро 8 февраля 1921 года, где рассматривался вопрос о предстоящей посевной:

«1. Удовлетворить желание беспартийного крестьянства о замене разверстки (в смысле изъятия излишков) хлебным налогом. 2. Уменьшить размер этого налога по сравнению с прошлогодней разверсткой. 3. Одобрить принцип сообразования размера налога с старательностью земледельца в смысле понижения %-та налога при повышении старательности земледельца. 4. Расширить свободу использования земледельцем его излишков сверх налога в местном хозяйственном обороте, при условии быстрого и полного внесения налога».

Наряду с деловым содержанием плана примечательны в нем некоторые стилистические детали. Предлагаемое важное нововведение мотивируется не какими-либо доктринальными соображениями, вытекающими из коммунистической теории, и не государственной надобностью, а «желанием крестьянства», притом «беспартийного», то есть всего в целом, вне зависимости от большей или меньшей социальной близости различных его слоев к большевикам.

Давно ли единственной прочной опорой советской власти в деревне Ленин считал бедняка, которому и оказывалось всяческое предпочтение? Давно ли с его уст то и дело слетали полные ненависти и угроз обличения кулачества? Одно из них (при жизни Ленина, кстати, не опубликованное), где, почти безумев от ярости, он именуется кулаков «самыми зверскими, самыми грубыми, самыми дикими эксплуататорами», «кровопийцами», «пиявками», «вампирами» и призывает вести с ними «беспощадную войну» на уничтожение («Товарищи рабочие! Идем в последний решительный бой!», август 1918 г.), впоследствии с торжеством вытасчат сначала Зиновьев («Мы не знаем документа более замечательного по силе и страстности»), а за ним и Сталин. Первый пообещает: «...этот язык по отношению к кулакам... пригодится еще не раз» (Г. Зиновьев. Ленинизм. Л., 1925, сс. 272, 273); второй с лихвой выполнит это обещание. Но сам-то Ленин ничего подобного теперь не повторяет, да и слова эти — «бедняк», «кулак» — почти начисто выпадают из его лексикона. Зато все чаще появляется такая «неклассовая» категория, как «земледелец», а в качестве ведущей характеристики и критерия, определяющего отношение к крестьянину со стороны государства, — «старательность», которую предлагается поощрять относительным снижением налога. Провозглашается «линия максимальной поддержки старательного хозяина»; в план брошюры «О продовольственном налоге» автор записывает отдельным пунктом: «Старательный крестьянин как «центральная фигура» нашего хозяйственного подъема».

О том, насколько все это было ново, говорит восклицание наркома продовольствия А. Д. Цюрупы: «Я хочу сказать, что поворот делается крутой, поэтому — легче на поворотах, ибо все седоки могут вылететь из телеги на этом крутом повороте!» (X съезд РКП. Стенографический отчет, М., 1921, с. 228).

Попутно отметим и некоторые другие знаменательные словарные (о, разумеется, не только и не столько словарные!) подвижки. В первые годы после Октября, и

особенно во время гражданской войны, одним из любимых слов Ленина было «насилие», употреблявшееся в качестве необходимого и вполне почтенного спутника таких понятий, как «революция», «государство», «власть», «диктатура». Примеров тут можно привести множество, ограничусь одним: «Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную непосредственно на насилие опирающуюся власть. (...) Хорошо ли это, что народ... применяет насилие над угнетателями народа? Да, это очень хорошо» («К истории вопроса о диктатуре», октябрь 1920 г.). В полном соответствии с таким отношением к насилию — многочисленные у тогдашнего Ленина и часто ужасающие своей крайней жестокостью требования арестов и расстрелов (в том числе «на месте», то есть без следствия и суда) то одних, то других групп «контрреволюционных элементов», не исключая и женщин. Часть ленинских документов подобного содержания до недавнего времени утаивалась, но и от тех, что попали в собрания сочинений, подчас мороз дерет по коже.

В период нэпа не только призывы к насилию, но и само это слово почти начисто исчезают из ленинского обихода. Зато выдвигается требование «большей революционной законности», мотивируемое, в частности, «задачей развития гражданского оборота» (т. 44, с. 328); зато все чаще в положительных смыслах фигурируют «компромисс», «уступка», «уступчивость». Например, в письме к Г. К. Орджоникидзе от 2 марта 1921 года: «...Необходима особая политика уступок по отношению к грузинской интеллигенции и мелким торговцам. ...Надо пойти на известные даже жертвы, лишь бы улучшить их положение и оставить им возможность вести мелкую торговлю». И еще раз, месяц спустя, в обращении к коммунистам Кавказа и Закавказья: «Больше мягкости, осторожности, уступчивости по отношению к мелкой буржуазии, интеллигенции и особенно крестьянству». Более того, чего раньше уж никак невозможно было себе представить, реабилитируются даже «постепеновство» и «реформизм», вечные антиподы ленинизма: «Новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость прибегнуть к «реформистскому», постепеновскому, осторожно-обходному методу действия в вопросах экономического строительства. <...> С весны 1921 года мы на место этого (революционного.— Ю. Б.) подхода... ставим... совершенно иной, типа реформистского: не ЛОМАТЬ старого общественно-экономического уклада, торговли, мелкого хозяйства, мелкого предпринимательства, капитализма, а ОЖИВЛЯТЬ торговлю, мелкое предпринимательство, капитализм, осторожно и постепенно овладевая ими, получая возможность подвергать их государственному регулированию ЛИШЬ В МЕРУ их оживления» («О значении золота теперь и после полной победы социализма», ноябрь 1921 г.).

Подумать только: «Оживлять... капитализм»! От одного такого сочетания слов в устах вождя антикапиталистической революции многие из его учеников и соратников должны были, наверное, просто терять дар речи!

5

Суть мировоззренческого переворота, начатого пересмотром отношения к крестьянству, в итоге сформулировал сам Ленин: «Коренная перемена всей точки зрения нашей на социализм» («О кооперации», январь 1923 г.). Слова эти прозвучали столь многозначительно, что не остались незамеченными, стократно цитировались, однако, мне кажется, не нашли адекватного истолкования.

В чем именно заключалась «коренная перемена»? Когда и как она совершилась? Наконец, каково ее значение, сохраняет ли она какой-либо смысл и интерес за пределами своего времени? Отвечая на эти вопросы, отметим сразу: понимание Лениным соотношения между нэпом и социализмом прошло через три основных этапа. Сначала нэп трактуется им как отступление от социализма, затем как необходимая ступень к нему и наконец как собственно социализм, хотя и в первоначальном, неотреботанном виде.

Образ «отступления», разумеется, вынужденного, неприятного, чреватого рядом негативных последствий, но в сложившихся обстоятельствах единственно спасительного и необходимого, чтобы не потерять все, явился для Ленина счастливой находкой и многократно им использовался — прежде всего в качестве мотивировки перехода к нэпу. Для его слушателей и читателей, участников только что закончившейся войны, этот батальный образ был понятным и убеждающим. Подобно армии Тухачевского, которая, залетев под стены Варшавы, оторвалась от своих тылов и

под угрозой разгрома была вынуждена спешно отступать, пролетарская революция (в крестьянской стране!) совершила в 1917—1920 годах такой стремительный скачок к коммунизму, что потеряла под ногами всякую социальную почву и оказалась на грани краха. Вернуть себе доверие населения она могла единственным способом — существенно облегчив его положение. А для этого нужен был экономический рост. А для экономического роста — стимул, который могла дать лишь свобода торговли. А «свобода торговли — значит назад к капитализму» (Ленин, доклад о продналоге). Образ отступательного маневра, основанного на трезвом стратегическом расчете, пришелся тут идеологически как нельзя более кстати.

Вместе с тем он был весьма выигрышным не только в пропагандистском смысле. Для любой рыночной реформы чрезвычайно важна проблема самоконтроля: как развязать инициативу товаропроизводителей, как заставить работать механизм конкуренции и в то же время не потерять управление этим процессом, не лишиться способности предотвращать и смягчать негативные, разрушительные воздействия рыночной стихии на экономику, еще не успевшую к ней адаптироваться?

Нынешние реформаторы в этом отношении полностью провалились, допустив — главным образом в своекорыстных интересах правящего слоя, который за семь лет узаконенного мародерства награбил колоссальные богатства, отчасти же просто по безграмотности и неразумию — развал народного хозяйства и стремительное истощение промышленного, трудового, научно-технического, природоресурсного, культурного потенциала нации. Что касается Ленина и его соратников, то идея «отступления» весьма выручила их в том смысле, что излечивала от чрезмерных надежд на то, что достаточно задать процессу теоретически правильное направление — и дальше все пойдет само собою. Уберегая от безответственности и шапкозакидательства, она заставляла особенно строго взвешивать каждый шаг, чтобы, с одной стороны, он был достаточным, результативным, а с другой — не уводил дальше необходимого; вновь и вновь анализировать движущуюся экономическую ситуацию, своевременно обнаруживать недоделки и издержки и тут же их исправлять. Следствием такого постоянного самоконтроля и саморегулировки стало — уже в 1921—1922 годах — многоэтапное углубление новой экономической политики, с внедрением рыночных принципов во все сферы управления народным хозяйством.

Между прочим, в этой многоэтапности нэпа — еще одно важное его отличие от той примитивной двухходовки (неконтролируемое освобождение цен плюс номенклатурная «приватизация»), к которой на практике свелась ельцинская экономическая реформа. И уже совсем непохожим на нынешний (хотя обе реформы проводились сверху) был самый метод тогдашних реформаторов, включая стиль их объяснений с обществом. Нам, привыкшим слышать из уст властей только похвалы своей деятельности и ее результатам (а при явной катастрофичности последних — неопределенные признания в самой общей форме: да, были и ошибки, но...), даже как-то странно читать такие, например, ленинские строки: «Здесь надо сказать, что мы должны ставить дело во всей нашей пропаганде и агитации начистоту. Люди, которые под политикой понимают мелкие приемы, сводящиеся иногда чуть ли не к обману, должны встречать в нашей среде самое решительное осуждение... Классов обмануть нельзя... во всяком случае мы не должны стараться прятать что-либо, а должны говорить прямоком, что крестьянство формой отношений, которые у нас с ним установились, недовольно...» (X съезд РКП, доклад о продналоге).

Или: «Целый ряд декретов и постановлений, громадное количество статей, вся пропаганда, все законодательство с весны 1921 года было приспособлено к поднятию товарообмена... Предполагалось более или менее социалистически обменять в целом государстве продукты промышленности на продукты земледелия и этим товарообменом восстановить крупную промышленность как единственную основу социалистической организации. Что же оказалось? Оказалось... что товарообмен сорвался: сорвался в том смысле, что вылился в куплю-продажу. И мы теперь вынуждены это сознать, если не хотим прятать голову под крыло, если не хотим корчить из себя людей, не видящих своего поражения... Мы должны осознать, что отступление оказалось недостаточным, что необходимо произвести дополнительное отступление... к созданию государственного регулирования купли-продажи и денежного обращения» (VII Московская губпартконференция, октябрь 1921 г.).

Сейчас мы нередко спрашиваем себя: как это русский народ мог поверить большевикам? Приведенные выдержки, а главное — сопоставление двух рыночных ре-

форм, тогдашней и нынешней, заключают в себе, мне кажется, немалую часть ответа на этот вопрос.

Суть дела прежде всего в том, ради кого совершались реформы, та и другая. Нынешняя, как уже сказано, была предпринята правящим слоем исключительно в собственных (притом сиюминутных) кастовых интересах — за счет народа и в ущерб ему. Поэтому, несмотря на «либеральную» фразеологию, в которой так сильны были Е. Гайдар и А. Чубайс, она ни в коей мере не была демократической, совсем напротив. Реально же демократической, как это ни парадоксально, приходится признать ту экономическую реформу, что три четверти века тому назад осуществлялась ярыми ненавистниками «буржуазной демократии». Соответственно только эта давнишняя реформа, проведением которой партийная власть пошла навстречу «желанию беспартийного крестьянства», «воле громадных масс трудящегося населения», — только она и осталась в нашей истории единственным после 1917 года позитивным опытом крупномасштабного ненасильственного преобразования экономического строя. Инициатор же, теоретик и руководитель этого преобразования смотрит на фоне теперешней, как принято говорить, «политической элиты» прямо-таки гигантом, Гулливером в стране лилипутов.

Это во-первых. А во-вторых (в прямой связи с предыдущим), доверие к большевикам объяснялось просто-напросто тем, что при всех своих жестокостях и исторических заблуждениях они далеко не сразу приспособились иметь одну истину для себя, другую для народа. Это не значит, что они от него ничего не скрывали. Некоторые пункты постановлений съездов и других партийных решений не публиковались, ряд ленинских документов гражданской войны с требованиями захвата заложников, бессудных групповых расстрелов и прочими сопровождался предупреждением «Секретно». Но в коренных вопросах своей политики они были поразительно откровенны. Они всерьез верили и добросовестно заблуждались.

Тут пора уже сказать, что и идея «отступления» — при всем, что в ней было положительного для практики нэпа, — в теоретическом плане была одним из таких заблуждений. В основе ее лежало традиционно-марксистское представление о социализме (коммунизме) как о более высокой, да и вообще наивысшей, общественно-экономической формации, призванной сменить капиталистический строй. Однако такой взгляд полностью опровергнут опытом XX века. Повторяя один из выводов предыдущей статьи цикла, подчеркну еще раз: во всех своих сопоставимых значениях капитализм и социализм суть синхронные, параллельные исторические явления, а отнюдь не диахронные, смотрящие одно другому в затылок.

Так что, по существу, нэп был чем угодно, только не «отступлением». Совсем наоборот: в качестве тенденции к превращению доконвергентного общества в конвергентное он представлял собой, безусловно, прогрессивное явление. Так это и воспринималось думающими современниками, свободными от идеологических шор. Бывший меньшевик Н. Валентинов, впоследствии эмигрант, вспоминал: «Когда пускали в обращение термин «отступление», с ним обычно в коммунистической партии связывали отход от высшей и лучшей ступени к чему-то низшему и худшему. Наоборот, я видел, что от плохого, построенного на иллюзиях, разлетевшихся при соприкосновении с жизнью, отступление ведет к чему-то более здоровому, построенному на реалистической основе, учитывающей прежде всего интересы многомиллионного крестьянства и такой фактор, как личный, частный интерес» (в его кн. «Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. Годы работы в ВСНХ во время НЭП. Воспоминания». М., 1991, с. 73).

Основанное на непосредственных жизненных впечатлениях, такое умозаключение тогда, вероятно, делали многие. Это не могло не тревожить большевистскую ортодоксию, от имени которой одним из первых его попытался оспорить Зиновьев: «У нас иногда развивают ту мысль, будто НЭП вовсе и не был отступлением. Откуда и куда мы отступили — спрашивают нас — и отвечают: от нелепостей военного коммунизма к более рациональным способам ведения социалистического хозяйства. <...> Такая постановка вопроса неправильна... И отступили мы вовсе не от военного коммунизма к социализму, а к своеобразному «государственному капитализму» в пролетарском государстве... Но необходимое отступление, целесообразное отступление есть тоже отступление» (Г. Зиновьев. Ленинизм. С. 227).

После 1929 года данная точка зрения станет официальной, но это не прибавит ей убедительности. Слишком многое говорит за то, что именно нэп, а не Октябрьская революция, сломавшая один тип доконвергентного общества лишь затем, что-

бы заменить его другим, несколько не лучшим, открывал для страны реальные перспективы, явился действительным шагом вперед по пути общественного прогресса.

На XI съезде партии Ленин провозгласил «остановку отступления». Это означало, что в тот момент (март 1922 г.) он считал новую экономическую систему в основном сформированной («мы пришли в новое место» — т. 45, с. 87). В теоретическом плане такая система осмыслялась им как особый, советский тип государственного капитализма.

Вопрос о государственном капитализме и о той роли, какую тот может сыграть в послереволюционном развитии России, еще с 1917—1918 годов сильно занимал Ленина. При этом нетрудно заметить, что самый термин «госкапитализм» выступал у него в весьма различных смыслах, то сужаясь до концессии, то расширяясь до границ всей экономики, живущей по законам рынка, но контролируемой и управляемой государством «диктатуры пролетариата». В последнем значении понятием «госкапитализм» обнималась как национализированная промышленность, переходящая на коммерческие начала («В настоящее время небольшое число предприятий уже переведено на коммерческий расчет, оплата рабочего труда производится в них по ценам вольного рынка, в расчетах перешли на золото»; «в ближайшем будущем неминуемо этот тип станет преобладающим, если не исключительным» — т. 44, сс. 218, 342—343), так и частнособственническое сельское хозяйство, вовлекаемое в единый народнохозяйственный комплекс через кооперацию, структуры госзакупа, госкредита, госстраха и пр.

Такая трактовка нэпа постепенно заменила в сознании Ленина идею «отступления», вобрав ее в себя как частный мотив, идеологически оформлявший первые шаги реформы. К концу 1921 — началу 1922 года эта трактовка отлилась во вполне цельную и, казалось, законченную форму, выразившись и в некоторых специальных работах (например, в цитированной статье «О значении золота...» — с апофеозом торговли как главного в данный момент звена хозяйственной политики), и во множестве отдельных суждений по самым различным поводам.

Вместе с тем, хотя едва ли не все они в пользу госкапитализма, стоит отметить, что Ленин не закрывает глаза и на социальные противоречия, неизбежно присущие ему как любой системе наемного труда независимо от формы собственности, на почве которой действует эта система. И вполне логично, что поиски механизма разрешения таких противоречий приводят автора нэпа к принципиально новому взгляду на роль профсоюзов.

В годы «военного коммунизма» Ленин признавал за профсоюзами лишь чисто служебную функцию — одного из «приводных ремней» партийной политики. Удовлетворенно констатировал: «Фактически все руководящие учреждения громадного большинства союзов... состоят из коммунистов и проводят все директивы партии» («Детская болезнь "левизны" в коммунизме», апрель — май 1920 г.). Тот же — по существу, тоталитарный — принцип легко обнаруживается в подтексте известной ленинской формулы «профсоюзы — школа коммунизма», который отстаивался им и в начале 1921 года (дискуссия о профсоюзах) и даже еще на X съезде партии. Однако в написанном Лениным постановлении ЦК РКП(б) «О роли и задачах профсоюзов в условиях новой экономической политики» (январь 1922 г.) акцентировка совсем иная: «...Одной из самых главных задач профсоюзов является отныне (!) всесторонняя и всемерная защита классовых интересов пролетариата в борьбе его с капиталом. Эта задача должна быть поставлена открыто на одно из первых мест, аппарат профсоюзов должен быть соответственно перестроен... (должны быть... образываемы конфликтные комиссии, стачечные фонды, фонды взаимопомощи и т. д.)».

Это относится не только к частному, но и к обобществленному сектору хозяйства. Постановление констатирует «известную противоположность интересов по вопросам условий труда в предприятии между рабочей массой и директорами, управляющими госпредприятиями, или ведомствами, коим они принадлежат. Поэтому по отношению к социализированным предприятиям на профсоюзы безусловно ложится обязанность защищать интересы трудящихся... постоянно исправляя ошибки и превращения хозяйственных органов...»

Стоит добавить, что полтора месяца спустя в связи с обсуждением проекта Гражданского кодекса Ленин требует от наркома юстиции Д. И. Курского: «Все, что есть в литературе и опыте западноевропейских стран В ЗАЩИТУ трудящихся, взять непременно».

Как видим, в программе нэпа либеральная тенденция, «оживление» частного и коммерциализация государственного хозяйства сочетаются с воссозданием профсоюзного (то есть, по сути, социал-демократического) противовеса ей. Таким образом, одновременно усиливаются оба общественных «полюса» — полюс предпринимательства и полюс труда, социальной защиты, — целеустремленно создается равновесная и динамичная система взаимоотношений между работодателями и работниками. Все это нынче куда как злободневно.

Притом тут нет и тени какого-либо разжигания страстей, «натравливания» конфликтующих сторон друг на друга. Напротив, постановление предусматривает «посредническое участие профсоюзов, которые... вступают в переговоры с... хозяйственными органами на основе точно сформулированных требований и предложений обеих сторон» в интересах мирного, компромиссного, обоюдовыгодного разрешения их противоречий.

Однако вернемся к теории. Нетрудно заметить, что понятия «нэп» и «госкапитализм» у Ленина настолько сближены, что их можно считать взаимозаменяемыми. Нэп=госкапитализм в качестве переходной модели общества на пути крестьянской страны к социализму — вот как на данном этапе рисуется ему проблема соотношения между нэпом и социализмом.

Это было, конечно, новое слово в теории социалистической революции, требовавшее со стороны Ленина много усилий, чтобы сначала самому прийти, а затем и своих соратников привести к мысли, что «нам нужно встать на почву наличных капиталистических отношений», ибо «экономически и политически НЭП вполне обеспечивает нам возможность постройки фундамента социалистической экономики» (т. 44, с. 210; т. 45, сс. 60—61). Вместе с тем нельзя не видеть, что и в указанном преломлении мысль Ленина еще остается в пределах традиционной-марксистской схемы: социализм выше капитализма, социализм — цель, капитализм, в том числе советский госкапитализм нэповского образца, — путь к этой цели.

Именно такое понимание дела наша историческая традиция всегда объявляла для Ленина итоговым (при Сталине и после Хрущева — с особым упором на то, что нэп был введен пусть «всерьез и надолго», но «не навсегда»). Делалось это с тем большим основанием, что в официальной идеологии середины 20-х годов, золотой поры нэпа, вполне очевидно реализовалась — с отклонениями лишь в деталях — как раз вышеуказанная версия концепции нэпа. Правда, сюда плохо вписывались многие формулы и мотивы последних ленинских диктовок, но, как будет показано ниже, в них частью не захотели, частью просто не смогли увидеть проявление следующего, нового этапа движения ленинской мысли. Между тем при сколько-нибудь внимательном чтении позднего Ленина видишь, что дело обстоит именно так: продолжая размышлять о нэпе, переосмысляя в связи с ним всю проблематику послереволюционного процесса, он выходит за рамки даже тех своих теоретических представлений, которые еще год, еще полгода назад были для него незыблемыми.

Любопытная деталь: 13 ноября 1922 года, через восемь месяцев после XI съезда партии, на котором новая экономическая политика оформилась, казалось бы, полностью и окончательно, в момент, когда нэповская экономика уже работает всю и — всего за полтора года — достигла, по словам Ленина, «громдных, почти невероятных успехов», он сообщает делегатам IV конгресса Коминтерна, что посвящает свой доклад исключительно нэпу, чтобы познакомить их «с этим важнейшим теперь вопросом», и поясняет: «важнейшим по крайней мере для меня, ибо я над ним сейчас работаю».

Как это понять? Над чем же тут еще работать, если дело вполне поставлено, вошло в твердую колею, а участие тяжелобольного человека в практических действиях по осуществлению новой политики более чем ограничено?

Ответ отчасти содержится в том же докладе Коминтерну, но еще больше — в упомянутых диктовках января — марта 1923 года, именуемых завещанием Ленина, за которым для него ничего уже нет, кроме смерти.

кая, хотя и состояла из двух частей, датированных 4 и 6 января того же года, то есть из двух десятиминутных диктовок (суточная квота, разрешенная Ленину врачами).

В соответствии с заглавием статья действительно всячески подчеркивает «гигантское значение кооперации». Какой именно: потребительской, сельскохозяйственной, промысловой? — такой конкретизации нет. Судя по всему, Ленин держит в уме все ее виды — с несколько большим акцентом на первой, о чем говорит упоминаемое здесь не раз «уменьше быть толковым и грамотным торгашом, какое вполне достаточно для хорошего кооператора». Роль кооперации как способа организации мелкого ПРОИЗВОДСТВА, сельскохозяйственного или ремесленного, в статье не отмечается. Так что, когда впоследствии сталинская пропаганда ссылалась на данную статью как на теоретическую основу «сплошной коллективизации», — это было наглой подтасовкой.

Но почему тема кооперации приобрела в тот момент для Ленина такую важность, что он посчитал необходимым включить ее в свое «завещание», затронувшее лишь весьма ограниченный круг вопросов? Ведь на этом участке дело обстояло, казалось бы, сравнительно благополучно. Еще в первые месяцы нэпа, то есть при непосредственном участии главы правительства, Совнарком выпустил на сей счет специальные решения, в частности, декрет «О потребительской кооперации» от 7 апреля и «О сельскохозяйственной кооперации» от 16 августа 1921 года. Все виды кооперации довольно успешно развивались, о чем упоминал и сам Ленин. На IX съезде Советов он привел, например, такие данные о темпах роста товарооборота потребкооперации осенью 1921 года: в ноябре вдвое больше, чем в октябре, и в шесть раз больше, чем в сентябре.

Причины особого внимания к кооперативной теме видны из самой статьи; их две.

Первая с очевидностью выступает, например, в следующем рассуждении автора: «Одно дело фантазировать насчет всяких рабочих объединений для построения социализма, другое дело научиться практически строить этот социализм так, чтобы ВСЯКИЙ мелкий крестьянин мог участвовать в этом построении. Этой-то ступени мы достигли теперь. И несомненно то, что, достигнув ее, мы пользуемся ею непомерно мало. Мы перегнули палку, переходя к нэпу, не в том отношении, что слишком много места уделили принципу свободной промышленности и торговли (как не раз впоследствии скажут левые ортодоксы большевизма типа Г. Зиновьева, а в наши дни Г. Зюганова.— Ю. Б.), но мы перегнули палку, переходя к нэпу, в том отношении, что... недооцениваем теперь кооперацию...»

О чем речь? О недостатках в организации того «встречного движения» двух социально-экономических укладов, о котором говорилось выше. Ленин обращает внимание на то, что движение идет пока больше в одном направлении: от тотальной централизации и монополизации в госсекторе в сторону «свободной (отметим оценочность эпитета.— Ю. Б.) промышленности и торговли», в то время как конвергентное движение в противоположном направлении идет все же недостаточно энергично, принципиальное значение кооперирования в качестве средства соединить «всякого мелкого крестьянина» — именно в его наличном «мелкокрестьянском», частновладельческом, «торгашеском» состоянии — с социализмом не понято и недооценено партией и советской властью.

Другая причина, по которой Ленин вдруг с таким нажимом заговорил о том, что представлялось его читателям одним из многих, существенным, но никак не первоочередным звеном хозяйственного комплекса, еще важнее: по поводу кооперации, в форме разговора о ней он смог наиболее внятно и рельефно выразить то принципиально новое понимание социализма, которое забрезжило у него в мозгу в связи с нэпом, постепенно овладевая его сознанием, и, вероятно, особенно окрепло летом — осенью 1922 года, во время его вынужденного многомесячного отрыва от текущих дел. Это новое понимание определило все содержание и всю стилистику разбираемой статьи; не столько «о кооперации» эта статья, сколько о сути социализма, как теперь ее трактует автор. Новизна же состоит в практически полном стирании им граней между социализмом и нэпом.

Обратимся к тексту. Вот ряд формулировок, наиболее прямо относящихся к данной теме, — в той последовательности, в какой они возникают в статье.

«В сущности говоря, кооперировать в достаточной степени широко и глубоко русское население при господстве нэпа есть все, что нам нужно, потому что теперь мы нашли ту степень соединения частного интереса, частного торгового интереса...

степень подчинения его общим интересам, которая раньше составляла камень преткновения для многих и многих социалистов».

«В самом деле, власть государства на все крупные средства производства, власть государства в руках пролетариата, союз этого пролетариата со многими миллионами мелких и мельчайших крестьян, обеспечение руководства за этим пролетариатом по отношению к крестьянству и т. д.— разве это не все, что нужно для того, чтобы из кооперации, из одной только кооперации, которую мы прежде третировали как торгашескую, разве это не все необходимое для построения полного социалистического общества?»

«Если выделить особо концессии, которые, кстати сказать, не получили у нас сколько-нибудь значительного развития, то кооперация в наших условиях совершенно совпадает с социализмом».

«При условии полного кооперирования мы бы уже стояли обеими ногами на социалистической почве».

Возможно, оттого, что он не пишет, а диктует, автор многократно повторяется, иногда — почти дословно, чаще — поворачивая свою мысль разными гранями. Однако этот недостаток, вообще свойственный устным выступлениям Ленина, превращается в данном случае в достоинство: по крайней мере никто не сможет сказать, что он оговорился или имел в виду что-то другое. Его позиция ясна и однозначна. Нэп для него теперь — не «отступление» от социализма и (в виде госкапитализма советского образца) не просто ступень к социализму: нэп, в котором должно развитие получит кооперация, — это уже, собственно, и есть сам социализм, во всяком случае, его начало.

Оценим по достоинству сенсационность вывода. Ведь, согласно теории, свято исповедовавшейся всеми марксистами, и Лениным в том числе, социализм есть бесклассовое общество, экономически базирующееся на полном, всеохватном обобществлении производства, немислимом без гигантского роста производительных сил, и на столь же полном, гармоническом слиянии интересов каждого индивида с общественными. Крестьянской России до социализма в таком его понимании ненамного ближе, чем до звезды небесной, и при переходе к нэпу Ленин измерял это расстояние так: «...дело переработки мелкого земледельца, переработки всей его психологии и навыков есть дело, требующее поколений» (т. 43, с. 60). А на XI съезде говорил: «У нас еще нет социалистического фундамента. Те коммунисты, которые воображают, что он имеется, делают величайшую ошибку».

И вот всего через восемь месяцев после того, как произнесены были эти слова, Ленин в завершение своей речи на пленуме Моссовета 20 ноября 1922 года (это его последнее публичное выступление) заявляет: «Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего, или какой-либо отвлеченной картины, или какой-либо иконы... Мы социализм протащили в повседневную жизнь и тут должны разобраться».

Правда, и теперь в ряде случаев Ленин говорит о социализме в будущем времени («из России нэповской будет Россия социалистическая» — та же речь в Моссовете). Но что он имеет в виду? Работы конца 1922-го — начала 1923 года не оставляют на сей счет никаких сомнений. Есть, по его мнению, всего два главных препятствия, отделяющих наличное состояние России от «полного социалистического общества»; поискам их преодоления он целиком и отдает свои последние усилия.

Первое из таких препятствий Ленин видит в пороках системы управления — в нарастающей бюрократизации партийно-советского аппарата и в том олигархическом характере партийной верхушки, который еще не так давно представлялся ему естественным и уместным: «Соотношение вождей — партии — класса — масс, а вместе с тем отношение диктатуры пролетариата и его партии к профсоюзам представляется у нас теперь конкретно в следующем виде. Диктатуру осуществляет организованный в Советы пролетариат, которым руководит коммунистическая партия большевиков... Партий... руководит выбранный на съезде Центральный комитет из 19 человек, причем текущую работу в Москве приходится вести еще более узким коллегиям, именно так называемым «Оргбюро»... и «Политбюро»... которые избираются... в составе пяти членов Цека в каждое бюро. Выходит, следовательно, самая настоящая «олигархия». Ни один важный политический или организационный вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний Цека партии» («Детская болезнь...»)

Теперь же масштабы бюрократизации приводят вождя революции в состояние, порой близкое к отчаянию, а распри в высшем руководстве — в условиях замкнуто-

сти, несменяемости и фактической бесконтрольности последнего — внушают ему острую тревогу. В сущности, Ленина терзают мрачные предчувствия, связанные с зарождением «нового класса» и все более явным перерастанием первоначального, народно-революционного тоталитаризма в консервативно-бюрократический, кастовый, антинародный.

Второе препятствие совсем из другой области. Это низкий культурный уровень основной массы населения России, где не успела сколько-нибудь значительно сказаться, как сказала в странах старого, развитого капитализма, его цивилизующая роль. В статье «О кооперации» Ленин высказывается на этот счет с предельной определенностью. «Собственно говоря, нам осталось «ТОЛЬКО» одно: сделать наше население настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации и наладило это участие. «ТОЛЬКО» это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь, чтобы перейти к социализму. Но для того, чтобы совершить это «только», нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы. <...> Мы можем пройти на хороший конец эту эпоху в одно-два десятилетия. Но все-таки это будет особая историческая эпоха... Все дело теперь в том, чтобы соединить... тот революционный энтузиазм, который мы уже проявили... с умением быть толковым и грамотным торгашом, какое вполне достаточно для хорошего кооператора. Под умением быть торгашом я понимаю умение быть культурным торгашом. Это пусть намотают себе на ус русские люди... которые думают: раз он торгует, значит умеет быть торгашом. Это совсем неверно... Он торгует сейчас (и сейчас тоже! — Ю. Б.) по-азиатски, а для того, чтобы уметь быть торгашом, надо торговать по-европейски».

И общий вывод, охватывающий, собственно, всю основную проблематику ленинского «завещания»: «Перед нами являются две главные задачи, составляющие эпоху. Это — задача переделки нашего аппарата, который ровно никуда не годится... Вторая наша задача состоит в культурной работе для крестьянства. А эта культурная работа в крестьянстве как экономическая цель преследует именно кооперирование. <...> Для нас достаточно теперь этой культурной революции для того, чтобы оказать вполне социалистической страной...»

Итак, по убеждению позднего Ленина, «Россию нэповскую» отделяют от «России социалистической» не экономический строй и не социальная структура, а только — он это всячески подчеркивает — низкий уровень цивилизованности, проявляющийся в недостаточном развитии кооперации. Но помилуйте! — должен был тут возопить любой ортодоксальный марксист. — Неужели только это? А частная собственность и капиталистические отношения, допущенные в городе и почти безраздельно господствующие в деревне? Как можно говорить о близком и даже существующем уже социализме («мы социализм протаскили в повседневную жизнь»), если деревня как была, так и остается сплошь частнособственнической, в городе же растет нэпман? Как совместить с социализмом крестьянина-единоличника, хотя бы и ставшего благодаря кооперации «толковым и грамотным торгашом»? Или того же нэпмана, выступающего не только в качестве торговца (часть оптовой и почти вся розничная торговля), но и промышленника — владельца мастерской либо небольшого завода, акционера, концессионера? Как можно говорить о «построении полного (!) социалистического общества», не упоминая, что путь к нему лежит через ренационализацию госпредприятий, с переходом к нэпу переданных в собственность, аренду или концессию частному капиталу? Неужели все дело лишь в том, чтобы научить этот капитал торговать и хозяйничать «по-европейски»? Тогда — «за что боролись?»

Коллеги Ленина по партийному руководству, люди по большей части достаточно образованные, не могли не поставить перед собой подобных вопросов. А поставив, не могли не увидеть, что перед ними, с точки зрения марксизма вообще и большевизма в особенности, страшная, чудовищная антимарксистская ересь. Вождь революции предстает в своем «завещании» (в статье «О кооперации» особенно) прямо-таки ревизионистом № 1, далеко обогнавшим по части реформизма и оппортунизма казнимого им К. Каутского и кого угодно еще.

Между тем это было действительно политическое завещание Ленина, продиктованное в здравом уме и твердой памяти. И возникло оно не вдруг: его исподволь готовили многомесячные размышления над содержанием и смыслом нэпа, основные этапы которых охарактеризованы выше. Третий этап, конечно, существенно отличался от двух предыдущих, но без них он был бы невозможен. Просто сделан был

еще один, последний рывок, и отдельные, до поры разрозненные подвижки во взглядах слились в некое целое, количество переросло в качество.

Суть того нового, что выразилось в статье «О кооперации» и не всегда столь явно в других последних работах Ленина, определена, как было сказано, им самим: «коренная перемена всей точки зрения нашей на социализм». Теперь, в свете изложенного, эта формула уже не кажется темной. «Коренная перемена» заключалась главным образом в принципиально новом понимании Лениным взаимоотношений между социализмом и капитализмом. Вот оно: «при господстве нэпа» социализм не враждебен капитализму, не сгоняет его со сцены, а, так сказать, вбирает его в себя. Они оказываются совместимыми, они делают общую цивилизаторскую работу и способны к неопределенно-длительному (хотя и конкурентному и отнюдь не бесконфликтному) сосуществованию в экономике.

Но что это значит? Это значит, что под словом «социализм» Ленин, может быть, сам себе еще не отдав полного отчета, понимает теперь нечто совсем иное, чем раньше (и совсем не то, что мы потом, вплоть до сегодняшнего дня, будем связывать с этим словом). Это ДРУГОЙ социализм.

В каком смысле «другой»? Кое-кому из тех, кто почувствовал указанную разницу и попытался найти ей определение, пришел на ум эпитет «кооперативный». Дескать, выдвигая на первый план кооперацию и почти отождествляя ее с социализмом, Ленин от идеи государственного социализма (каковым был «военный коммунизм» и каким будет тоталитарный строй при Сталине и Брежневе) приходит к кооперативному социализму в духе Р. Оуэна и некоторых других старых социалистов. Но если отдельные из выхваченных у Ленина цитат, в том числе некоторые вышеприведенные, вроде бы и говорят в пользу такой трактовки, то общий ход его размышлений в нее никак не укладывается. Достаточно указать на то, что о перенесении кооперативного принципа в промышленность Ленин не упоминает ни единым словом и, судя по всему, не допускает такой возможности. Предлагаемая им социально-экономическая модель есть модель двухукладной экономики, где коммерциализирующийся государственный и кооперирующийся частный сектор взаимодействуют друг с другом, не поглощая один другого, но постепенно преодолевая свою разобщенность.

Так что «кооперативный социализм» тут ни при чем. С другой стороны — и это, конечно, важнее, — концептуальная основа статьи «О кооперации» имеет очень мало общего с марксистским пониманием «низшей фазы коммунизма». Ведь, по Марксу, уже на этой нижней фазе «производители не обменивают своих продуктов; столь же мало труд, затраченный на производство продуктов, проявляется здесь как СТОИМОСТЬ этих продуктов», а «в собственность отдельных лиц не может перейти ничего, кроме индивидуальных предметов потребления» («Критика Готской программы»). Ленин же в своем «завещании» имеет в виду социализм, не устраняющий «частного торгового интереса», а уживающийся с ним и обращающий его на общую пользу, социализм последовательно рыночный, социализм «на почве наличных капиталистических отношений», своего рода симбиоз социализма и капитализма. То есть, как уже говорилось, социализм конвергентный, а в более полном определении — общественный строй смешанного типа, одной своей стороной принадлежащий доконвергентной, другой — конвергентной эпохе.

7

Сказанное заставляет спросить себя: что же такое Ленин?

Вопрос не праздный. Как и в советские времена, Ленин нынче вновь фигура мифологическая. Только прежде он был кумиром, культ которого, составляя краеугольный камень официальной идеологии, служил оправданием «руководящей роли партии» (читай: номенклатуры). А теперь, когда та же номенклатура, «перестроившись», совершила самозахват («приватизацию») национального достояния и коммунистическая идеология стала для нее в этом деле помехой, официальное поклонение Ленину закономерно сменилось его поношением. Кумир оказался повержен, но отнюдь не демистифицирован. Хотя у разных политических групп различные легенды о Ленине — у «коммунистов» одна, у «либералов-реформаторов» другая, — в состязании этих легенд нет и намека на стремление выяснить истину. Впрочем, «легенда» — это, пожалуй, сильно сказано. Легенда предполагает все-таки какое-то связанное из-

ложение и какой-то минимум аргументации. Нынешний же «Ленин», как правило, вообще не имеет никакого отношения к историческому, это не более чем слово, знак, символ, не несущий на себе почти никакой реальной информации, а только голую оценку, положительную или отрицательную. Между тем по ряду причин (воспроизведение в псевдодемократической оболочке многих черт советской тоталитарной системы; новое разделение общества на богатей и нищих, как бы возвращающее Россию в дооктябрьскую и даже дофевральскую ситуацию; неизбежность прямых и опосредованных — через китайский опыт — сопоставлений нынешнего «курса реформ» с нэпом) ленинская тема не только сохраняет, но отчасти и усиливает свою актуальность.

Итак, что такое Ленин?

«Основатель советского государства», — дружно отвечают все энциклопедии (с той лишь разницей, что в одних «советское» пишется с большой буквы, а в других с маленькой). Истина совершенно неоспоримая, но не более содержательная, чем «Волга впадает в Каспийское море». Основателей всяческих государств в мировой истории было много, Ленин же — фигура совершенно исключительная. Ибо он основал не просто государство и даже не просто новый общественный строй, но, что уже вовсе поразительно, целых два — один вслед за другим — общественных строя, в некоторых отношениях полярно противоположных друг другу! Да и это еще не все. В его «завещании» мы находим завязь концепции третьего общественного строя, в корне отличного от первого и весьма существенно — от второго. Оставшись нереализованной, она тем не менее представляет большой теоретический интерес. Первый строй мы определили как доконвергентный социализм, ранний, исходной моделью которого в нашей стране явился «военный коммунизм». Второй — периода нэпа — как социализм смешанного типа, совместивший в себе, если воспользоваться марксистскими понятиями «базис» и «надстройка», конвергентный социально-экономический базис с доконвергентной политической надстройкой. Наконец, третий — тогда лишь потенциальный, зато впоследствии получивший широкое распространение — можно было бы назвать конвергентным социал-капитализмом.

Однако в таком случае и историческая роль Ленина по меньшей мере раздваивается. При единстве биографии и личности определенную двойственность (даже тройственность) обнаруживает и он сам как политический деятель. Дело не просто в том, что в разные периоды своей жизни он не оставался равным самому себе, а эволюционировал, причем весьма энергично. Тут опять-таки не было бы ничего исключительного. Дело в том, что Ленин Октября, Ленин перехода к нэпу и Ленин начала 1923 года — это во многом разные исторические лица, они не только контрастируют, но по ряду важнейших линий резко спорят между собою.

Ленин Октября (относя сюда и всю его дореволюционную деятельность, и всю последующую до начала 1921 года) — самый ярый революционер, теоретик и практик грандиозной общественной ломки. Ленин периода нэпа (статей 1923 года — тем более) требует «не ломать» капитализм, а «оживлять» его, он даже не просто мирный реформатор, а, по собственному определению, «постепеновец», «реформист».

В качестве вождя Октября Ленин — марксист, хотя далеко не ортодоксальный, перенесший идеи коммунизма и пролетарской революции на почву крестьянской страны, что и определило главные особенности ленинизма как некоей азиатской версии марксизма, сильно сминутой в сторону экстремистской ультрареволюционности. В качестве автора нэпа Ленин все меньше марксист, а в своем «завещании» уже вроде бы и не марксист вовсе, тем более не «марксист-ленинец», хотя, без сомнения, социалист (в новом, конвергентном смысле). Я, конечно, отнюдь не утверждаю, что в 1923 году, на одре болезни, он пришел к осознанному противопоставлению своих новых взглядов классическому марксизму, — для такого утверждения нет документальных оснований. Но, во всяком случае, очевидно, что истины, прежде бывшие для него основополагающими и «рабочими», теперь утратили свою повседневную необходимость и вытеснены куда-то на периферию сознания.

Ленин Октября в своих мыслях и действиях всецело стоит на почве классового подхода и сам постоянно заявляет об этом. У Ленина периода нэпа классовые мотивы звучат все глуше, а в его «завещании» исчезают почти полностью. Их отсутствие настолько бросается в глаза, что Бухарин, комментируя резюмирующую часть статьи «О кооперации», задается вопросом: «Куда же девался во всей этой установке тов. Ленина рабочий класс?» Несколько ниже тот же мотив возникает у него в ином повороте.

Прочитав из статьи «Как нам реорганизовать Рабкрин» то место, где Ленин утверждает, что в «нашем социальном строе», основанном на сотрудничестве двух классов: рабочих и крестьян, к которому теперь допущены на известных условиях и «нэпманы», то есть буржуазия, отнюдь «не заложены... основания неизбежности... раскола», хотя и возможны «серьезные разногласия между этими классами», Бухарин пишет: «Я обращаю внимание на некоторые, казалось бы, для марксиста «чудовищные» вещи. Всем известно, что рабочий класс — это не то же, что крестьянство. Крестьянство, даже если говорить о крестьянине — середняке и бедняке, есть деревенская мелкая буржуазия (Владимир Ильич о кулаке вообще не упоминает в этих статьях)». Тем не менее он «дает такую формулировку... что если возникнут серьезные классовые разногласия между этими классами... тогда гибель Советской республики неизбежна. В чем же дело? Отступил Ленин от марксизма или перестал Ленин считать крестьянство особым классом?» (Избранные произведения. М., 1988, сс. 375, 430—431).

Отвечая на эти вопросы, Бухарин ищет аргументы, чтобы защитить покойного учителя от подозрения в сползании в «крестьянский уклон» и в забвении классового подхода, но сама необходимость такой защиты куда как красноречива.

Октябрьский Ленин — идеолог гражданской войны, которую он аттестует как «единственно законную, единственно справедливую, единственно священную... войну угнетенных против угнетателей». «Мы всегда знали, говорили, повторяли», пишет он, что социализм «вырастает в ходе самой напряженной, самой острой, до бешенства, до отчаяния острой классовой борьбы и гражданской войны...». С переходом к нэпу утверждений подобного рода мы у Ленина больше не встретим, идея «выращивания» социализма через войну, через крайнее обострение классовой борьбы ему теперь решительно чужда (зато впоследствии ее реанимирует Сталин); в ленинском же «завещании» все отчетливее звучат мотивы гражданского мира. К вышеприведенным выдержкам (включая ту, которую комментировал Бухарин) можно прибавить то ключевое рассуждение из статьи «О кооперации», в контексте которого как раз и возникает тезис о «коренной перемене» взгляда на социализм.

Отметив «фантастичность планов старых кооператоров» «простым кооперированием населения... превратить... классовую борьбу в классовый мир», Ленин продолжает: «Но посмотрите, как изменилось дело теперь, раз государственная власть уже в руках рабочего класса... Теперь... мы вынуждены признать коренную перемену всей точки зрения нашей на социализм. Эта коренная перемена состоит в том, что раньше мы центр тяжести клали... на политическую борьбу, революцию, завоевание власти и т. д. Теперь же центр тяжести меняется до того, что переносится на мирную организационную «культурную» работу». Эпитет «мирную» здесь непосредственно связан с идеей «так называемого гражданского мира».

А в последней своей статье «Лучше меньше, да лучше» автор и в «самых старых государствах Запада» констатирует (правда, без воодушевления) «некоторое подобие "социального мира"».

Ленин Октября — диктатор. Правда, диктаторство сочетается в нем с особым рода демократизмом, но этот классовый, революционный демократизм, распространяясь только на «своих», то есть на низовые слои общества, резко противостоит демократии для всех, категорически ее отвергает, да и по отношению к тем же «низам» в соответствующих случаях отнюдь не затрудняется прибегнуть к насилию. Ленин периода нэпа, оставаясь диктатором в политической сфере, в экономике — последовательный демократ, плюралист, резко осуждающий администрирование, настаивающий на равноправии интересов различных групп населения, как и вообще на необходимости лояльного, терпимого, уступчивого отношения к людям. В свою очередь, в «завещании» он, как увидим, делает в том же направлении еще один шаг — пытается ограничить всевластие и бесконтрольность партийной олигархии.

Для Ленина Октября социализм — цель (на практике нередко сужающаяся до задачи взятия и удержания большевиками государственной власти), все остальное — средства, вполне оправдываемые целью. В первый период нэпа цель эта в существе своем остается для Ленина прежней, но явно лишается статуса конкретно решаемой сегодняшней задачи, отодвигается в неблизкое будущее, тогда как на первое место выходят проблемы, лишь очень опосредованно, «в конечном итоге» связанные с означенной целью. Наконец, в «завещании» еще один «дворот руля». В «Страничках из дневника» — прямое предостережение: «Начать следует с того, чтобы установить общение между городом и деревней, отнюдь не задаваясь предвзятой целью внед-

речь в деревню коммунизм... Такая цель преждевременна. Постановка такой цели принесет вред делу вместо пользы». Для позднего Ленина социализм — это процесс. Цели и средства здесь, с одной стороны, сближены, с другой — на каждом этапе движения как бы меняются местами, в силу чего процесс оказывается открытым, не ограниченным никакой «предвзятой целью». Позиция, в сущности, тяготеющая к той, что была когда-то выражена знаменитой формулой «оппортуниста № 1» Эдуарда Бернштейна: «Конечная цель — ничто, движение — все».

И последнее (в связи со всем предыдущим): ленинский Октябрь и ленинский нэп имеют под собой во многом разную философскую основу — в смысле отношения к действительности и понимания роли человеческой активности в истории. Ленин Октября — ярко выраженный волонтарист. Он живет и действует в соответствии с известным изречением Маркса (из «Тезисов о Фейербахе»): «Философы лишь различным способом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы его изменить». И он считает себя вправе изменять этот мир, руководствуясь лишь собственными представлениями о лучшем и должном. Ни он, ни его соратники не останавливаются перед тем, чтобы силовым порядком навязать стране свою власть, свою волю, свой коммунизм.

В свою очередь, Ленин периода нэпа в гораздо большей степени, чем прежде, склонен считаться со сложившимся порядком вещей, с интересами обыкновенного человека, как бы далеки они ни были от коммунизма. А его последняя статья «Лучше меньше, да лучше» — сплошное предостережение против самонадеянного своеволия в социальных преобразованиях, против обыкновения чрезмерно спешить, волонтаристски нахлестывать историю. «В вопросах культуры торопливость и размахистость вреднее всего»; «в вопросе о госаппарате мы теперь из предыдущего опыта должны сделать тот вывод, что лучше бы помедленнее»; «в этих делах достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки»; «надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем...»

Трезвость, реализм, уважение к действительности, свобода от какого бы то ни было доктринерства — вот черты того нового взгляда на вещи, ярким проявлением которого стала вышеприведенная формула «не ломать, а оживлять». С таким взглядом на жизнь уже явно не вязался принцип «цель оправдывает средства» и основанная на нем этика «революционной целесообразности», открыто прокламировавшаяся «классическим» большевизмом. И, хотя никакой иной этики Ленин сформулировать не успел или не смог, нельзя не увидеть, как возросло в конце жизни его внимание к нравственным критериям и ценностям. Это сказалось и на характеристиках, которые в «Письме к съезду» он дает главным деятелям партии и — еще весомее и рельефнее — в том месте только что цитированной статьи, где говорит о требованиях, которым должны удовлетворять кадры Рабкрин, — люди, «за которых можно ручаться, что они... ни слова не скажут против совести». (Ну-ка приложите этот критерий к нашим нынешним политикам и чиновникам — много ли найдется таких?)

Итак, «три Ленина» или, во всяком случае, два с половиной, из которых каждый следующий в той или иной мере вытеснял и замещал предыдущего. Идея эта многим, конечно, покажется странной, уж очень она противоречит тем представлениям, которые бытуют на сей счет в нашем сознании, кем бы ему ни представлялся Ленин: никогда не ошибавшимся гением, исчадием ада или эклектиком, в котором понамышано было много всякого — хорошего и дурного — и из которого можно извлечь взаимоисключающие цитаты на все случаи жизни. В то же время нельзя сказать, чтобы эта идея высказывалась здесь совсем впервые.

Согласно уже цитировавшимся воспоминаниям Н. В. Валентинова, в кружке близких ему представителей той части старой интеллигенции, которая под влиянием нэпа и сменовеховских умонастроений с энтузиазмом включилась в советское строительство, в 1923 году был прочитан доклад, легший в основу рукописного аналитического меморандума. «Судьба основных идей Октябрьской революции». «Главнейшую часть доклада составляли цитаты, взятые из сочинений, статей и речей Ленина — творца и мозга революции. Суть доклада в том и состояла, чтобы, пользуясь именно этими цитатами, показать, как особый сорт идей, с которыми выступила Ок-

тябрьская революция, был к началу 1923 г. ... замещен другими идеями» (с. 33). Рассмотрев трансформацию нескольких таких идей, «кружок констатировал, что в течение пяти лет произошло огромное изменение взглядов Ленина». Это изменение оценивалось автором и его единомышленниками (до того времени убежденными противниками Ленина) как весьма важное и позитивное: «Идеи Октября, как фата-моргана, вели страну... в ложную сторону... Если с горизонта страны удалялись эти влекущие ее ложные идеи, тогда появлялась совершенно обоснованная надежда, что страна пойдет по другой и на этот раз уже правильной, разумной дороге» (с. 54, 55).

Если у Валентинова речь идет о коренном повороте во взглядах Ленина, сопровождавшем переход к нэпу, то Бухарин фиксирует другой такой поворот, выразившийся в самых последних ленинских диктовках. В статье «О новой экономической политике и наших задачах» он писал: «Нам кажется, что когда мы переходили к новой экономической политике, у тов. Ленина был при разрешении этой проблемы один стратегический план, а когда он писал свою статью о кооперации, т. е. оставлял нам последнее завещание в смысле основ экономической политики, у него был другой стратегический план. Эти оба плана не есть абсолютная противоположность, они, конечно, связаны друг с другом», но все же в 1923 г. им был выдвинут «совершенно новый план» («Большевик», 1925, № 8, сс. 10—12).

С позиций ортодоксального ленинизма эта точка зрения как еретическая была столь категорически осуждена на XIV партсъезде Зиновьевым, что, отвечая ему, Бухарин счел за лучшее в данном вопросе уклониться от спора. Договорил за него его биограф: «Ленин совершил полный поворот и в своих собственных взглядах, и в толковании марксистского учения. <...> Если даже не считать эти последние статьи «Завещанием», можно установить, что в них отражены глубокие изменения во взглядах Ленина» (Стивен Коэн. Бухарин. Политическая биография. 1888—1938. М., 1992, сс. 171—172).

Объединив констатации Бухарина и Валентинова, мы в совокупности получим как бы завязь вышеизложенной концепции «трех Лениных». Правда, и в то время, и много позже завязи этой не дано было превратиться в плод: особый, непохожий на себя Ленин 1923 года растворен был сперва в Ленине всего периода нэпа, а затем они оба — в цельном и «чистом, как кристалл», образе вождя революции.

8

Еще раз подчеркну: неправильно было бы утверждать, что взгляды позднего Ленина приведены в систему, строго аргументированы и стройно изложены. Ничего этого нет. Да и само соотношение между поздним Лениным и более ранним не столь просто, как можно вывести из вышеприведенных сопоставлений.

Во-первых, сам «старый» Ленин — достаточно сложное явление, не поддающееся однозначной оценке как по своим внутренним свойствам политического деятеля, так и по своей исторической роли. В качестве вождя Октября он дал выход издавна накапливавшемуся в народе протесту против бедности, угнетения и унижения, порыву социальных низов к лучшей жизни, справедливости, свободному труду, земле и миру. И в том же качестве, сам того не желая, он, как никто, послужил тому, чтобы старая система неравенства и несправедливости не исчезла, а, перевернувшись, возродилась в новой, во многих отношениях еще худшей; он внес наибольший (до Сталина) вклад в создание диктаторского и репрессивного режима, путь которого, особенно во время гражданской войны, был усеян трупами.

Во-вторых, оба мировоззренческих поворота, о которых идет речь, совершились отнюдь не одновременно. Известно, в частности, что при переходе к нэпу Ленин неоднократно (и не без оснований) ссылался на некоторые свои выступления первой половины 1918 года в пользу госкапитализма. А с другой стороны, и в 1921—1922-м и даже в 1923-м из-за плеча нового Ленина порой (правда, все реже) выглядывает «старый».

Так, в брошюре «О продовольственном налоге», назвав Москву «наихудшим местом в республике» по концентрации старой и новой бюрократии, «которая иногда совершает отвратительные бесчинства и безобразия, надругательства над крестьянством», он, как в разгар гражданской войны, забывает о законности и дает полную волю своей ярости: «Тут нужна чистка террористическая: суд на месте и расстрел безоговорочно». Настаивая на максимуме экономических уступок крестьянству, он в то же время жестко отклоняет мысль о каких бы то ни было «политических ус-

тупках» — как деревне (т. 43, с. 317), так и демократической общественности Запада, протестовавшей, например, против смертной казни противникам большевизма (т. 45, сс. 190—191).

Другой пример можно извлечь из самой статьи «О кооперации». Я имею в виду употребленный здесь термин «предприятия последовательно-социалистического типа», который впоследствии войдет в «политэкономия социализма» в качестве одного из ее ключевых слов. Достаточно очевидно, что понятие это имеет в своей основе прежнюю, ортодоксально-марксистскую, а не конвергентную трактовку социализма, по отношению к которой критерий его «последовательности» едва ли не лишен смысла. Впрочем, если форма выражения ленинской мысли связывает ее с марксистской традицией, то вывод, к которому приходит автор, отнюдь не традиционен: «При нашем существующем строе предприятия кооперативные... не отличаются от предприятий социалистических...» Сказать такое о предприятиях, коллективным образом удовлетворяющих частнохозяйственные интересы, мог лишь тот, в чьем сознании происходила «коренная перемена всей точки зрения на социализм». Подобные противоречия между формой и содержанием, знаки движения и незавершенности мысли, не редкость у позднего Ленина.

Как сказал один умный человек (писатель Ефим Дорош), новое соединено со старым не прямой стезей, а зубчатым швом. К процессу умственного и нравственного развития человека это относится больше, чем к чему бы то ни было. Однако, пожалуй, еще важнее другая грань темы — глубокая связь позднего Ленина с более ранним. Связь в двух аспектах — субъективном и объективном.

Субъективно-психологический аспект этой связи я понимаю так: автором нэпа не случайно стал инициатор и руководитель Октября. Чтобы прийти к «коренной перемене» взгляда на социализм, надо было сначала стать вождем социалистической революции, провести ее «от победы к победе» через гибель и страдания миллионов людей, после чего увидеть ее и себя самого в глухом тупике и глубочайшим образом прочувствовать свою личную ответственность за все это. Сила этого чувства ответственности как раз и преобразовалась в силу поиска и открытия, в энергию многоэтапного мировоззренческого переворота.

Однако еще важнее объективно-исторический аспект той же связи. То, что без Октября не было бы и нэпа,— плоский трюизм, ноль информации. Но совсем не трюизмом, скорее, напротив, парадоксом выглядит утверждение, что, не будь Октября, при нормальном эволюционном развитии Россия добралась бы до конвергентного состояния (даже частичного, как было при нэпе) не ранее, чем через полвека. Благодаря же Октябрю и гражданской войне, этим антиподам конвергентности, взаимосближение социализма и капитализма, пусть только в социально-экономической сфере, произошло у нас раз в десять быстрее. Оно состоялось, разумеется, как вынужденное, как единственно приемлемый для значительной части народа выход из полной безвыходности, но вместе с тем и как нечто естественное, непреложно вытекавшее из сложившихся обстоятельств.

И опять-таки Ленин был первым, кто хотя бы начал всерьез обдумывать эти связи, попытался взглянуть на революцию, нэп и социализм в широком контексте развития мировой цивилизации.

В заметках «О нашей революции» (январь 1923 г.), оспаривая в лице меньшевика Н. Суханова, собственно, всю марксистскую ортодоксию, он говорит: «...до бесконечности шаблонным является у них довод... который состоит в том, что мы не доросли до социализма, что у нас нет... объективных экономических предпосылок для социализма. И никому не приходит в голову спросить себя: а не мог ли народ, встретивший революционную ситуацию, ...под влиянием безвыходности своего положения броситься на такую борьбу, которая хоть какие-либо шансы открывала ему на завоевание для себя не совсем обычных условий для дальнейшего роста цивилизации?»

В этом рассуждении, конечно, присутствует попытка задним числом оправдать свою октябрьскую авантюру (характерна ссылка на высказывание Наполеона: «Сначала надо ввязаться в серьезный бой, а там уже видно будет»), но налицо и вполне бескорыстное стремление освободиться от предвзятых представлений, сбросить вериги однолинейно-фаталистического, безальтернативного понимания исторической необходимости. Примечательно и заявленное здесь несогласие с тезисом, «что мы еще не доросли до социализма». Оно подтверждает наш вывод: «социализм» позднего Ленина, возникающий в результате исторической перестановки (сначала

взять власть, а потом, пользуясь ею, «двинуться догонять другие народы»), — это ДРУГОЙ социализм, коренным образом отличный от того, что понимает под этим словом «учебник, написанный по Каутскому».

Примерно в то же самое время в голове Ленина начинает брезжить мысль о международном значении нэпа, о том, не принадлежит ли нэп как некая форма сожительства социализма и капитализма к «общей закономерности развития во всей всемирной истории». Предлагая делегатам IV конгресса Коминтерна обратить внимание на опыт нэпа «и с точки зрения западноевропейских передовых стран», рекомендуя западным коммунистам уже «сейчас подумать также и о том, как обеспечить себе отступление» в случае их возможной победы, он в таких замечаниях все ближе подходит к идее мировой конвергентной перспективы.

Как видим, тема «трех Лениных» достаточно сложна и многосоставна. Тем не менее ее реальность едва ли может быть подвергнута сомнению. Не принять во внимание разительное отличие позднего Ленина от более и еще более раннего или не придать этому отличию должного значения — значит не заметить самого ценного и перспективного, что есть в этой исторической фигуре.

Итак, мы сделали три крупных шага в своем рассуждении: охарактеризовали нэповскую систему как смешанный, доконвергентно-конвергентный тип общества; объяснили, каким образом он мог возникнуть в обстоятельствах, казалось бы, наименее для этого подходящих; наконец, через Ленина, через радикальное изменение его взглядов попытались проследить движение идеи нэпа — вплоть до того высшего ее развития, какое она получила в его предсмертных статьях. Теперь на очереди у нас вопрос об исторической перспективности нэпа и в этой связи опять-таки о «трех Лениных», о том, в каком отношении находились они к альтернативным вариантам ближайшего и более отдаленного будущего страны.

(Окончание следует.)



Немцы и русские на слиянии двух рек

С одной стороны Обломовка, с другой — княжеский замок, с широким раздольем барской жизни, встретились с немецким элементом...

Гончаров. «Обломов»

Завоеватели имеют слабость к живописным местам. В сырых лесах, в унылой степи, на ничем не примечательном холмике, поросшем жухлой травкой, — в таком затертом пейзажике колонизатор если и задержится, то только подтянуть подругу, погреться у костра, перевязать рану, допросить аборигена. Иное дело — остров на середине реки: там он возведет Лютецию, — или торчащая неведомо зачем скала — там вырастет Эдинбург, или слияние двух широких и полноводных рек, стрелка, над которой нависает несколько охряных утесов, — там он, суздальский князь Юрий Всеволодович, колонизатор и завоеватель, прикажет основать Нижний Новгород. Фортпост русских в неславянских землях Познзовья, Нижний Новгород сполна вкусил жизни дальнего гарнизона, окруженного неясным, неотчетливым миром местного населения; так же жили в разные времена Буэнос-Айрес и Нью-Йорк, Честер и Майнц. Рейн некогда был границей, отделявшей Империю от варваров; Волга у Нижнего Новгорода в начале XVI века стала границей, отделяющей наихристианнейший Третий Рим от басурман. Это обстоятельство не ускользнуло от столь опытного путешественника, как маркиз Астольф де Кюстин. Вечером 22 августа 1839 года измученный битвой с «пруссакими» (которых он по своей лингвистической глухоте именовал «персиками») путешественник записал: «Эта земля сложена из речных наносов в той самой точке, где сливаются два потока, то есть одною своею стороною она служит берегом Оке, а другою — Волге; то же относится и к нижегородскому утесу на правом берегу Оки. Два эти берега соединены понтонным мостом, ведущим из города на ярмарку; он показался мне таким же длинным, как мост через Рейн на Майнц». Заметим, что к тому времени, когда скандальный маркиз эдаким Чичиковым колесил в легкой своей бричке по России, Майнц из приграничной фортеции давно превратился в уютнейший и центральной уголок безмятежной Европы; а вот Нижний Новгород так и остался на краю, только граница эта была уже не военной, а культурной и экономической. Здесь, на нижегородской ярмарке, сходились Азия с Европой, чай из Кяхты и шелк из Лиона. Безмятежность Майнца и пестрая суэта Нижнего сподвигла Кюстина на несколько абзацев неискренней пацифистской риторики, построенной на противопоставлении мирной Германии и агрессивной России: «Что бы значила сейчас Германия, господствуй повсюду устарелые понятия завоевательной политики? А между тем, несмотря на свою раздробленность, на материальную слабость составляющих ее мелких государств, Германия ныне, благодаря своим поэтам, мыслителям, ученым, благодаря разнообразию в государственном строе ее частей, где есть и князья, и республики, соперничающие не в могуществе, но в просвещенности, в высоте чувств, в проницательности ума, — по уровню цивилизации стоит никак не ниже самых передовых стран мира». Думаю, мы простым легкомысленному маркизу не только уже помянутую лингвистическую глухоту, не только галльское шовинистическое безвкусие (Германия, видите ли, «никак не ниже самых передовых стран мира», то есть возлюбленной Франции!), но и футурологическую слепоту: через тридцать два года после того, как Кюстин воспел миролюбивых германских князьков, оные князьки съехались в оккупированный их войсками Версаль и объявили о создании Германской империи. А двадцатый век лучше вообще не поминать...

Но интересные сейчас не историософские и геополитические просчеты одного из блаженных периодов европейской истории. Я бы с удовольствием задал парящему ныне среди ангелов Кюстину вопросы иного свойства: «А почему тогда эти немцы тысячами ехали из благополучного и изобильного фатерланда в полуварварскую и непредсказуемую Россию? Где здесь логика? И, наконец, кто вас лечил в Нижнем Новгороде от лихорадки?» «Доктор был учен и опытен; он несколько лет провел в Париже, а перед тем получил основательное образование в Германии», — ответит маркиз фразой из своей «России в 1839 году». (Заметим в скобках, что для патристичного автора «несколько лет в Париже» в профессиональной характеристике доктора предшествуют «основательному образованию в Германии»). Итак, немцы в Нижнем Новгороде были, они не могли не быть в этом космополитичном центре, в городе-привратнике у ворот из тогдашней Европы в тогдашнюю Азию; приехали они сюда искать счастья, точнее, заработка; и один из этих немцев, лекарь нижегородского генерал-губернатора Бутурлина, пользовал (как в те годы выражались) захворавшего путешественника.

В то время как глубокомысленные и порывистые немецкие поэты (вкуче с многотомными немецкими философами) еще не начинали лечить дворянские и разночинные русские души, русские тела самых разнообразных сословий уже лечились немецкими лекарями и аптекарями. Особенно последними. До венценосной немки Екатерины II аптеки в Российской империи заводились только в столицах; человеколюбивая государыня повелела Медицинской коллегии «умножить число аптек в Москве и заводить таковые в других городах». Среди «других» был и Нижний Новгород. В немецких газетах, начиная с 1772 года, ежегодно публиковались объявления, зазывающие аптекарей в далекую хлебосольную провинцию; восемь лет спустя пруссак Георг Христиан Людвиг Эвениус изъявил желание переселиться в Россию. Согласно правилам, «гезеля» Эвениуса проэкзаменовали в Петербургской Медицинской коллегии, а затем направили поднимать аптечное дело в Нижний Новгород.

Эвениус не был ни первым западноевропейцем, ни первым немцем в Нижнем. «Немцами», кстати говоря, долгое время именовали всех иноземцев, приехавших из Европы. В 1762-м и 1763-м годах Екатерина II издала манифесты с призывом для поселения в России иностранцев. Им были обещаны покровительство законов, религиозная свобода и податные льготы; после этих манифестов в Россию хлынул поток переселенцев, особенно много было немецких колонистов, поселившихся под Саратовом. Но не под Нижним Новгородом. И все-таки Нижний имел насчет немцев хронологическое первенство: они начали селиться здесь лет за двести шестьдесят до знаменитых екатерининских манифестов. Это были пленники бесконечных войн московских князей с Литвой, их присылали в «понизовые города» целыми партиями и обязывали гарнизонной службой. Ссылных пленных стало особенно много во время Ливонской войны, достаточно вспомнить полсотни горожан немецкого Дерпта (он же русский Юрьев, он же структурно-семиотический эстонский Тарту), высланных в Нижний Новгород за гипотетические контакты с бывшим магистром Ливонского ордена. Немцы устроились в русском городе по-бюргерски обстоятельно: привезли с собой мебель, лошадей, прислугу; им даже разрешили полную свободу передвижений, занятий и вероисповедания: кажется, так грозный царь Иван ни с кем не либеральничал. А при царях Федоре Иоанновиче и Борисе Годунове в Нижний к своим бывшим прихожанам приезжал даже дерптский пастор. А вот что свидетельствует документ — «Писцовая книга» Нижнего Новгорода 1621—1622 годов: «Благочестивого монастыря на монастырской земле, у старого острога, вверх по берегу Оки слободка, а живут немцы». Можно подумать: мол, какие там немцы, просто иностранцы, так нет — приведены фамилии самые что ни на есть немецкие: Шварт, Тритер, Вишерь, Барнарь, Гаткин, Косман, Флит. Остается только вернуть им родную тевтонскую фонетику. Другая запись — другая слобода: «...за старым откосом от ц. Святых апостол Петра и Павла, по берегу Волги реки к Печерскому монастырю слободка нижегородских немцев и литвы». Вот кто обитал в этой слободке: Даниил, Матвей и Михаил Флюверки, Христофор Стрик, «франчуженин» Карл, Адам Борейца, Индрик Мелляр, Крашевский, Ловецкий, Ляховский... Где жили, там и упокаивались: «...а за старым острогом от устья Святого ручья вверх по бечеве немецкое кладбище». Основным занятием нижегородских немцев было тончайшее ремесло возгонки спирта, респектабельное пивоварение и совсем не респектабельное ростовщичество. Памятуя о широко разрекламированных особенностях русского национального характера, можно предположить, что все эти профессии были вполне прибыльными.

Как прибыльным, наверное, было и ремесло Эвениуса. Иначе бы «Егор Крестьянович» (так прозвали Георга Христиана нижегородцы) не прожил бы в городе более пятидесяти лет. Но аптекарское дело — не только одно из самых прибыль-

ных, оно — одно из самых тонких, посложнее даже винокурения, особенно тогда, в XVIII веке. Во-первых, нужно было построить довольно большой дом и обставить его. Аптека Егора Крестьяновича на Варварской улице славилась иллюминацией: на подоконниках ее лежали большие стеклянные шары-сосуды, наполненные цветными жидкостями. Фонарей в Нижнем Новгороде тогда не водилось. Свет аптечной лампы, проходя изнутри помещения на улицу сквозь эти шары, давал эффект радужного свечения на несколько метров вокруг дома. Можно представить, что здесь всегда толпились зеваки, назначались свидания, что сюда водили на экскурсию утомленных Кремлем и видами Заволжья гостей. Во-вторых, нужно было укомплектовать аптеку снадобьями. Лекарства в те времена были весьма заковыристыми; одних только жиров не менее десяти названий: сало псовое, сало диких котов, волчье, лисье, язвцовое, свиное, медвежье, говяжье, козлиное, змеиное. Сверх этого бедный Георг Христиан Людвиг Эвениус был вынужден доставать щучьи зубы, зерна ерша-рыбы, кабаньи и волчьи клыки, рога оленей, заячьи лодыжки, можжевельные ягоды, нефть, уксус. На импорт вышеперечисленного петербургское аптечное начальство смотрело неодобрительно и терроризировало аптекарей следующими предписаниями: «Например, ежели требоваться будут заячье сало, лодыжки заячьи, волчьи и щучьи зубы и проч., то им, купчинам, о том осведомиться в ближних поместях и господских домах или монастырях...»

Эвениус умер в 1830 году. Немцев в Нижнем Новгороде и его округе становилось все больше. Судьбу одного из них описал Кюстин: «...был убит новый помещик-немец, известный знаток земледелия и рьяный проповедник новых способов севооборота, до сих пор неупотребительных в этих краях. К помещику явились двое яковы для покупки лошадей, вечером вошли к нему в комнату и убили его. Как утверждают, все это подстроили принадлежавшие убитому крестьяне в отместку за нововведения в возделывании полей, которым иностранец пытался их научить». Вот она — коллизия гончаровского «Обломова» и чеховской «Дуэли». Штольц учит Обломова вести хозяйство, за это Обломов убивает Штольца. Таков нижегородский вариант бессмертного сюжета.

После смерти немецкого аптекаря Егора Крестьяновича проходит семьдесят два года. В Нижний Новгород приезжает еще один немец, немец, ставший потом почти знаменитым в отличие от безвестного Эвениуса. Первого августа 1902 года «отдельным» (то есть единственным) цензором города был назначен Эмилий Карлович Метнер, дальний потомок артиста Немецкого придворного театра в Петербурге Фридриха Альберта Гебхарда, сын одного из директоров акционерной компании «Московская кружевная фабрика» Карла Петровича Метнера, брат известного композитора Николая Метнера. Сам Эмилий Карлович — музыковед, историк культуры, один из основателей и владелец знаменитого позднесимволистского издательства «Мусагет». Четыре года цензор Метнер, славянофил и популяризатор Канта, жил в нижегородском Кремле. Давно уже пришел черед немцам лечить русские души. Слово — поэту, прозаику, теоретику символизма Андрею Белому, ближайшему тогда другу Эмилия Метнера: «И вдруг мне блеснуло: бежать, скорей — в Нижний, к единственному человеку, который не шут, не ребенок и не «скорпион» — человек понимающий, муж, не романтик: к Эмилию Метнеру!» И Метнер примчавшегося из Москвы Белого не подвел, вылечил, помог. «Такое чудесное перерождение — действие Метнера», — с (не свойственной ему) благодарностью замечает Белый. Это потом будут недопонимание, ссоры, скандал в Дорнахе, большевизация русского поэта и фашизация немецкого культуролога. А пока Нижний Новгород — место счастливой русско-немецкой идиллии; вот по Верхневолжской набережной идет самый нереализовавшийся русский гений под ручку с вполне реализовавшимся положительным немецким талантом. Не дожидаясь самого худшего — двух мировых войн и одной холодной, — расстанемся с нашими героями, Нижним Новгородом, русскими и немцами, на этой идиллии: «И потом, надев шубу с прекрасным бобром, схватив палку крюкастую, крепкий и стройный, он влек на откос; мы неслись над обрывистым берегом Волги; за Волгою, в голых лесах, ниже нас, разгоралась заря; снесся снежный покров; Волга тронулась; был ледоход; птицы пьяно чирикали, выпив весны; пролетев над откосом — в Кремль, к Мельникову: слушать сказки о жизни хлыстов...»

Но обратите внимание: сказки — о хлыстах...



До, во время и после войны

Я родился на Подолье, в селе Ивановка. Наше село пересекала тихая полноводная речка с причудливым названием Мурафа. Она словно бы символизировала такую же тихую, спокойную жизнь местных крестьян.

Само село раскинулось на зеленых холмах, из палисадников выглядывали белые хатки, покрытые соломой. По вечерам, после трудной работы, люди отдыхали на завалинках, аккуратно выкрашенных в синий цвет. У калитки, у крыльца сирень, чернобрицы, георгины... Земляные полы в хатах поддерживали прохладу и в самые знойные дни, а мята, любисток и сушеные полевые травы насыщали все вокруг неповторимым ароматом.

Здесь жили всего три еврейские семьи. Как они жили? А как могли жить евреи в черте оседлости? Занимались торговлей, другого рода занятия для них были запрещены. Вся жизнь их была на виду у местных жителей, и те относились к евреям дружелюбно, как к своим односельчанам. Недаром же, когда наступили смутные времена (гражданская война и революция), когда очередные погромщики схватили моего отца, крестьяне, вооружившись чем попало (дубинками, вилами, косами, серпами), ринулись к атаману с криками: «Отдай нашего Йоську!» И действительно отбили его, спасли.

Уже при советской власти мои родители переехали в еврейское местечко, в Яругу. Евреи в этих местах жили с незапамятных времен: говорят, они были потомками соплеменников, бежавших из далекой Испании от инквизиторских костров. Интересно, что основным занятием их было виноградарство. Наверное, этим делом занимались еще их предки в Испании, и они перенесли на украинскую землю любовь и привязанность к виноградной лозе. Так мне кажется.

Местечко располагалось на горе над Днестром и очень напоминало своим обликом что-то давно знакомое: может быть, этому способствовали шагаловские домишки, кривобокие, покосившиеся, наполовину сидевшие в земле. Они тесно лепились друг к другу.

Наши соседи любили подтрунивать друг над другом, шуткам, розыгрышам не было конца. Однако все это делалось добродушно, по-хорошему. Почти у каждого жителя было какое-нибудь смешное прозвище, забавное, но не обидное.

Еврейская община играла существенную роль в жизни местечка. Она решала споры, занималась благотворительной деятельностью. Да мало ли чем еще! Общину возглавляли наиболее уважаемые люди, в том числе и мой отец.

Украинцы и евреи жили в добром согласии, каждый занимался своим делом и не мешал другому. Крестьяне выращивали зерно на равнинах, а евреи на склонах гор обрабатывали виноградники.

И у нас был виноградник. Он находился на Ивановской горе.

Какое удовольствие сидеть под грушей, есть виноград с краюхой черного хлеба, натертого чесноком! А еще казались настоящим лакомством виноград с селедкой и тем же хлебом. Съешь, запьешь чаем из шипящего самовара. Объедение!

Впрочем, чтобы ощутить всю прелесть подобной еды, нужно, наверное, не меньше нас потрудиться. Хороший урожай без изнурительной работы не получишь. Все начинается еще ранней весной. Именно в эту пору откапывают лозы из земли и аккуратно привязывают к проволоке. А пойдут побеги в рост — производят вторую, а порой и третью подвязку. Несколько раз опрыскивают посадки раствором медного купороса. Иначе нельзя! Того и гляди, появится филлоксерия — и все-все тогда пропало!

Но выращивание и сбор винограда — только часть дела. Транспортировка, хранение, переработка на вино...

И осенью продолжается напряженный ежедневный труд. Нужно обрезать и прикопать лозу. Идет подготовка к следующему году — этот круговорот забот и тревог не кончается никогда...

В пору созревания винограда мы с отцом и ночевали на винограднике. Спали в так называемом буде (треугольной формы каркас из жердей, покрытый виноградными листьями). На рассвете отец приносил мне гроздь винограда, только что срезанную с куста, еще покрытую точечками искрящейся росы.

Сладкий холодный виноград, прозрачно-звонкий воздух, вся красота окружающей природы, добрая улыбка отца — этого не забыть.

Мои родители не были религиозными людьми, однако по традиции соблюдали субботу. Накануне, в пятницу, мама готовила фаршированную рыбу, выпекала вкусный домашний хлеб, разные печенья, покупала сладости. К субботнему столу всегда приглашались гости, преимущественно бедняки.

А по воскресеньям на базарной площади шумела ярмарка. Из окрестных сел целыми семьями являлись крестьяне. Кто пешком добирался, кто на лошадях, а кое-кто и на неторопливых волах.

Ярмарка всегда была не только торговым мероприятием, но и ярким, веселым праздником. И я ждал ее с великим нетерпением. Девушки в праздничных одеждах, с красными кораллами на шее и такими же серьгами в ушах. Мужчины в лихо заломленных барашковых шапках, белых сорочках, шароварах и сапогах со скрипом. Я высматривал старого лирника с голубкой. За гроши он вытаскивал из картонной коробки счастливый билетик. Этот бедный старик почему-то вызывал у меня острое чувство жалости, он казался мне одиноким, никому не нужным.

В детстве я часто болел. По соседству, в селе Томашовке, жил бывший земский врач Машковский. У него была хорошая репутация, люди верили ему. И отец часто привозил его ко мне.

Однажды Машковский решительно сказал: «Ему нужно море!»

И мама повезла меня в Одессу.

От гостей из Яруги в Одессе ожидали всякое, принимали их с некоторой опаской, но и с охотой. Простодушные поступки яругжан становились темой бесконечных веселых рассказов, разряжали унылое однообразие ежедневной жизни.

Из окна третьего этажа дома дяди Самуила, где мы остановились, видно море.

В пяти — семи минутах ходьбы знаменитая Дерibasовская.

Дядя Самуил работал бухгалтером, был скромным человеком. Но было и у него, как принято сейчас говорить, «хобби». Дядя был заядлым театралом. Он завел толстую тетрадь и всю жизнь записывал в нее, что, где и когда смотрел, не только называл фамилии артистов, но даже указывал цену билета. Думаю, что эта тетрадка, если она сохранилась, могла бы неплохо послужить историкам одесских театров.

Однажды вечером дядя Самуил и нас повел в театр, в оперетту. Давали «Баядеру». После увертюры он не удержался и спросил, нравится ли мне музыка.

— Нет, — ответил я. — Вот у нас, в Яруге, духовой оркестр дяди Тимофея как заиграет марш Буденного, сразу понимаешь, что это настоящая музыка! А здесь непонятно что к чему: каждый играет, как хочет!..

Не знаю, помогла ли моему здоровью жизнь у моря, но, когда мы собрались уезжать, я почувствовал, как меня тянет домой...

В Яруге было две школы: украинская семилетка и четырехклассная еврейская.

Когда мне исполнилось семь, мама отвела меня в первый класс еврейской школы. Школа мне понравилась, читать и писать я научился довольно быстро. До сих пор помню мою первую учительницу Санис — строгую, требовательную, всегда справедливую.

Школа находилась почти на самом Днестре, на другом берегу — бессарабское село Атаки. Случалось, что пасущаяся невдалеке лошадь переплывала на наш берег, и тогда пограничники встречались на лодках на середине реки и договаривались о возврате «нарушителя».

Закончив четыре класса, ученики еврейской школы свободно переходили в пятый класс украинской. Так поступил и я. Сложности в переходе на украинский язык не было: на этом языке говорили вокруг, каждое слово знакомое, понятно... И все же было не так легко, как могло показаться. Например, таблицу умножения я крепко заучил на идиш. И это так в меня въелось, что и сейчас — десятки лет спустя, в ста-

рости — я невольно множу числа про себя на идиш (драй мул ахт из фир ун цванциг), а результат уже произношу по-русски или по-украински.

Дети, как всегда, живут своей жизнью. Взрослую жизнь они почти не замечают, хотя вроде бы существуют рядом с нею.

А взрослым жить в то время — даже в тихой Яруге — было непросто...

Что происходит в стране, то и в тихой Яруге. Прокатилась, например, по ней так называемая «золотуха». Людей сажали за золото. Не только тех, у кого оно было, но и тех, у кого не было. В Яруге еще называли эти операции «красное золото». Любого ГПУ могло арестовать и держать до тех пор, пока тот не соглашался отдать золотые монеты или вещицы. Ну хорошо: а если золота у человека нет? Изволь добыть его!

Так посадили нашего соседа Герша Гриншпуна и, только когда он где-то достал три золотые монеты, освободили.

Другой яруганин просидел целых три месяца.

— Нет у меня ничего, — упорно твердил он.

Следователь пошел на своеобразную хитрость — он понимал: человек так истосковался в неволе, что после короткого пребывания в родных стенах не захочет возвращаться в тюрьму.

— Ладно, отпускаю тебя на неделю, — сказал он Гершу. — Поживи дома, подумай! — И добавил: — Надо быть сознательным человеком! Советская власть бедна. А нам нужны средства на индустриализацию страны, в конечном счете на построение социализма.

Через неделю несчастный еврей вернулся с пустыми руками на дальнейшую отсидку.

— Так, — сказал следователь. — Ты что же, ничего не понял?

— Я-то понял! Жена не поняла. Сказала: когда нет денег, не строят социализм.

В конце 20-х началась коллективизация. В Яругу прикатил коммунист Фирюбин. Он был малограмотным, но какое это имело значение? Он упивался властью. Постоянно повторял одну и ту же фразу: «Кулак на линии сидит!» Не все понимали, что это значило. Может, то, что кулаки препятствуют проведению коллективизации?

Шумно прошло общее собрание, на котором принято было решение о «добровольном» вступлении в колхоз. Попробуй не вступить...

На деле все выглядело так: Фирюбин с несколькими членами комнезема (комитет незаможнів) в сопровождении оркестра, исполнявшего бравурные мелодии, ходил от подворья к подворью и предлагал немедленно записываться в колхоз...

Одни были «раскулачены», другие в страхе бежали куда глаза глядят, бросив на произвол судьбы все, что было нажито. В колхоз шли немногие, отнюдь не лучшие...

Вспоминается семья Мотеля Штеренберга. У него отобрали полтора гектара виноградника, а сам он был выслан и сгинул без следа. И с Абрамом Коломенским поступили так же. И с Генендой Сандагурской. Узнав, что им грозит, эти люди ночью бежали из родных мест. Все пришло в запустение, пропало.

До сих пор вспоминаю Леонтия Томака, его четыре-пять гектаров отлично возделанной земли, ухоженных лошадей, коров, мелкую живность. Куда все девалось? Ради чего загубили и землю, и жизнь многих работников? Никто тогда не мог толком ответить на этот вопрос.

В 1934 году наша семья переехала в Овруч. После глухого местечка небольшой городок Житомирской области показался мне центром мировой цивилизации. Мощные улицы, тротуары и мостовые, электричество, радио, кинотеатр. Парк, Дворец культуры. И самое главное — библиотека! Я не вылезал из нее, брал книги, читал, читал.

В приснопамятном 1937 году начались аресты. Каждый раз мы ложились спать с тревогой и, просыпаясь, радовались, что ночью ничего не случилось...

Запомнился тридцать восьмой год. Как-то показывали документальный фильм то ли о партийном съезде, то ли о каком-то другом государственном мероприятии. Кинозал небольшой, весь заполнен. А у входа, возле темной бархатной портьеры, бдит директор кинотеатра — плотная, коренастая, полногрудая женщина с повадками жандармского офицера. При появлении на экране Сталина она зычно командовала: «Встать!» — и все поднимались. Сталин, помячив на трибуне, уходил за кадр. «Сесть!» — командовала дама. Удивительно, но я в то время воспринимал все это вполне нормально, не возмущался.

Родные уговорили меня поступить в медицинский, и я поехал в Киев. Город меня просто потряс. Только теперь я понял, что такое большой настоящий город! Потом, повидав многие другие города, я понял — это особенный город.

После теплого, родного дома в Овруче мне казалось неудобно в шумном казенном общежитии. И вскоре я перебрался на частную квартиру, снял угол в районе Сенной площади.

Ясное, солнечное утро. За окном шумит Сенной базар. Этот шум не мешает, он как-то летит мимо слуха. Я лежу в постели и готовлюсь к экзамену по марксизму-ленинизму. Предмет не имеет отношения к моей будущей профессии, но теперь считается, что он имеет отношение ко всему, поэтому сдать нужно как можно лучше — не то... Всякое бывает!

Часов в девять-десять в комнату вбегает взволнованная, раскрасневшаяся хозяйка.

— Война! — кричит она. — Война! Немецкие самолеты бомбили Жуляны и Святошино!

Я все еще не могу оторваться от «Краткого курса». Наконец до меня доходят ее слова. Вскрываю:

— Откуда вы знаете? Может быть, это просто слухи, случайная болтовня?

— Ну да! Крестьяне из Жулян и Святошина приехали на базар и рассказали. Они видели и самолеты, и взрывы.

Быстро одеваюсь, выбегаю на улицу. Хочется быть среди людей... На Крещатике — молчаливые толпы. Они все гуще. Репродуктор каждые несколько минут повторяет одну и ту же фразу: «Слушайте важное правительственное сообщение». Лица обращены вверх, все, замерев, смотрят на черную тарелку на столбе, из которой вылетает сдержанно-тревожный голос диктора...

Через несколько дней стало понятно: мы не просто отступаем, мы стремительно отступаем. С тоской прохожу мимо военкомата, завидно: чудится, всех берут в армию, кроме меня.

Прошло несколько дней, и стали прибывать санитарные машины с первыми ранеными. У проходной их встречали студенты первого и второго курсов, осторожно на носилках доставляли в хирургическое отделение клиники.

Линия фронта стремительно приближалась. Началась эвакуация — по железной дороге, по Днепру. С предприятиями и учреждениями уезжают люди, работающие на них. Пытаются уехать и просто жители города — кто на грузовиках, кто на лошадях.

Мединституты собираются в Харьков. Оборудование лабораторий погружают в эшелоны. Старые профессора забираются в теплушки. А нам, студентам, предложено топтать пешком. Это пятьсот километров!

Днем кто быстрее, кто медленнее, но все идут, идут... К ночи стараемся оказаться в каком-нибудь селе. Хозяева в основном радушны: у многих сыновья в армии. Кормят нас. Кувшин молока или простокваши из погреба, яйца, хлеб — все, что есть в доме, оказывается на столе.

... Чем ближе к Харькову, тем усталость сильнее. Мы иногда уже задерживаемся не только на ночь, но и на два-три дня остаемся у гостеприимных крестьян.

Правды ради надо сказать, не все и не всегда приветливы, некоторые встречают нас с осторожным осуждением: как же так — на фронте кровопролитные бои, а вы, здоровые хлопцы, уходите в противоположную от войны сторону?

За двадцать — тридцать километров от Харькова нас начинают встречать особые заградотряды: тщательно проверяют документы.

Вот и Харьков. Пришли наконец.

Оба наших мединститута объединяют в один. Нам выделяют прекрасное здание в центре.

Мысли заняты войной. Мало кто знает, где родные, близкие, живы ли.

Мне посчастливилось устроиться в эвакуогоспиталь. Днем — занятия, ночью — дежурства.

Родители знали, что мой мединститут в Харькове. Но не были уверены, что и я там. Мало ли что могло случиться? И все же разыскали меня. Приехали на лошадях, привезли мне белье, пальто, валенки. Встреча была такой радостной и грустной! Они бы остались, но в Харькове ни жилья, ни работы. Я хоть учусь, подзарабатываю в эвакуогоспитале. А что они могут?

Родители уехали в Горьковскую область. Почему именно туда — я уже не помню.

Так мы расстались. Может быть, навсегда...

Немцы заняли Киев и, переправившись через Днепр, стали быстро продвигаться по левобережной Украине.

Уже и Харьков бомбят. Хочется бросить занятия — и на фронт. Но наш черед придет — позже, но придет. Нужно набраться терпения и делать свое дело.

Мы видели эвакуацию Киева. И то, что началось в Харькове, для нас уже не в новинку. Эвакогоспиталь, где мы, группа студентов, подрабатывали, собирався в дорогу. И мы решили ехать тоже. Медицинститут не возражал, госпиталь нуждался в наших руках. Под взрывы авиабомб покидаем Харьков... О, как долго этот путь неведомо куда!

Мы часами стоим на станциях, пропуская воинские эшелоны. Куйбышев, Уфа, а вот и Урал... И наконец цель ясна — Красноярск.

В Красноярске появилась комиссия по проверке штатно-должностного расписания. Выявили, что несколько студентов-медиков работают в госпитале. Не положено, оказывается! Студенты должны учиться! Так я остался без заработка. И вообще неизвестно, при ком и при чем. Что же делать? И я решил. Поехал в Новосибирск, самый близкий к Красноярску город, в котором был медицинститут.

...Студенты — народ неунувающий. Мы весело встретили 1942 год. Встречали дважды — и по местному времени, и по московскому. Каждый принес что мог, и получился — по военной године — вполне приличный стол: и выпивка была, и закуска. А выпить было за что: все-таки дождались мы контрнаступления наших войск под Москвой! Первые сводки радовали, а не огорчали: немцы отступали...

Может быть, это и случайное совпадение, но именно в это время открылся сезон в местной филармонии, и я ходил на симфонические концерты Курта Зандерлинга. А в переполненном актовом зале института как-то выступил и совершенно потряс меня Вольф Мессинг, непостижимо угадывавший мысли на расстоянии.

Подрабатывал фельдшерством. В трудные минуты и донорство помогало. За сданную кровь кормили обедом, давали двести граммов масла и хлебную карточку на восемьсот граммов (предварительно забрав ту, что была на четыреста).

Прошла зима. Я без особых приключений сдал экзамены и перешел на четвертый курс.

У нас в институте новость: из Омска прибыл представитель 2-го Московского медицинститута с предложением перевестись к ним, на четвертый курс военного факультета. Дело добровольное. Не раздумывая, написал заявление, и меня сразу же зачислили на военфак.

Военный факультет представлял собой самостоятельное военно-медицинское учебное заведение со своим командованием, штатом, учебной и хозяйственной частью, общежитием (казармой), столовой. Военфак напрямую подчинялся Главному военно-санитарному управлению Красной Армии. На факультете было всего два курса: четвертый и пятый. Каждый курс состоял из двух рот, рота — из трех взводов. На курсе были старшина и его помощник.

В мае 1943 года военфак реэвакуировали в Москву. Штаб военфака и основные клиники расположились во 2-й Градской больнице, старинном медучреждении, построенном некогда на пожертвования князя Голицына. Там-то и слушали мы лекции выдающихся ученых: хирургов Бакулева, Левита, окулиста Авербаха, терапевта Зеленина. К этому времени нам, слушателям военфака, присвоили звание лейтенанта медицинской службы. Мы стали пользоваться относительной свободой. Можно было, например, жить в частных квартирах. Нам стали выдавать паек по второй фронтной норме. Разрешалось получать его на руки. А можно было и в столовой питаться.

Военная Москва сорок третьего года производила сильное впечатление своей деловитой серьезностью, интенсивным ритмом жизни. Несмотря ни на что, работали театры и музеи.

Мы стали завсегдатаями Большого театра. Не раз слушали выдающихся певцов: Козловского, Лемешева, Барсову, Михайлова, Рейзена, Петрова.

Бывали мы в Государственном еврейском театре, смотрели «Короля Лира» и «Тевье-молочника» с великим Соломоном Михозлсом. Этого не забыть никогда!

Посещали и симфонические концерты. В Большом зале консерватории в овалах, выбитых в стенах, с давних пор висели портреты великих композиторов. Странно было теперь видеть пустоту там, где раньше красовались портреты Бетховена и Мендельсона. История с Мендельсоном выглядела особенно нелепо. Мендельсон-то был евреем, а не немцем. Но заодно на всякий случай убрали и его.

Наступило лето. Прогремела битва на Курской дуге. Москва впервые салютовала войскам, освободившим Белгород и Орел. Стреляли трассирующими пулями. Зрелище красочное, но случалось, пули рикошетом попадали в людей. Потом уже сообразили и стреляли только холостыми патронами.

Наконец в конце декабря 1943 года сдан последний экзамен, каждому из нас присвоена квалификация врача-лечебника.

А в январе 1944 года я отбыл в действующую армию, на Карельский фронт. Он прикрывал наши железнодорожные и морские пути на северном фланге. Немцы бросили сюда части горных егерей, у них был опыт боев в холмисто-лесистых местностях. «Героев Крита» и «Нарвика» манили природные богатства Кольского полуострова и Карелии. Они устремились к Мурманску, пытались перерезать Кировскую железную дорогу. Им удалось выйти к Западной Лице, захватить Петрозаводск. Но жестокая северная зима, труднопроходимые леса и болота, бесчисленные реки и озера, которые не так просто было форсировать, замедлили продвижение врага. Я уж не говорю о стойкости наших войск, о непрерывных изматывающих контрударах. К декабрю 41 года немцы вынуждены были остановиться. Линия фронта стабилизировалась надолго. Как выяснилось потом, до конца войны Мурманск остался нашим!

Поезд доставил нас в Беломорск. Типичный северный городок — деревянный, двухэтажный.

Меня направили в штаб 26-й армии, в Кемь. На следующий день я отбыл в 86-ю дивизию на должность командира санроты стрелкового полка.

Старший врач полка капитан Игорь Волков ввел меня в круг моих обязанностей и поселил в ту же землянку, где жил сам. Все у нас было общим, даже ординарец один на двоих. В штате санроты числились еще младший врач, старшина, санитары, повозочные и... 16 лошадей.

Ясные морозные дни. Обычная температура воздуха — градусов тридцать, было и больше. Снег — до пояса. Между землянками еще можно пройти — протоптавались дорожки, но дальше — только на лыжах.

Красива карельская ночь. Звезды крупные, яркие; а выйдет луна, и мир окрашивается в сизо-голубые цвета, кажется призрачным, почти нереальным. Но вот взлетает ракета, она зависает на мгновение над хвойным лесом и рассыпается разноцветными искрами. И тут же раздаются пулеметные очереди, завывают минометы, бухают орудия. Все живое замирает, зарывается в землю.

Передний край только кажется неподвижным, на самом деле здесь идет непрерывная работа: наблюдение за противником, минирование местности, строительство проволочных заграждений. Словом, фронтовые будни.

Санрота располагалась примерно на расстоянии одного километра от передовой. По-настоящему боевое крещение началось для меня в феврале. Одному из батальонов поставили задачу: выйти в тыл противника, провести разведку боем и, взяв «языка», вернуться на место прежней дислокации. В таких операциях, конечно же, без потерь не обходится. Поэтому при батальоне должен неотлучно находиться и врач. Я тут же вызвался на это боевое задание. Но начальник штаба вдруг спросил: «Капитан, а ты на лыжах ходить умеешь? А стрелять из автомата? А держать круговую оборону и маскироваться? Ах, не приходилось! Так куда же ты съешься, доктор новоиспеченный?» Я не знал, что ответить. Ему было сорок два, он был профессиональным военным, а мне — двадцать два. Но, посмотрев в мои глаза, он сказал: «Ладно, пойдешь, но будь осторожен, приглядывайся к тому, что делают другие...»

Безлунной ночью вышли мы на лыжах и через некоторое время очутились на «ничейной земле». Батальон растянулся на несколько сот метров. Впереди — боевое охранение, позади — лучшие лыжники, они следят, чтобы кто-то не отстал, не потерялся. За плечом у каждого солдата — автомат, на поясе — запасные диски. Экипировка удобна, но тяжеловата. А каково санинструкторам, волокущим еще санки для эвакуации раненых да комплект необходимого медимущества? Хочется пить... Зачерпываю пригоршню снега и отправляю в рот. Не помогает!

Так прошли километров тридцать. Мы уже в тылу противника. Разведчики внимательно изучают местность. Завязываем перестрелку с противником. Наконец удастся захватить троих пленных. Наши потери незначительны. Нескольким легко раненым бойцам оказана первая помощь, упаковываем их в меховые конверты и на санках-волокушах везем к своим.

Батальон отходит организованно. Ночь еще проводим на нейтральной территории. Солдаты вытапывают большие ямы в снегу, дно выстилают сосновыми ветками, ложатся набок, прижимаясь друг к другу. Так теплей. Каждые тридцать минут по команде переворачиваются на другой бок: профилактика воспаления легких.

На рассвете поднимаемся и возвращаемся в расположение полка.

В мае 1944 года меня перевели в 43-й медсанбат 45-й стрелковой дивизии на должность командира санвзвода. Здесь оперировали раненых, лечили больных, предупреждали вспышки эпидемии. На этом фронте служили в основном ленинградские

медики, часто специалисты высокого уровня. Они и лечили, и проводили с нами, молодыми врачами и сестрами, не столько теоретические, сколько практические занятия.

В сентябре нашу дивизию перебросили на мурманское направление. Тундра, скалистые сопки, покрытые мхом, и снова множество мелких озер и речушек. И над всем дует пронизывающий северный ветер... Окапываемся, с трудом вгрызаясь в каменный грунт.

В октябре в составе 14-й армии участвуем в боях за освобождение города Петсамо. 45-я дивизия получает название Петсамской и награждается орденом Кутузова. В конце октября удается занять Киркенес, главную морскую и воздушную базу противника. Я — в санроте 10-го стрелкового полка. Нас непрерывно бомбят. Одна из бомб разорвалась совсем близко от медпункта. Воздушная волна сбивает всех с ног. Дым и гарь. Я контужен, но работу не прекращаю.

Город Киркенес практически уничтожен. Только кое-где на месте домов торчат обгорелые дымоходы, которые похожи на надгробные памятники. Жителей не видно, они прячутся в окрестных шахтах.

Приехал старшина, привез сухой паек и положенные фронтовые сто граммов. Поужинали и мгновенно уснули. После грохота войны и промозглой заполярной тундры казалось, что мы в раю.

Норвежцы рассказали нам о местном лагере для военнопленных. Жители Киркенеса, несмотря на строжайшие запреты, умудрялись бросать узникам за колючую проволоку кое-какую еду.

Фашисты, отступая, увезли все, включая запасы продовольствия. Ежедневно у солдатских кухонь с котелками в руках выстраивались голодные дети, старики. Наши, разумеется, делились с ними пищей. Разве могли мы поступить иначе?

Северная Норвегия запомнилась мне навсегда горными ручьями, густыми лесами, сине-голубыми фиордами. И сами норвежцы необыкновенно симпатичны. Поразили порядок и чистота их жилищ. В Норвегии нет замков на дверях, там не воруют. В старину за воровство отсекали правую руку.

В Киркенес прибыла норвежская воинская часть, во время войны ее сформировали в Англии. В один из вечеров мы пригласили норвежцев на вечер самодеятельности. Они смотрели на доморощенных артистов, дружно аплодировали. Когда норвежцы собрались уходить, мы с удивлением и любопытством наблюдали, как солдаты подавали друг другу шинели.

Уже после войны в Киркенесе воздвигли памятник нашим погибшим солдатам с короткой надписью: «Норвегия благодарит вас». А у меня и моих потомков всегда будет храниться медаль «За оборону Советского Заполярья».

Именно в Заполярье есть участок границы, который немцы так и не смогли перешагнуть.

На рассвете 9 мая меня разбудил старшина Валишев. Выбегаю из землянки. Кругом стрельба: салютуют солдаты долгожданному дню! Подхваченный общим порывом, я тоже вытаскиваю пистолет и разряжаю в воздух всю обойму.

А днем части дивизии под снегом прошли маршем по площади в Петсамо. Надо было видеть, как солдаты печатали шаг, как светились их лица!

Вечером с моим другом Сашей Коробко мы оседлали коней и поскакали в медсанбат праздновать День Победы. Сколько раз еще нам суждено отмечать этот незабываемый день?

Война кончилась, но служба продолжалась...

Наш 61-й стрелковый краснознаменный киркенесский полк разместился на речке Титовка. Эта речка несет свои воды в Северный Ледовитый океан, который от нас всего-то в двенадцати километрах. Мы постоянно чувствуем его пронизывающее арктическое дыхание.

Санрота и землянка, где я живу, распложены у водопада, трудно привыкнуть к его неумолкающему грохоту. Но человек так устроен: привыкает ко всему. И я привык... Лето, белые ночи. День ли, ночь ли — не поймешь. Я часто брожу вдоль реки.

Однажды увидел ныряющих солдат. В такую-то холодную воду! Как военный врач подхожу к ним и требую прекратить это занятие: еще воспаление легких схватят. Солдаты объясняют: они астраханские рыбаки, а тут семга идет из океана на нерест. Только тогда замечаю на берегу кучу крупной рыбы. «Рыбаки», оказывается, глушили ее гранатами!

Вскоре я получил отпуск.

Можно представить, с каким волнением ехал я в родной город. Товарные эшелоны, множество пересадок...

Недалеко от Киева, в Нежине, в нашу теплушку посадили группу детдомовцев с воспитательницами. Первые послевоенные месяцы, дети тощие, печальные, кое-как одетые. Как только поезд тронулся, некоторые детишки стали плакать, просить есть.

Смотреть на это было невозможно.

Сало, колбаса, хлеб из рюкзака — словом, весь мой сухой паек ушел на бутерброды для детей. Малыши повеселели. И у меня на душе потеплело.

В 1947 году я демобилизовался и вернулся, так сказать, на гражданку.

Как жить дальше? Чем заняться?

Меня зачислили ординатором в онкоурологическое отделение. Я работал под началом Бориса Леонидовича Полонского — блестящего ученого. Он тоже прошел войну, много оперировал. Усердно собирал материалы для докторской диссертации. Защитился и возглавил первый в стране диспансер по оказанию специализированной урологической помощи онкобольным. Остроумный, веселый Борис Леонидович любил музыку, был меломаном, ходил на все концерты и театральные премьеры.

Урологию я начал осваивать с нуля. Борис Леонидович терпеливо учил меня (да только ли меня?) всему: и правильному собиранию анамнеза, и разным методам инструментального обследования больных, и, наконец, самому главному — технике хирургических операций. В ту пору я много ассистировал на операциях, охотно делал всю черновую работу. Накапливался опыт. Постепенно я и сам стал оперировать. Борис Леонидович привлек меня и к научной работе.

Необходимо упомянуть и других моих старших коллег и учителей. Профессора Слонима, например. В недавнем прошлом фронтовик, главный хирург армии Исаак Яковлевич Слоним не только возглавлял онкохирургическую клинику, но и являлся главным онкологом Минздрава Украины, заведующим кафедрой онкологии института усовершенствования врачей. Как он только все успевал! И оперировать, и с учениками работать, и монографии писать! Широко образованный человек, он занимался не только узкоспециальными темами. Чего стоил его замечательный семинар «Философские проблемы в медицине»! Мне Слоним поручил сделать доклад на такую тему: «Влияние Писарева на философские взгляды в медицине». Каково?! Сколько мне пришлось прочесть для этого доклада литературы отнюдь не медицинской. Сперва я думал: зачем это нужно? Но после доклада неожиданно почувствовал себя другим человеком: с новыми знаниями, интересами, мыслями. А Слоним, прослушав мое выступление, мягко, в предельно корректной форме, объяснил и мне и всем присутствующим: «Будущему научному работнику следует знать, что преамбула должна занимать не больше трети доклада, а суть вопроса — две трети. У вас же, Моисей Иосифович, получилось наоборот!»

В Октябрьской больнице работали и другие выдающиеся ученые. Я имел счастье слушать на конференциях и просто видеть профессоров Маньковского, Губергрица, Чайку, Коломийченко, Лурье. Какая школа для меня! Сколько было понято и освоено на всю жизнь!

Мы свободно могли спорить, высказываться по любому поводу, и нас доброжелательно выслушивали всегда, поощряя самостоятельность мышления, независимо от того, правы или не правы мы, говорим по существу или несем ахинею...

К сожалению, жизнь никогда не бывает гладкой. Это я хорошо почувствовал, когда на место И. Я. Слонима пришел профессор И. Т. Шевченко. Он выдавал себя за внучатого племянника великого поэта. Так ли это было, не знаю, но высшее начальство благоволило к нему. Посредственный хирург, настырный администратор, он совмещал массу должностей и ни с одной не справлялся до конца. А люди, забившие тревогу, быстро лишались работы. Эта участь постигла опытного заведующего отделением, вскоре он умер от инфаркта.

Шел 1952 год: газеты разоблачали безродных космополитов, врачей-убийц в белых халатах. Носились слухи о депортации всего моего народа.

Каждый день я с трудом разворачивал киевские газеты. Фельетоны, фельетоны — из номера в номер. В скобках — подлинные фамилии. Еврейские, разумеется. В местных медицинских учреждениях началась «охота на ведьм». Уже арестован мой добрый знакомый доцент Крисон. Позже он расскажет мне, как его допрашивала женщина, прокурор города, каким площадным матом сопровождала эта дама свои дикие вопросы.

Шевченко тоже времени не терял. По его требованию в диспансере работала комиссия, составившая в конце концов предвзятый акт обследования, который и пе-

редали в райком партии. А дальше пошло-поехало. Дело, оказывается, не в низкой квалификации руководителя хирургии диспансера, а в засоренности кадров! На бюро райкома зачитано было заранее заготовленное решение о снятии с работы главврача. Горздраву предложено пересмотреть «соответствие кадров», что, по сути, означало изгнание из диспансера большинства врачей-евреев. Следственным органам рекомендовано заняться нами.

Из райкома мы вышли просто в шоке. А кому пожалуешься?

Пришел домой, попробовал уснуть. Где там... А утром нужно снова идти на работу и в дикой атмосфере вражды, подозрительности лечить и оперировать.

Беда, как известно, не приходит одна. Как раз в это время я оперировал одного старика. Аденома предстательной железы. И надо же было, чтобы ему перелили по ошибке не ту группу крови. Я не был виноват в случившемся, но поди докажи. Сейчас и невиновые виноваты. Мы принялись спасать больного. Сделали так называемое обменное переливание крови. Специальной аппаратуры у нас не было, «искусственной почки» — тоже. Больного спасло, пожалуй, то, что при этой операции теряется много крови. Вот из раны и вытекала несовместимая кровь, а мы непрерывно переливали кровь нужной группы. И — о, чудо! — пациент выжил. Случай, надо сказать, уникальный.

Конечно, если бы старик погиб, и мне не спастись бы! Шевченко и его клеветы не преминули бы воспользоваться ситуацией. Остальные врачи и сестры помогли нам, как могли. И я этого никогда не забуду!

Перед выпиской больной настойчиво потребовал назвать ему фамилию лечащего врача. Перепуганная палатная сестра спросила: «Зачем это вам?» А он ответил: «Вот в газетах пишут, что у нас в стране завелись врачи-убийцы. А я хочу пойти в школу, где учится моя внучка, и рассказать все, как было. Как в других больницах отказались меня оперировать, а Моисей Иосифович рискнул, и я жив-здоров! Вот какой он врач!»

В диспансер (мало нам было Шевченко) пришел новый главврач — Ворона. Точнее было бы, если б в его фамилии не было последней буквы. Безграмотный, грубый склочник, он зорко следил только за тем, кто нравится и кто не нравится его патрону. И все его последующие действия зависели только от этого...

Ворона все же выдворил меня из диспансера. Он собственноручно отнес мое дело в облздравотдел. Мне предложили работу в селе. Конечно, и в деревне нужны специалисты. Но обычно туда направляют молодых, только что окончивших институт. Почему же сейчас выбор пал на меня? Последовал странный ответ: «Вы достаточно поработали в Киеве, освободите место другому». Ну что ж, к произволу в нашей стране не привыкать.

И отправился я в Ставище.

В любой ситуации человек осваивается и начинает жить своей жизнью. Несмотря на обиду и горечь, я постепенно стал привыкать к моему новому положению. В конце концов работа была та же — я должен был лечить и спасать людей.

Сама по себе больница в Ставищах понравилась: красивое двухэтажное здание, просторные светлые палаты, горячая вода, канализация и даже конференц-зал и библиотека. Во дворе множество хозяйственных построек. Больница была построена для лечения крестьян еще до революции по замыслу и на средства графини Браницкой. Проектировал здание известный венский архитектор. Обслуживали больных в те времена врач и фельдшер. Врач жил в просторном коттедже, недалеко от больницы. Но на работу все равно ездил в экипаже. Каждое лето на один-два месяца он отправлялся на стажировку в какую-нибудь знаменитую европейскую клинику.

Сейчас, разумеется, многое изменилось. В коттедже давно разместился райком партии. Некоторые хозяйственные строения самой больницы обветшали и требовали ремонта. Я тут же отправился в облисполком и потребовал наряд на жезь, чтобы заменить пришедшую в негодность старую черепичную крышу. К моему удивлению, наряд выписали без особых проволочек. Строительные и врачебные хлопоты увлекли и отвлекли от грустных мыслей. Незаметно прошел год.

Между тем после смерти Сталина в Киеве начались перемены. Главврача Ворону как не соответствующего занимаемой должности должности уволили. Это несоответствие было видно невооруженным глазом, но заметили его только теперь. Ворона упирался, не пускал в кабинет нового главврача, не отдавал печать. Только с помощью пришедших прокурора и милиционера удалось выдворить его.

В облздраве уразумели наконец, что держать в Ставищах специалиста-онкоуролога слишком накладно, и меня вернули на прежнее место работы.

Я стал готовить диссертацию. Защитился в 1963 году.

Вскоре в Киеве открылся институт урологии. Три года под руководством Полонского я проработал в нем старшим научным сотрудником. А когда Борис Леонидович перешел в институт туберкулеза, я сменил его в должности заведующего отделом онкоурологии. Работа захватила. Совместно с институтом физики нам удалось создать инструменты для нового эффективного лечения опухолей.

Сколько замечательных специалистов встретил я на своем пути в институте урологии: это В. Л. Бялик, Ю. Г. Единый, В. С. Карпенко, Л. А. Пыриг, А. М. Романенко — всех не перечислить. Общение с ними не раз выручало меня в трудные минуты.

За полвека врачебной деятельности я перезнакомился со множеством разных людей. Некоторые бывшие пациенты стали моими друзьями. Мы общаемся, и это заполняет мою жизнь. Книжки с дарственными надписями... Картины художников на стенах моей квартиры... Просто улыбки, слова благодарности... Но самой дорогой реликвией стал для меня серебряный подстаканник с выгравированной надписью: «Дорогому Моисею Иосифовичу от учителя и благодарного пациента». Да, да, это дар самого Бориса Леонидовича Полонского! Врачи — тоже обыкновенные люди: живут, болеют, умирают. Как-то мне пришлось оперировать Бориса Леонидовича. Операция не сложная, но хирурги, как правило, уклоняются от лечения близких. Слишком велико психическое напряжение, руки становятся другими. Но отказать Борису Леонидовичу в его просьбе я никак не мог. Сделали все, что полагается в таких случаях, вскоре стало ему легче. Как-то меня пригласили на обед к Борису Леонидовичу. Его жена Фаина Яковлевна знала толк в готовке, еда в доме всегда была вкусной — слюнки текли. И вот поставила Фаина Яковлевна на стол супницу, а в ней — ароматный украинский борщ с мясом. Смотрю, Борис Леонидович придвигает к себе дымящуюся тарелку и с большим аппетитом начинает уплетать.

— Борис Леонидович,— с изумлением говорю я,— вы же сами знаете, что мясные бульоны при таких болезнях есть нельзя. Как вы можете?

Борис Леонидович лукаво взглянул на меня и отправил в рот очередную порцию.

— Знаешь, Мося, вопрос о диете при почечной колике, видно, придется пересмотреть.

...Жизнь моя подходит к концу. Не мне судить, как я ее прожил, хорошо или плохо, мудро или не очень. Все получилось, как в старой сказке: жил-был местечковый мальчик, выбился в люди, стал врачом, прошел жестокую войну, спасал людей. И мирное время порой бывало не менее трудным. Столько радостей и печалей! Печалей, наверное, побольше. Что ж, видно, такой должна быть жизнь. По крайней мере другой я теперь ее и не представляю.

*Литературная запись
Виталия ЗАСЛАВСКОГО*



Настасья ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Как возникают женские романы

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

*Юлии Снеговой, Елене Муляровой
и другим моим подругам по ремеслу*

Пролог

Тяжко нашему брату женщине. Из магазина ползешь навьюченная авоськами, словно дикий зверь. А домой доберешься — сразу готовь, пылесось. Муж даже поест рот лишний раз не раскроет, лежит на кровати одетый в махровый халат, будто римский патриций. И молчит о своем. Тут и крутись. Да еще рожать приспееет, как ни старайся, не всегда отвертись.

Нет, что-то следует делать. Добиваться полной свободы. Материально-то я давно независима: зарплату и за деньги нельзя считать. Тем более надо выискивать новое поприще, сферу приложения дремлющих сил.

Вот сейчас сложился большой и, признаться, шумный рынок духовных ценностей. Публика сметает все на корню: видеокассеты, компакт-диски, бюллетени по обмену квартир, энциклопедии, словари, детективы. Ничем не брезгует, лишь бы утолить жажду познания. А напоить алчущего — разве это не благо? Заодно и самой напиться вдоволь.

Я стала прикидывать, что мне подходит из упомянутого. Videокассеты и диски сразу отвергла: подобное производство требует крупного стартового капитала. Составлять словари и энциклопедии не по душе, скука смертная, выражаясь точнее. Именно смертная — выверять, кто когда умер, и выстраивать усопших по алфавиту. Остается писать детективы и ломать голову над квартирообменом.

Я уже почти запуталась в силках выбора, но вспомнила: батюшки-светы, заступница-троеручица, богиня Кали, есть ведь женская литература. Здесь тебе и детективная динамика, и занимательность бюллетеней по обмену жилплощади, прочтешь, и ровно бы в чужую квартиру залез. Стоит рискнуть, помахать авторучкой.

Пусть читатель не сетует, я не какая-то проходимка. Нет, я филолог, и не в первом отнюдь поколении. Я и понаписала с лишком, и поначиталась власть. Мне довольно пролистать с десяток этих самых женских романов, чтобы выяснить, что по чем, и сделать по-своему. И я отправилась в путь.

Разбег

— Русских женских романов нету, — заявил книжный сиделец, с нежностью выравнивая яркие бумажные корешки один к одному. — Спросом не пользуются. А бывают — быстро раскупаются. Могу предложить Джоанну Линдсей либо Даниелу Стил. Опять-таки новая серия «Проказник-купидон». Но, — окинул он меня быстрым взглядом, — это не для тебя. — И пояснил: — Для более старшей возрастной категории. Кому глубоко за тридцать пять. Да ты смотри, ассортимент на прилавке.

— Голубчик, — призналась я, — мне ведь не для души. Мне для работы. Может, у вас отложено. Чего попроще. Стандартный розовый роман?

— А, так бы сразу и говорила. Я стою себе думаю... Розовый — не ко мне. Вон дядька на углу торгует.

Дядька на углу оказался куда бойчей.

— Роман дамский?.. Ты языком зазря не мели. Подошла и спрашивай. Серия «Искус» называется. Двадцать рублей штука. Бери любой.

Распахнула первый попавшийся под руку: «Она туго обняла ее, и ее крупные оливковые бедра со светлым пушком на ногах прильнули как раз на уровне влюбленных глаз Сюзанны. «О как ты прекрасна, Кэт!» — счастливо прошептала Сюзанна, впиваясь распахнутыми губами...»

Я вздрогнула.

— Простите, я ведь женский... розовый...

— А этот чего ж, зеленый? — заулыбался вдруг продавец. — Женский и есть. «Счастливая холостячка». Баба с бабами. Вот кабы ты мужской попросила, а я б тебе женский дал...

— Нет-нет! — заторопилась я. — Мужские я не читаю. И переводные как-то... Можно родной, российский? Про настоящую любовь...

— А чего ж нельзя? Клиент имеет право. Местных авторов есть «Влюбленная свинарка», а есть «Развратная скотница». Тебе какой?

В беспамятстве я схватила «Свинарку».

Перед сном открыла пахнущую офсетом книжку: «Остап грубо обнял всю Полину, и, прижавшись к нему своим круглым горящим телом, Полина крепко задышала в лад».

У меня перехватило дыхание.

Шаг вправо

Правдами, а верней, неправдами, используя старых друзей и новые связи, я вывела адрес издательства, специализирующегося на женской литературе. Как правило, они скрываются от публики, указывая лишь абонентский ящик, и тот подставной, оформленный на чужое имя.

Улыбнулась ли мне фортуна, либо снизили высшие силы, которым обыкновенно лень спускаться вниз? Меня принял главный редактор, вальяжный мужчина в отличном вечернем костюме, хотя на дворе светил ясный день. «Или он всегда столь элегантен, или не успел переодеться после вчерашнего», — мелькнула догадка. Но я уже начала разговор.

— Значит, желаете попробовать силы? — произнес собеседник, окидывая меня от края до края долгим и, я бы сказала, продолговатым взглядом. — Ну-ну, данные, кажется, есть. — И поинтересовался: — А вы хоть что-нибудь раньше писали? Впрочем, оно и не важно. Успех загадочно благосклонен порой к начинающим. Так что же вас интересует?

— Все, — чистосердечно призналась я.

Редактор в испуге дернулся, но сдержал себя.

— И все-таки?

— Тематика, объем рукописи, оплата...

— Ну, тематика едина — личное счастье. Дело в подаче. Мы разрабатываем несколько серий для разных возрастных категорий. От юниоров, так сказать, до профессиональных читателей. Сейчас в производстве «Первый дебют», «Женатый андрогин», «Малярия любви», «Единоборство страсти», «Содом и Гоморра». Степень откровенности в каждой серии чуть выше. Да, еще «Кегельбан желаний»... Вы на какую аудиторию собираетесь работать? Девушки, дамы со стажем, женщины, разошедшиеся с мужьями?

— Лучше для разведенных, — выбрала я, пытаюсь незаметно снять обручальное кольцо.

— А под каким именем? — поинтересовался мой собеседник.

— А под каким надо? — переспросила я.

— Я хочу сказать, вы будете создавать переводной роман или хотите строить книгу на родном материале?

— Мне удобнее на родном. Я ведь заканчивала классическую филологию, иностранными языками, кроме латыни и древнегреческого, не владею. А тут придется вкручивать для антуража американские и французские словечки, всякий сленг...

— Здоровое рассуждение. Но учтите, местный материал не вполне освоен. Да и сюжеты... Посоветавшись с оптовиками, руководство издательства решило при обработке местного материала современных сюжетов не трогать. Действительность не вырела.

— В каком смысле? — удивилась я.

— Возьмем проблему положительного героя. Представьте: человек с прекрасной квартирой в центре, загородным домом, машиной «вольво» или «ауди». Отдыха-

ет исключительно на Канарах, в крайнем случае денек-другой проведет в Арабских Эмиратах. Деньги хлещут рекой. Почему, откуда? Получается, он или только что с отсидки, или в скором времени сядет на нары. Вот так, моя дорогая...

— Неужели никаких возможностей? Ну, пусть он будет не бизнесменом, пусть депутатом Думы.

— И такой вариант прокручивали. Депутатство не исключает сугубо уголовного прошлого. А если депутат совсем уж зарвался, честный он, видите ли, то, по логике вещей, его или запрут в здании парламента и станут из пушек долбить прямой наводкой, или оппоненты обидятся. Конверт с тысячей баксов. Киллер встречает у подъезда. Выстрел в живот. Контрольный в голову. И весь роман.

— Странно вы рассуждаете,— возразила с досадой я.— Это ж литература, допустимы условности. Почему депутату не выжить? Не догадываясь о будущем артобстреле, спустился поработать в подвал — там тише. А киллер... киллер промахнулся... Прохожие толкнули под руку... В конце концов депутат носил бронезилет. И какску.

— К сожалению, жизнь кроит художественную ткань почему зря. Наши читатели, черт их дерь, смотрят телевизор, радио слушают. В дамском романе важен эффект узнавания...

— Верно,— обрадовалась я.

— Хорошенькое же тут узнавание: депутаты, будто родные!.. Глаза б на них не глядели! Хочется отвлечься, забыться. Популярность набирают сюжеты из прошлого. В подлинных декорациях. Приоткрою коммерческую тайну: заказали мы одному автору книгу с условным названием «Широкая грудь». Ждем пробных глав. Нет, не то, что вы подумали. Это о матросах. На корабль, где власть захватили анархисты, приходит женщина-комиссар. Матросы, все без исключения, в нее влюбляются, а главный заводила, душа команды, предлагает руку и сердце. После ожесточенной схватки с врагами гудит бесшабашная матросская свадьба.

— А как же аксессуары? Ни «роллс-ройсов», ни шикарной одежды.

— Отнюдь. Во-первых, чудные морские пейзажи. Пронзительно пищат чайки, выхватывая из волн экологически чистую рыбу. Во-вторых, команда единогласно делает матроса капитаном, вместо утопленных офицеров. В-третьих, разве можно сравнить крейсер, оборудованный торпедными аппаратами, даже с «роллс-ройсом»?

— М-да...

— Кстати, есть пара-тройка свободных сюжетов. Например, о крепостной, которую страстно любит молодой дворянин. История драматическая, возлюбленный не может выкупить Дуню, потому что злая жена потратила деньги в модной лавке. Но тут, на их счастье, грянул 1861 год.

— А что-нибудь поближе?

— Поближе... Годы террора. Замнаркома твердой промышленности чувствует, как судьба его повисла на волоске. Карательные органы уже выписали ордер на арест. И тогда замнаркома делает отчаянный шаг. Он и его возлюбленная спускаются в штольню московского метрополитена. Буквально по пятам следуют агенты НКВД, но у них нет допуска на засекреченную территорию строительства. Пока оформляют допуск, замнаркома с возлюбленной уходят вдаль по штреку. Агенты возобновляют преследование, однако влюбленные заваливают проход. Враги отстают, куда там рыть землю! Из ручного труда им знакомы лишь расстрелы да пытки. Но и влюбленным тяжело. Пути отрезаны, остается умереть или выжить. Герои берутся за отбойные молотки. Когда кончается сжатый воздух, они продолжают долбить вручную и вылезают в пределах буржуазной Румынии. Ну как?

— Превосходно. Только вот техническая специфика.— Я покраснела.— Стыдно признаться, не ведаю, чем отличается штольня от штрека.

— Ну, это как посмотреть!..— вздохнул собеседник.— А какая бы тема заинтересовала вас? Может, что-нибудь пикантное? Мы выпускаем серии и для истинных любителей. Например, «Счастливая мышеловка». Или «Амбулатория желаний» с постоянными персонажами, доктором и медсестрой: «Врача вызывали?», «Скорая помощь любви», «Лечи меня нежно». Не попалось?

— Нет, но, кажется, я придумала подходящий сюжет.

— Может быть, вы поведаете его в машине? Мы где-нибудь поужинаем и потом не торопясь поьем кофе...

— В машине? — спросила я.

Шаг влево

За стеклом «ауди» проносилась шальная листва.

— Итак, ваш сюжет. И, кстати, можете называть меня просто Артуром.

— А я — Лиза. А сюжет... Прекрасного молодого матроса товарищи выбрали красным адмиралом. Он влюбился в девушку из «бывших», которая, покинув семью, живет, штопая паруса для подводных лодок. В мастерской-то влюбленные и познакомились. Они собираются пожениться, но тут начинающего адмирала хотят расстрелять недоброжелатели. Вдвоем герои уходят в море на адмиральской подводной лодке. Матрос способен только командовать, с лодкой ему одному не сладить. Но роман заканчивается благополучно. Покачиваясь на волнах, герои обвенчиваются по православному матросскому обычаю, у них растут дети. И вот команда укомплектована. Семья бороздит ласковый к ним океан, выбирая на жительство необитаемый остров поприветливее, где и образует собственную страну с конституционной демократией. Условное название «Команда мечты».

— А ты способная девочка,— тихо произнес Артур, склоняясь надо мной в нежном поцелуе.

Рубашка его расстегнулась сама собой. Перед моими глазами предстало роскошное тело с золотистым загаром. На мускулистом предплечье, где золото особенно отливало, будто проба, синела изящная татуировка «Кто не был лишен свободы, тот не знает ее цены» и были проставлены цифры, большие.

Бреющий полет

— Я хочу тебе сделать подарок,— утром сказал Артур.— В память о нашей встрече.— Он протянул маленькую книжицу, почти брошюрку. — Это специально разработанная схема производства женских романов. Автор — знаменитый критик. Издательству заказ влетел в копеечку. Но затраты оправданные. Владелец схемы может составлять романы по личному усмотрению в каких угодно количествах. Все зависит от работоспособности и усидчивости.

— Артур! — Я прильнула к его могучей груди.— Артур, прочь схемы и графики. Мне нужен ты. И никто иной. Ради тебя я пойду на все. Ради тебя я даже не стану ничего писать. Я буду рядом и...

Артур с горечью усмехнулся.

— Маруха не даст,— сказал он, натянув тонкую майку от Кристиана Диора.— За хоботок, за хоботок она меня держит, падла,— причитал он, обхватив руками голову и мерно раскачиваясь,— с самого, поди, с Сыктывкара...— В его прекрасных темно-голубых глазах блестели слезы.— Иди, Лиза, будь счастлива. Не трухай. С этой штукой — сам себе гражданин начальник.

«Ауди» фыркнула и растаяла в облаке выхлопных газов.

А мне пришлось возвращаться домой пешком. Там, возвышаясь на диване, лежал муж и было хоть шаром покати.

Набор высоты

И верно, автор книжицы учел любые мелочи. Листая страницы, я могла делать нужные заготовки, чтобы потом из них споро воздвигнуть художественную конструкцию.

Правда, кое-какие моменты вводили меня в тупик, но я находила достойный выход. Я сперва рассчитывала смастерить серию романов (серийность, — утверждал автор, — обязательное требование в массовой литературе). Итак, дюжина-полторы компакт-романов с общей героиней. Загвоздка в том, что каждый роман обязан кончатся счастливым браком. Поэтому в начале очередной истории героиня должна то и дело освобождаться от предыдущего, уже использованного мужа. Оно и несложно: стихийные бедствия, социальные катаклизмы, глухое пьянство избранника, несходство характеров — и героиня свободна, но однообразие приема таит опасность.

Другое правило: одна женщина соответствует одному мужчине. Я улетела воспоминаниями в годы, отданные студенческому общежитию, и согласилась, что такое ограничение очень верно. Не всякий одарен стальным здоровьем и всемерной душевной подвижностью. Ну, что повествование должно вести с женской точки зрения, разумеется само собой.

Теперь черед за особыми типами. Их следовало выработать раз и навсегда, сколько бы волшебных изменений ни выпало героине.

Он: сильные плечи, узкая талия, темно-голубые глаза, гибкая фигура, нежная шелковистая кожа, блондин.

Она: (я взглянула в зеркало, увидела светлую блондинку с голубыми глазами и решила — возьмем за основу. Уточнения по ходу).

Так, разлучница: волосы цвета воронова крыла, карие глаза. Остальное — выше похвал, но первые два компонента плюс подлый характер компенсируют все положительное, что у нее есть.

Как запасливая хозяйка, сделала заготовки впрок: «Ее волосы мягко волнились» (психологическая характеристика), «Обратиться к психиатру? Не сошла ли я с ума?» (легкая ирония). Возникла и замечательная фраза для сцены знакомства героя и героини: «Это было подобно электрическому разряду. Если бы не туфли с резиновой подошвой, бывшие на ней, она могла бы погибнуть».

Следуем дальше. Читатели обожают, когда любовная история несет еще и полезную информацию. За свои деньги приятно прочесть даже учебник физики для пятого класса. Я полезла в книжный шкаф. Ах, незадача! Энциклопедический словарь без конца распаивался на статью «Эдинбург», и, судя по приведенным сведениям (о, европейские масштабы!), жители Эдинбурга должны были бы знать друг друга лично и состоять в тесных родственных связях. Расхолаживало и то, что, по шотландским традициям, мужчины ходят в юбках.

Ладно, пусть ходят, щеголи, я им не судья и не адвокат. Да пусть хоть рожают!..

Вернемся к героине. Социальный статус ее обязан понижаться и понижаться, пока сойдет до нуля, тут ее и подстерегает счастье. Я прокрутила возможный сюжет: дочь богатых старообрядцев, не сдав экзаменов в институт благородных девиц, боится возвращаться домой в Саратов и поступает в цирк.

Ее презирают. Ветхое, застиранное трико ей нарочито коротко. Когда, облачившись, она глядит в зеркало, за плечом видит злобный взгляд костюмерши и сияние волос цвета воронова крыла. Укротитель пугает ее сытыми тиграми и пристает в темном углу конюшни под печальное уханье стреноженного слона. Воздушный гимнаст, в номер которого определили героиню, не обращает на нее внимания. Когда она летит с трапеции на трапецию, он не подает ей руки, и героиня беззащитно падает на манеж. Это длится до тех пор, пока героиня не научилась обходиться в воздухе без партнера. Тогда он в нее влюбляется. И перехватывает, куда бы она ни летела. Укротитель до коликов защечочен восставшим слонком.

Важное условие функционирования конструкции — психологические перепады. Герой, казавшийся твердым, вдруг мягчает, ореол жестокости вокруг него меркнет: он начинает беспокоиться о бывшей жене, сварливой теще и о детях возлюбленной, коли таковые имеются (вариант для «разведенных»).

Я набросала:

«— У тебя есть дочь? — спросил он внезапно потеплевшим голосом.

Лиза молчала, не зная, что и ответить.

— И она больна? — продолжал он, опуская руку в карман и доставая портмоне естественной крокодильей кожи.

— Нет, — с усилием выдавила из себя Лиза и покраснела от смущения до корней волос. — Моя дочь здорова, потому что у меня ее никогда не было. Более того, я ни разу не выходила замуж. И... и... — Лиза решила и выдохнула страшное: — Я никогда не была близка с мужчиной.

— А, — с пониманием ответил Артур. — Прости, если мои слова тебя ранили. — И он, аккуратно сложив заскрипевшее портмоне, убрал его во внутренний карман тонко сшитого пиджака».

Кроме набора художественных приемов, автор книжицы предлагал и способы производства. Например, мастеровитая Барбара Картланд лежа диктует на магнитофон пришедшие в голову сцены, а многолюдный штат помощников доводит текст до совершенства.

Я постелила чистое белье, включила магнитофон и легла в постель. Чтобы ничто не мешало творить, я приняла снотворное...

Мысли мои закружили как бы сами совсем по себе. Мне представились силуэты зданий времен русского классицизма, стремительно кованые решетки и гордые огромные воды, едва не обьявшие их.

О, чудовищные призраки наводнения! Державная в течении своем река теперь потемнела, и тяжкие волны пошли на город. Трудней других пришлось бедным людям, обитателям подвалов и подворотен.

Но это не все. Почва кладбищ размыта, и жалкие гробы из пахучей свежей сосны поблескивая носятся по улицам, стучат в стекла нижних этажей, упрашивая вступить. А император стоит на балконе и, разводя руками, жалуется сановникам и генералам, что даже он не может совладать со стихией, наряженной небесами.

И пока молодой чиновник пробирается на вольной лодке к своей возлюбленной и ее пожилой матери, те ждут его с нетерпением, и юбки, тяжелые от воды, уже тянут ко дну.

Мне показалось, что молодого человека следовало бы назвать Евгением либо Петром, а девушку каким-нибудь обыкновенным русским именем, со слабым налетом декоративности, Лейлой или Парашей.

Герой спасает героиню и за проявленный героизм обретает потомственное дворянство, а старый дядюшка, который не совсем умел плавать, пуская пузыри, оставляет молодому человеку загородную деревню с двумя сотнями крепостных и городской особняк в пять-шесть этажей с гаражом и отделным подъездом.

Я предавалась творческим грезам и мечтала, чтобы героям получше удалось «осуществление их гендерных ролей в период половозрастного духовного созревания и новых амбициозных импульсов» (цитата из книжицы). Внезапно я услышала возле себя осторожные шаги. Едва я подумала, кто бы это мог быть, как ощутила удар по голове...

Парение

— У вас есть недоброжелательницы женского пола? — задал вопрос явившийся по вызову оперативник.

— Почему женского? — стиснув зубы от боли, спросила я.

— Так бить может только женщина — снизу вверх. И орудие... Дырокол... Свидетельствует о разумном выборе. Мужчина бьет любым подвернувшимся предметом — хорошо сушеной воблой, костяшкой домино.

Боль пульсировала в висках, сковывала движения.

— А если он программист? Компьютером?

— Зачем же? Программисты жертв, как правило, душат, у них очень сильные пальцы и ноги.

— А ноги-то почему?

— Всю дорогу сидят! — рывкнул следователь и презрительно глянул своими темно-голубыми глазами, будто на дурочку.

Его взгляд пронзил меня. Если бы я не лежала, я бы наверняка упала.

— В момент получения удара вы находились там же, где сейчас? — поинтересовался следователь, наклоняясь надо мной. Сквозь плавающие разноцветные круги я увидела крепкие плечи и золотой загар под воротничком рубашки. Наши губы невольно сомкнулись.

Он полез за борт отлично сшитого пиджака, обтягивающего стройную фигуру.

— У меня нет дочери, — пролепетала я пришедшую на память фразу.

— Зато у меня трое, — вздохнул он, отстегивая хольстер.

Возвращение в родное гнездо

— Так все на месте, Лиза? — утром спросил Валентин, одеваясь и прилаживая хольстер под мышку. — Я шесть раз прокрутил магнитофонную запись, но, кроме чьих-то шагов и твоего сладкого посапывания, ничего не слышно. Что же явилось причиной удара?

Я молчала. Даже прощаясь, поцеловала его молча. Не то чтобы я боялась подвести Артура и заявить о пропаже секретной схемы для производства женских романов. Я не в силах была говорить. Мечта моя рушилась. Но я твердо решила: я сочиню роман. И я села к столу.

Пишущая машинка цокала и щебетала мартовской птицей. Итак, вариант «доктор и медсестра», однако выписанный целомудренно и без цинизма.

Молодой талантливый доктор, у которого нелады с женой и диссертацией, покидает насиженный столичный город. С ним увязывается его ассистентка, безнадежно в него влюбленная. Увязывается и разлучница, вторая ассистентка, надеясь женить на себе талантливого хирурга.

В тундре, куда он прибыл, герой скоро находит общий язык с местными жителями. Когда те подкочевывают к амбулатории, доктор лечит их немногими лекарствами, что есть в его распоряжении. Но доктору мешает шаман.

Героиня выполняет незаметную и такую нужную работу. Титан сломан, а хирургу к лицу чистота. Доктор samozабвенно моет руки крутым кипятком, не ведая, что влюбленная в него Нелли растапливает куски льда на своей девичьей груди.

Затем врача вызывают в дальнее стойбище. Разлучница думает, что поедет героиня, и подсовывает самую свирепую и бестолковую упряжку собак. А в упряжку ложится доктор. Собаки теряют управление, герой выпадает на снег и, поскользнувшись, ломает правую руку. С трудом он уползает обратно.

Вертолетная связь возобновится только через двенадцать месяцев, пока же машины замерзают в воздухе. Роженица не может, однако, ждать. Доктор решает сделать себе операцию. Разлучница не дает ему наркоза и виснет на здоровой руке, в которой он держит скальпель и капельницу. Шаман, сбивая с ритма, гремит в бубен и танцует под окнами амбулаторного чума. Но доктору в последнюю минуту помогает героиня, и операция проходит блестяще. Роженица с помощью доктора приносит двойню и называет мальчиков в его честь Валентинами.

Доктор возвращается из стойбища и узнает по радио, что ему присвоена ученая степень и выдана международная премия имени Гамалея. Жена его застревает в лифте, там одумывается и дает развод телеграммой. Перед отъездом доктор лечит шамана — тот отбил кулак, злобно стуча в бубен. Выздоровевший шаман организует самодетельный ансамбль песни и пляски. Героиня бережно сопровождает доктора на борт оттаявшего вертолета.

Роман я отнесла в издательство, умолчу в какое. Скажу лишь, что главный редактор, женщина с карими глазами и черными, цвета вороньего крыла волосами встретила меня как старую подругу, при мне прочитала рукопись и оформила договор.

— Не выпить ли нам по бокалу шампанского? — спросила она.

Я считала себя обязанной и позвала ее в гости.

Томясь от напряжения, мы распили бутылку, другую, третью.

— Если можешь, прости меня, — выдохнула наконец Люба. — Я так перед тобой виновата, ведь брошюру со схемой похитила я. Но я ее не украдала. Схема заказана и оплачена мной. Артур, это ничтожество, решил стать самостоятельным. И потому присвоил мою собственность. А наутро, когда вы расстались, он позвонил мне и сообщил, торжествуя, что теперь у моего издательства появилась опасная и талантливая конкурентка. И мне пришлось...

— Артур — твой муж? — прошептала я.

Лицо Любы источало презрение.

— Но почему он покинул тебя, такую умную, такую прекрасную, такую?..

— Его не устраивала семейная жизнь. Особенно раздражало то, что я вхожу в партию феминисток, — ответила Люба, вынимая из глаз контактные линзы и стягивая парик. — Ты не против, если я приму ванну?

Десять минут спустя передо мной стояла голубоглазая светловолосая блондинка. В руках она держала влажное полотенце, которым вытирала со своей атласной кожи последние капли.

Я туго обняла ее, и ее крупные оливковые бедра со светлым пушком оказались как раз на уровне моих влюбленных глаз...

— Тебе было очень больно? — спросила Люба, с нежностью глядя меня по голове. — Я старалась ударить потише.

Эпилог

Какой замечательный сон, думала я, разметавшись на постели. Любы не было в комнате, да ее и не было вовсе. Ведь это лишь сон, грезы, навейные барбитуратами.

Дрему в стиле Барбары Картланд прервал голос мужа.

— Я из гостей, есть что-нибудь пожевать?

— Вряд ли, — сказала я, сладко потягиваясь. — Я пишу роман.

— И удастся? — поинтересовался муж, расстегивая пуговицы рубашки и глазами ища халат, который бросал и там и сям.

— Роман?.. Не всегда, — призналась я. — Трудно найти подходящий сюжет. Да и герои... поди удержи. — Я задумалась, с грустью вспоминая ночное видение.

К действительности вернул меня голос мужа.

— Почему в моем халате? — кричал он. — Почему?

На пороге комнаты стояла Люба, теплая и румяная после душа, и, судя по выражению голубых глаз, намерения ее были недвусмысленны.

Я молчала, ошеломленная.

— Так почему в моем халате? — вопиял муж. Волосы на его широкой груди вскочили дыбом...

*По следам полета
Вместо заключения*

В этом небольшом тексте все значимо, все преисполнено особого смысла. Никто не усомнится, что написано это кровью сердца.

Между тем за строчками брезжит действительность. Причем действительность, не желающая ложиться в рамки ритуализованных жанров. Зря ли сочинительница думает о настоящем женском романе, а в конечном счете жизнь и обстоятельства подсовывают ей особый духовный продукт, «любовный роман на современный российский лад», если и не софт-порно, то уж совпорно.

Мы имеем то, что имеем. Для подлинного, непередаваемого женского романа, впрочем, как и для подлинного детектива, у нас нет исходных материалов. Но есть необходимость, есть желание. Появились читатели, которые хотят читать именно такую литературу, появились сочинители, которые хотели бы такую литературу творить.

Обратите внимание, и в мелочах заметно: предпосылки к ритуализации жанров существуют. Свидетельством тому — легкая конвертация сюжетов, смена подвижных декораций, более подходящих на ширмы, при незыблемой повествовательной схеме. Такое возможно, когда сюжеты монадны, замкнуты в себе.

Для становящегося жанра обычно и обращение к архетипическим ситуациям, знакомым по фольклору. Сюжет произведения, над которым, как мне известно, сейчас работает Н. Подъяблонская (да не разгневется она на меня!), стар: обувная фабрика выпускает плохую обувь. Директор, молодой и талантливый, не виноват: без капиталовложений производство не наладить. Но приезжает комиссия, директору грозит расстрел. Главный аргумент — обувь не просто уродлива, она всем не по ноге. И тут героиня, тайно влюбленная в директора, добивается, чтобы комиссия пошла с ней на склад готовой продукции, где меряет обувь, пару за парой, размер за размером, фасон за фасоном. И вся обувь приходится впору. Комиссия уезжает, выразив директору благодарность. Герои воссоединяются. Производство налаживается само собой. Не напоминает ли это известную с детства сказку?

Вот на сказку, на архетипы и надо уповать, разрабатывая особый жанр российского женского романа. А что до малых неточностей в тексте Н. Подъяблонской, отнесем их на счет ее горячей природы, склонной к преувеличениям. Так, у меня никогда не вставали дыбом волосы на груди, хотя ситуации, в какие порою ввергала меня сочинительница, были куда серьезнее тех, о которых она поведала в своих исповедальных заметках.

*Иван ОСИПОВ,
художественно-литературный критик,
почетный феминист, член исполнительного
комитета суффражисток, историк женского
освободительного движения*



Вокруг Лотмана, или По направлению к Тарту

Ю. М. Лотман. ПИСЬМА. 1940—1993. Составление, подготовка текста, вступительная статья и комментарии Б. Ф. Егорова. М., Школа «Языки русской культуры», 1997.

Разговоры, дискуссии, пересуды о Юрии Лотмане, Московско-Тартуской (или Тартуско-Московской) семиотической школе, структуральной поэтике в последние годы ведутся не только в кругу ученых, профессионально причастных к прекрасной эпохе структуралистской бури и семиотического натиска, — о Лотмане и его книгах спорят все, кто читает хоть что-нибудь, кроме триллеров и сборников анекдотов о Штирлице. Тартуский профессор в свое время не просто одним из первых презрел марксистскую ортодоксию, создал свой, узнаваемый с полуслова язык описания культуры, но и учредил невиданный прежде *кодекс поведения* гуманитария. Кто-то знает, что именно открыл Лотман в наследии Андрея Кайсарова или Андрея Тургенева, а кого-то во время оно поразило введенное ученым в университетский обиход почтительное обращение «коллега» взамен официально-амикошонского «товарищ»...

После смерти Лотмана события, происходившие в Тарту в шестидесятые — восьмидесятые годы, стремительно обросли легендами, уже опубликованы десятки мемуарных свидетельств, устным святочным рассказам о квартире на улице Бурденко и «летних школах» в эстонском местечке Кяэрику несть числа. Все признаки канонизации тартуской семиотики налицо: ширятся ряды и колонны отрицающих факт существования Школы после кончины ее лидера*. Аргументы скептиков известны: структура-

* На этой оси координат невозможно найти подходящее место «биографическим» статьям о Лотмане, опубликованным во втором номере недавно вынырнувшего из небытия журнала с до боли знакомым именем «На посту». Здесь господствует не простая ирония, не снисходительный скепсис, но дешевый и в конечном счете смешной эпатаж, за которым прячется закомплексованное подчеркивание собственной неудачливости по сравнению с якобы незаслуженно присвоившим чужую славу тартуским мэтром.

лизм канул в Лету, в Тарту не осталось ярких последователей Лотмана, да и сам он под конец жизни отказался от своего метода, все больше думал и писал не о *законах* культуры, подвластных логическому изучению, а о *случайностях*, непостижимых отклонениях от норм и правил (см., например, предсмертную книгу «Культура и взрыв»).

Опубликование обширного свода лотмановских писем подлило масла в огонь нескончаемых споров. Книга читается за поем, увлекает и затягивает, подобно остросожежному детективу. В ней — история о ленинградском мальчике, протрубившем четыре военных года в солдатской шинели и с томиком Гейне в противогазной сумке; о юноше, в глухое время борьбы с космополитами бесшабашно уехавшем в полузаграничную Эстонию; о профессоре, утомленном до бесчувствия ночным чтением и непрерывной борьбой за выход в свет очередной книги; о преданном друге университетских однокашников; наконец, о смертельно больном и одиноком вдове, трезво рассуждающем о смерти и до последнего дня диктующем научные статьи. Среди адресатов писем маститые ученые (В. Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, Б. А. Успенский), друзья юности, родители и сестры Лотмана.

Всякий, кто откроет объемистый том, будет то и дело зябко поеживаться, чувствовать себя, мягко говоря, неудобно. Непонятно ведь — то ли в книге рассказывается о дне сегодняшнем, о том, как забрался он (читатель) в чужой письменный стол и торопливо перелистывает письма, адресованные знакомым людям, мирно ходящим по улицам Москвы, Питера и Смоленска. То ли, может быть, возвращают нас эти письма к далекому прошлому, в котором Таллинн писался в шесть литер, а жители этого города были соотечественниками обитателей ныне существующего под иным именем города Ленинграда.

Конечно, речь о прошлом — сейчас почти невозможно представить себе, что кто-то обменивается письмами, подобно Гете и Шиллеру, регулярно задававшими работу почтальону, курсировавшему из Иены в Веймар и обратно. Никому из узников e-mail'a, ежевечерне строчащих русскоязычной латиницей телеграфическитарабарские послания, не придет в голову запечатывать в белый конверт фразы вроде «Борфед! (составитель книги, питерский профессор Борис Федорович Егоров. — Д. Б.) Срочно проверьте корректуру!!!». Нет у наших эпистолярных файлов

никаких шансов удостоиться внимания потомков, а значит, «Письма» Лотмана — один из последних по времени написания эпистолярив докомпьютерной эры.

Позвольте, но, с другой-то стороны, книга не просто жгуче современна, она просто неотделима от сегодняшней жизни, является ее виртуальным двойником почище Интернета. В переписке ведь участвуют живые люди! Мне известен случай, когда читатель-филолог, наткнувшийся в именном указателе на свою фамилию, открыл соответствующую страницу и выяснил, что... Ю. М. в таком-то году звал его на конференцию, а коллега NN приглашение сие коварно утаил. Вот она, реальность! Жаль, правда, что номера страниц в указателе соответствуют истине едва ли наполовину, зато какими жгучими характеристиками снабжены имена «персонажей» книги! Ну, скажем: «Аскоченский В. И. (1813—1879) — журналист, мракобес». Или: «человек науки, декан филфака ЛГУ Б. Г. Реизов между тем продал душу советско-партийной власти...» Трудно упрекнуть комментатора в неакадемичности тона: речь идет не о делах давно минувших дней — о жизни, которая, как сказал один автор, «неутешно летит вперед»...

Очень своевременной книгой, несмотря на издержки, стал лотмановский эпистолярный, нынче ведь и Букера дают за воспоминательные эссе, да и вообще литература pop-fiction сильно потеснила беллетристику. Но главное, пожалуй, даже не в этом. Публикация свода писем Лотмана стала осязаемым рубежом, за которым начинается новое, преимущественно историческое бытование тартуской семиотической школы.

Дмитрий БАК

Анамнез гениев

●

А. Ноймайр. МУЗЫКАНТЫ В ЗЕРКАЛЕ МЕДИЦИНЫ (Шопен, Сметана, Чайковский, Малер); **А. Ноймайр. МУЗЫКАНТЫ И МЕДИЦИНА** (Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт); **А. Ноймайр. ХУДОЖНИКИ В ЗЕРКАЛЕ МЕДИЦИНЫ** (да Винчи, Гойя, Ван Гог). Переводы с немецкого. Ростов-на-Дону, «Феникс», 1997.

●

Австрийский врач профессор Антон Ноймайр замыслил и осуществляет интересный

проект: он реконструирует болезни тела и души, в том числе и явившиеся причиной смерти выдающихся, всемирно известных представителей рода человеческого, подвизавшихся на поприще политики или искусства в XV—XX вв., с использованием опубликованных и архивных биографических и медицинских источников. Его цель — установить диагнозы, бесспорные с позиций современной нам медицинской науки.

К настоящему времени писатель-эскулап уже успел «анатомировать» выбранных в какой-то мере случайно трех политиков и свыше десяти корифеев искусства. На русском языке выпущены четыре книги автора; три из них составляют предмет данной заметки.

А. Ноймайр, анализируя с медицинской точки зрения особенности личности и характера великих деятелей культуры, с одной стороны, учитывает исторический и общественно-политический фон их жизни и, с другой стороны, — как дань людскому интересу — откровенно раскрывает глубоко интимные, в том числе и сексуальные подробности. Автор дает и, как он выражается, «биографический анамнез» своих персонажей. Но жизнеописания всех одиннадцати гениев в общем-то хорошо известны по десяткам других книг; только за последние два года были изданы либо переизданы (в том числе и «Фениксом») биографии девяти героев рецензируемых книг (кроме Сметаны и Малера), причем Чайковского, Бетховена, Леонардо, Гойи и Ван Гога — неоднократно. Поэтому в рецензируемых изданиях «жизнеописательные» — кстати, довольно пространные (в целом занимают 60—70% текста) — фрагменты, хотя они и «опсихологизированы» (на мой взгляд, избыточно) фрейдистским методом интерпретации сущностной и поведенческой ментальности (автор этих строк относится к сему методу весьма скептически, да и сам Ноймайр, случается, раздраженно ему оппонирует: уж больно фрейдисты зациклены на отождествлении «психоанализируемых» людей с их родителями*), представляются излишними.

* К примеру, психоаналитики классической школы всерьез утверждают, что, дескать, наблюдавшийся у немецкого композитора Г. Малера (1860—1911) «тик правой ноги» (разновидность болезни «пляска Св. Витта») — признак отождествления им себя со своей прихрамывавшей матерью; или что корнем психического нездоровья Ван Гога (1853—1890) (известно: он в припадке отрезал собственное ухо и затем покончил с собой) «могло быть» (какова глубина научного подхода! — Г. Л.) его рождение ровно через год после мертворожденного брата и наречение его тем же именем — Винсент». Так и подмывает встать на сторону теоретиков вульгарного коммунизма, предлагавших отбирать детей еще грудными у родителей и воспитывать в приютах, отчего станет невозможной выработка комплексов фрейдистского толка.

Зато остальные 30—40% объема книг Ноймайра — малоизвестные русско-язычному читателю сведения: пожизненный анамнез (история болезни) и психограмма (описание морально-психического состояния) героев. Эти подробности у нас в большевистские времена «формирования новой общности людей» были по соображениям «партийности и народности литературы и искусства» табуированы. Среди них — самые непостижимые. Так, в разделе о Гайдне (1732—1809) Ноймайр сообщает, например, что 4 июня 1809 года некие Розенбаум и Петер, считавшиеся помощниками и друзьями умершего несколькими днями ранее композитора, проникли в его могилу, выкрали голову и препарировали череп, а свои жутчайшие действия мотивировали так: «Наша совесть (?? — Г. Л.) не может примириться с тем, что голову такого гения изъедят черви». А в материале о Чайковском автор ничтоже сумняшеся выдает за истину в последней инстанции спорную версию о самоотравлении композитора ядом, к чему-де его принудили моралисты-друзья (об этом ниже).

Читая книги Ноймайра, ловишь себя на мысли: быть гениальным — несчастье. Это, так сказать, «медицинский факт». Столь обильное количество хворей, подчас опаснейших, которыми страдали и от которых — в основном безвременно — гибли гении всех времен и народов, можно разве что только измыслить. Вот Моцарт (1756—1791). Его жизнь, по Ноймайру, — это непрерывная цепь болезней и недугов (ни один год не обходился у него без какой-нибудь серьезной болезни!), и кажется удивительным, как композитор «ухитрился» написать столь много прекрасной музыки. Вот статистика: из одиннадцати гениев, с кем «разобрался» медик Ноймайр, только трое — относительные долгожители (70—80 лет), остальные восемь прожили куда как меньше, из них четверо не дотянули до сорока; трое из одиннадцати сошли с ума, четверо болели «венерикой»; еще несколько гениев были неортодоксальны в сексуальной ориентации. И хотя гении обесмертили себя своими несравненными творениями, заслужив безоглядную любовь и признание все новых и новых поколений людей, они страдалцы, страстотерпцы, и нам — таким обыкновенным — пристало отбросить зависть и утешаться, перефразируя известную поговорку: «Лучше быть простым да здоровым, чем гениальным, но больным».

Скрупулезный анализ историй болезней персонажей позволил А. Ноймайру выбрать диагнозы, наиболее полно и точно отражающие совокупность симптомов

и жалоб, установить подлинную картину их недугов, в том числе обусловивших смерть.

Но вот в случае «пациента» Чайковского оружие Ноймайра дало осечку. В главе «Истинный диагноз и причина смерти [Чайковского]» автор «Музыкантов в зеркале медицины» пишет: «В настоящее время доказано, что Чайковский не умер от холеры, как считалось ранее, <...> [а] добровольно ушел из жизни». Вторая часть утверждения профессора, пожалуй, верна: гений готовился к уходу. И оповестил об этом мир, написав и за неделю до своего конца исполнив свое последнее сочинение — Шестую (Патетическую) симфонию.

Определенно Чайковский покончил с собой — нечего лицемерить, господа А. Познанский, Н. Блинов и В. Соколов. Названные чайковскоеды никаких гипотез о самоубийстве не приемлют и в своих книгах «Самоубийство Чайковского. Миф и реальность» и «Последняя болезнь и смерть Чайковского. До и после трагедии» называют защиту таких гипотез «шулерством», поставив себе сверхзадачу канонизировать версию случайной, естественной кончины от холеры.

Остается вопрос: как Чайковский это сделал? Ноймайр полагает: композитор принял яд, вложенный в его руку друзьями — сокурсниками по Петербургскому училищу правоведения, — которые «судом чести» приговорили его покончить с собой после получившего нежелательную огласку эпизода личной жизни, а смерть от холеры была сфальсифицирована лечащими врачами и братом Модестом во избежание семейного позора (в те времена самоубийцы в глазах закона приравнялись к убийцам). Однако более соответствует зафиксированным в чайковскиане фактам и свидетельствам гипотеза (сей привержен и автор этих строк), по которой Петр Ильич преднамеренно заразился холерой и умер все-таки от нее.

Но по всему на сакраментальный вопрос «От чего умер Чайковский?» не может существовать точного ответа — зря столь категоричен Ноймайр. Не случайно тот же Соколов, по сути дела, признает это, когда пишет, что ученым — медикам, психологам, историкам — «еще предстоит до конца разобраться в сложной, а зачастую противоречивой картине событий и фактов, связанных с трагической кончиной Чайковского». Ясно только: обвинять друзей, любивших Чайковского, страстно почитавших его талант, в принуждении композитора к самоубийству — это, как мне кажется, безнравственно.

В заключение необходимо сказать следующее. Ныне рецензенты не устают от-

мечать непотребно низкий литературный уровень печатной продукции как зеркало «русской литературной революции» (сатирический синоним «книжного бума»). Книги, изданные «Фениксом», идут, увы, в ногу со временем. Переводы пестрят стилистическими, грамматическими, орфографическими огрехами, опечатками, ошибками пунктуации и местами кажутся черновиком подстрочника. Особенно «хороша» третья книга. Работавшие над ней переводчик и редактор (фамилии опускаем) потрудились на славу: «Первой махехе Леонардо да Винчи была 16-летняя Амадони, а второй — Ланфредини — было 15 лет» (с. 11); «Природные способности Леонардо писать зеркальным почерком остались нетронутыми и не были подвержены влиянию, которое обычно в наших культурных кругах, — делать из человека-левши общепринятого правшу» (с. 139—140); «В этом труде он [Гойя] намеревался бичевать человеческую <...> скверность» (с. 204); «Он [Ван Гог] чувствует, что его не оценивают заслуженно» (с. 318); «Между началом работы над ней [картиной] и окончанием находится попытка суицида» (с. 349). Не стягает лавров за свою работу и корректор книги: он умудрился «зевнуть» опечатку аж в... заголовке из букв размером 2x1,5 миллиметра (с. 392).

Генрих ЛЯТИЕВ

Возраст классики

●
Е. Краснощекова. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ: МИР ТВОРЧЕСТВА. СПб., «Пушкинский фонд», 1997.

●
 Об Иване Гончарове ныне пишут немало, можно без особых затруднений назвать десятка полтора различного объема и уровня книги и «персональных» сборников статей, вышедших в России и за ее пределами. Впрочем, далеко не каждое литературоведческое исследование выходит за рамки интересов «академического» читателя, интересующегося в первую очередь фактами, датами и концепциями.

Обстоятельная монография Е. Краснощековой, известного гончароведа, ныне работающего в заокеанской американ-

ской дали, тоже в значительной мере посвящена проблемам специальным и локальным. Однако затронута в книге и тема, не сразу бросающаяся в глаза, но заслуживающая особого разговора. Е. Краснощекова размышляет о посмертной репутации, если угодно — актуальности русских классиков, пытается если не выявить причины периодического выдвижения в центр всеобщего внимания той или иной фигуры, то просто обозначить хронике подобного рода событий.

Для книг Гончарова таким моментом истины стал год 1912-й, столетие со дня рождения писателя. Простой перечень юбилейных публикаций составил тогда объемистую книгу: так недавно умерший пожилой отшельник, все свое нехитрое имущество завещавший вдове собственного камердинера, был окончательно сопричислен к недлинному списку первых имен в русской литературе.

Посмертные взлеты и падения популярности больших писателей — дело обычное: скажем, незадолго до гончаровских празднеств с тем же воодушевлением отмечался юбилей Гоголя (1909), а уж Пушкина сколько раз «сбрасывали с корабля» (начиная с инвектив Писарева в начале 1860-х) и сколько раз снова возносили на пьедестал!..

Гончаров всегда стремился к изображению вечного, универсального, а читатели и критики зачастую находили в его книгах по преимуществу мгновенное и актуальное. Эта антиномия не нова еще с конца сороковых годов прошлого столетия, когда Белинский странным образом усмотрел в имевшей оглушительный успех «Обыкновенной истории» и «чистую поэзию», и... явную тенденциозность («страшный удар по романтизму»). Из этого-то противоречия позже никак не могли выпутаться не только читатели и критики, но и сам романист, писавший свои книги мучительно долго, преодолевавший всякий раз невыносимые сомнения в своем художественном даре.

Е. Краснощекова справедливо считает, что разобраться в разноголосице мнений мешают не только литературно-критические интерпретации, но и высказывания самого писателя. Мнителен был Иван Александрович, внушаем, тяжело переживал неблагоприятные отзывы критиков — порою готов был признать те недостатки своих романов, которых на самом деле не было, или обвинить целую когорту отечественных и европейских писателей (от Ивана Тургенева до Альфонса Додде) в крахе основных идей и событий создававшегося более двадцати лет романа «Обрыв».

Противоречие между многожды ранее подчеркнутой идеологической тенденци-

ознать Гончарова и его склонностью незаинтересованно и свободно писать «как птица поет» не может быть разрешено в категориях «или — или». В каждом произведении писателя присутствует динамическое противостояние тенденции и поэзии, в терминах Е. Краснощековой — «непростой контрапункт исконного сверхзамысла и социально ориентированного замысла». Так, в «Обыкновенной истории» «вместо уравновешенного и всестороннего воссоздания человеческой природы последовало по примеру (Гоголь) рекомендации (Белинский) сужение масштаба обобщения за счет социальной конкретизации («частные типы») и упрощение психологической задачи в угоду обличению».

Здесь-то и вводит Е. Краснощекова популярное в литературоведении понятие «романа воспитания», позволяющее, на ее взгляд, плодотворно объяснить одновременное присутствие в прозе Гончарова мотивов вечного и сиюминутного. Взять, например, хрестоматийную встречу дяди и племянника Адуевых в «Обыкновенной истории». Младший (Александр) приезжает из родительской усадьбы в столицу и неожиданно-негаданно является в дом старшего (Петра Ивановича).

На первый взгляд здесь не обошлось дело без жгучей общественной злободневности (разоблачение провинциального идеализма, романтического направления мыслей и действий, отступающего перед суровой реальностью Петербурга сороковых годов — деятельного, прагматичного, сдержанного). Но данным противопоставлением дело, как известно, не исчерпывается. Перед читателем не просто два параллельно изображенных самостоятельных «типических характера», но и два «возраста души». В большом отсчете времени в любом ребенке потенциально присутствует будущий зрелый муж, а в трезвом прагматике продолжает исподволь жить юноша-романтик. Так-таки никакого «страшного удара по романтизму», усмотренного в первом романе Гончарова Белинским...

В знаменитой книге путевых очерков, написанных во время экспедиции в Японию на борту фрегата «Паллада», дело обстоит сходным образом. Вроде бы автор не предлагает в своих корреспонденциях ничего, кроме мастерских зарисовок с натуры, картинок из жизни разных городов и народов. Цивилизационная деятельность европейских народов вполне в духе времени противопоставляется Гончаровым восточной неразвитости во всех ее африканских и азиатских проявлениях. Но в том-то и дело, что снисходительная интонация представителя европейской ци-

вилизации ни в коей мере не исчерпывает настроений рассказчика в очерковом цикле Гончарова. Развитие национальных цивилизаций сопоставлено с взрослением отдельной личности, а потому внешняя неразвитость и наивность африканских или сибирских народов прочитываются Гончаровым как юность, свежесть, полнота еще не реализованных сил. Вот почему говорит Е. Краснощекова об изображении во «Фрегате...» «национальных ментальностей в возрастных категориях».

Тот же «алгоритм воспитания» применяет автор книги и к анализу «Обломова». Основное свойство характера Ильи Ильича описано как своеобразная инфантильность: «...норма исказилась: не изжив молодости до конца, но и не достигнув полного взросления (совершеннолетия), Обломов плавном перешел в фазу жизни человека на склоне лет». Думается, что в самом известном романе Гончарова дело обстоит все же значительно сложнее. Конечно, возрасты души человека и здесь распределены между героями-антагонистами (Обломов — детская наивность, Штольц — зрелая целеустремленность). Однако гораздо важнее, что и сам по себе характер Ильи Ильича содержит противоположные начала, которые в сумме вовсе не сводятся к инфантильности.

Возьмем известную каждому со школьных лет первую сцену романа. В душную квартиру Обломова один за другим приходят разоблачитель-литератор, чиновник-карьерист, светский лев — все зовут Ильёю Ильича на загородную прогулку в Екатерингоф. Тщетно: герой-лежебока не в силах выйти за пределы болезненной скованности, он совершенно непричастен разнообразнейшим проявлениям «взрослой» жизни, бурлящей за окнами квартиры в Гороховой улице. Инфантильность? Нет, по крайней мере не только она. Ведь именно непреодолимая отделенность от обычных дел и забот петербургских жителей позволяет Ильё Ильичу видеть ничтожность этих самых дел и забот, побуждает его каждого гостя провожать почти одинаковыми словами: «Где же тут человек-то?»

Невозможно (как это неоднократно пытались сделать даже самые опытные и авторитетные читатели гончаровского романа) однозначно решить — развенчивается ли в этой сцене унылое бессилие лентяя или воспевается мудрая чистота праведника. Мерка «романа воспитания» здесь неприменима, поскольку именно болезненная лень оборачивается здоровой рассудительностью, а значит, невозможно в данном случае безоговорочно отделить чистую поэзию от тенденциозной разоблачительности.

Несмотря на ограниченность, свойственную, впрочем, всякому отчетливо сформулированному методу исследования, предложенный Е. Краснощековой взгляд на «мир творчества» Гончарова весьма плодотворен. Именно понимание «воспитательной» специфики воззрений русского классика способно объяснить историю восприятия его прозы на протяжении полутора столетий. С одной стороны, как и при жизни писателя, всякая новая эпоха «воспитания» российского самосознания открывала в его книгах злободневные смыслы и идеи. Последний по времени пример — совпавшая с возрождением «нового почвенничества» полемика вокруг беллетризованной биографии Ю. Лощица* и фильма Н. Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова» (1980).

С другой же стороны, торопливые дискуссии в критике (как во времена публикации гончаровских романов, так и теперь) не способны разрешить их глубинных смысловых антиномий. Все попытки обособленно рассмотреть и противопоставить друг другу обломовскую «голубиную чистоту» и предпринимчивую энергию Штольца ни к чему позитивному привести не способны. В констатации этого факта и состоит главное значение книги Е. Краснощековой — глубокого и оригинального исследования поэтики русского писателя-классика.

Д. БОРИСОВ

Падающие старухи

●
Михаил Ямпольский. БЕСПАМЯТСТВО КАК ИСТОК. М., «Новое литературное обозрение», 1998.

●
 Книга Михаила Ямпольского «Беспамятство как исток» рассказывает о философском и культурном контексте творчества Даниила Хармса. Мутация формы и содержания, наивная вера в технику и науку, свойственная людям первых пятилеток, абсурд жизни, умноженный на абсурд стихов, для нас являют любопытную картину.

На закате советской эпохи Хармс был по-настоящему культовой фигурой. Ему

подражали, с ним спорили. В свою очередь, издатели и литературные чиновники делали все возможное, чтобы опусы этого сгинувшего в недрах ГУЛАГа авангардиста не тревожили мирный сон советских граждан. Поэт подсказывал литераторам младших поколений, как можно преодолеть угрюмую серьезность эпохи и заниматься своим делом, обходя тупики и завалы традиционной поэтики. Как бережно относиться к слову и к паузе, ценя эстетику жеста и осмысленность творческого процесса. Поэзия, по Хармсу, не манная каша. Стихи скорее напоминают солдат, защищающих малую землю частного человека. Но торопливый читатель не услышит в них шума битвы, не увидит маневры стальных машин. Борьба разворачивается в знаковой плоскости с использованием такого оружия, как игра, артистизм, динамика речи. Ямпольский приводит тюремное признание поэта, что в своих «вредительских» книгах он подменял тему пионерского движения простой маршировкой, переключая внимание ребенка на комбинацию цифр. Размывая реальность, Хармс помогал читателю обрести внутреннюю свободу.

Сюжеты Хармса продолжают жить в звенящих постсоветских просторах. На вспаханной информационными агентствами делянке «Происшествия» они возникают особенно часто. Курьезные и дикие события шинкуются и подаются зубрами журналистики так, что пальчики оближешь. И все-таки у Хармса это получается лучше. Достаточно вспомнить хрестоматийный «случай» со старухами: «Одна старуха от чрезмерного любопытства вывалилась из окна, упала и разбилась. Из окна выснулась другая старуха и стала смотреть вниз на разбившуюся, но от чрезмерного любопытства тоже вывалилась из окна, упала и разбилась. Потом из окна вывалилась третья старуха, потом четвертая, потом пятая. Когда вывалилась шестая старуха, мне надоело смотреть на них, и я пошел на Мальцевский рынок, где, говорят, одному слепому подарили вязаную шаль».

Старорежимные барышни отворачивались от писателя, побаиваясь виртуальных кошмаров. Современным, пожалуй, в нем не хватает перца и соли. Он слишком идеален, чтобы прихватывать его сборник в постель. Размашистое, беспокойное время подвинуло поэта на пьедестал, поручив филологам нести почетный караул. Что, впрочем, неплохо. Ведь до сих пор отсутствует прокомментированное научное издание всех писаний Хармса. Исчез и потому нуждается в реконструкции контекст многих фраз и оборотов. Филологические штудии, какими бы скучными они ни каза-

* Лощиц Ю. М. Гончаров. М., 1977 (Серия «Жизнь замечательных людей»; 2-е изд.— 1986).

лись, поддерживают интерес к классике — далекой и близкой.

Американский культуролог Ямпольский составил одну из таких штудий. Свободно двигаясь внутри текста, он делает всевозможные наблюдения, касающиеся не только творчества Хармса, но и искусства в целом: отдельные главы посвящены пониманию времени, истории, чисел, предметов. Автор привлекает множество имен — от Николая Кузанского, Гете, Гамсуна до современных западных искусствоведов. При этом, к сожалению, тексты Хармса часто оказываются просто подсобным материалом для философских конструкций и рассудочных, весьма далеких от духа хармсовских стихов построений. Сливая кантианский, интертексту-

альный и поэтический коды, Ямпольский добивается фундаментальной усложненности речи. Что, правда, не идет ей на пользу. А предложения, вроде «он не может существовать без сознания своей идентичности и без инерционного дискурса, столь важного для профессионального производства текстов», могут даже испугать читателя. Но не Хармса, который не боится любых прочтений. Его опусы тем и хороши, что наперед не знаешь, то ли ты читаешь поэта, то ли он исследует тебя, твою ментальность и твои комплексы. Но в любом случае чтение Хармса — это веселое, заводное чтение. Тем более что падающие старухи никого не пугают.

Борис КОЛЫМАГИН

К сведению авторов

К сожалению, редакция не имеет возможности рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

М и л ы й л ж е ц

Что такое ложь? Казалось бы, просто ответить... Ну, скажем, ложь — это неправда. Человек знает, как было на самом деле, но говорит совершенно обратное — значит, обманывает, лжет. Ложь, стало быть, имеет цель или умысел, ведь становится важнее почему-то именно солгать, сшельмовать. Однако как понять, когда люди лгут, не зная истинного положения вещей? или даже вовсе не желая его знать? На мой взгляд, это ближе не ко лжи, а к тому, что мы называем глупостью человеческой. Но все же и не всякая глупость бескорыстна. Для иного глупца цель — доказать как раз свое всезнайство, превосходство. Он обманывает других, но в отличие от лжеца подлинного рад обманывать и самого себя. Это же есть и род самоутверждения для тех, кто страдает чувством собственной неполноценности.

В литературе питательной средой для подобной глупости стали ежемесячные обзоры. Не хочу сказать, что каждый литературный обозреватель каждой газеты — глупец. Но получить возможность ежемесячно быть судьей чуть ли не над всей литературой — это жила золотая для тех, кого мучает собственная неполноценность, у кого есть такая вот душевная болезнь. Она заразна, как заразительны дурной пример или дурная свобода присваивать, а не быть. И вот из месяца в месяц вместо того, чтоб честно исполнить работу обозревателя и сообщить о содержании публикаций отечественных журналов, несколько тайно больных тем душевным недугом пытаются внушить многим тысячам читателей отвращение к одним писателям, им лично почему-то неприятным, которых они не советуют читать да знать, с осмеянием прогоняя прочь из литературы, и любовь чуть не щенячью к другим, на них похожим или ж им лично приятным, поучая, что такое — хорошо, а что такое — плохо.

Первый симптом этой болезни: авторы литературных обзоров желают думать, что знают подноготную каждого из современных писак (презирать современных сочинителей, судить о них свысока всякий глупый обозреватель считает для себя особым шиком, а сами сочинения называть не иначе как «опусами»). Еще желают они думать, что все писаки современные в общем-то изводят бумагу об одном и том же, так что их возможно сравнивать, как коней на ярмарке: к примеру, рассуждая, что талант одного явно больше, а талант другого явно меньше. Также обозреватель обычно и не знает толком написанное, потому что читает по долгу службы, если и успевая глотать, то кусками. От незнания легко ему делается словоблудить, шельмовать даже в цитатах и веско заявлять самую дикую чушь, утекая мыслью только за своим будущим гонораром и чувствуя себя царем всей той литературной горы, которую сам же, изнатужась, нагромоздил.

Второй симптом болезни литературных обзрений: сравнить как сравнивать. Найти, к примеру, в одном писаке отсутствие «мягкого юмора», но тут же обнаружить его наличие в творениях другого, что и рангом-то будет, по разумению глупца-обозревателя, повыше — к примеру, у Гоголя, ну или у Довлатова, если Гоголь никак не лезет в тему. После именно отсутствием этого «мягкого юмора» и сравнивать уже того, что пониже, с землей, рисуя его ничтожеством в сравнении с Гоголем или хоть с Довлатовым, если Гоголь все ж не влез в тему. Раз сам ничтожество, то и пишет о ничтожествах да о ничтожном — вот и сравнивали!

Должно сказать, что приличным и полезным считается в подобных обзорах еще и пошутить, то есть приправить писак этих современных, будто б сырой фарш, острой ухмылочкой да пряной шуточкой. Чаще обычного эти шутки выдаются за тонкий филологический или уж на крайний случай за свойский народный юмор. Шутят, юморят, ошибочно полагая, что так говорят у нас в народе. Подростковые пошловатые шуточки глупых обозревателей ничего общего не имеют с народом и народным. И надо ли говорить, что большие глупостью умеют пошутить только пошло. Что страх своей неполноценности — как раз свойство подростков? Но у подростков пошлость, цинизм — это обычно болезнь роста. А литобозреватели «Итогов» и «Нового времени», «Недели» и «Коммерсанта» давным-давно подросли, но все еще чав-

кают смачно этой жвачкой из цинизма да пошлятины, видно, думая, что внушают к себе тем самым уважение как к людям взрослым да многоопытным.

Третий симптом: сказка про «добрых людей». Кажется, обозреватель человеколюбив, поскольку требует от писак современных добра да света, радости да тепла, однако ж любить он умеет только модель человека либо человека, опрыснутого, как одеколончиком, «мягким юмором» или «приятной иронией». Литературные же герои, не опрыснутые тем самым одеколончиком, кажутся обозревателю павшими животными, от них сразу уж и «воняет», «шибает» и прочее. Хочется смешочков и клоунов, елея и духов. Но в том и корень этой болезни — в смешочках, в самообмане. Большой лопается от смеха, а ему хочется еще, будто б мало кругом веселья и развлечений. Мало?! Да в отечестве нашем траура даже тогда не объявляют, когда гибнет разом сотня человек.

Событие — то, что происходит в реальной жизни. Под спудом этих событий, под впечатлением от них и пишется сегодня настоящая, живая литература. Соизмеряй написанное как событие с тем, что творится сегодня, в тот же самый день вокруг тебя, чем ты душой и сознанием своим живешь. Но благополучные, набравшиеся готовых прописных истин, и литературу кроют по своему подобию, думая, что она как готовое платье. Только и могут высккивать, как вшей, литературные аналогии да литературный же мертвый подтекст. «Пародия на позднего Солженицына», — заявляет внушительно знаток «позднего» Солженицына (дав нам всем понять, что сведущ даже в этом, в «позднем»); «Нетю мягкого юмора Довлатова», — заявляет самозванный эксперт уже по «мягкому» Довлатову, той малости только и не понимая, что есть вещи, над которыми смеяться грешно, и есть времена, когда смеяться грешно.

Что означает сегодня литература для той неисчислимой массы русских людей, чья жизнь проходит за чертой жизни, но кто думает, чувствует на том же языке, на каком пишется эта литература, давно уж им недоступная даже своей ценой? Она, литература, вся из себя словесная. А они твари бессловесные. Однако и теперь героями литературными становятся те *люди*, что не смогли б даже о себе самих прочесть; возможно, не смогли б и понять, прочти им кто-то вслух. Произведения такие все же еще пишутся именно ради этих людей и об этих людях, а прочтут их да отвращение испытают как «простые читатели» некто «Селифан Васильев», «Пульхерия Будницкая», «Иван Дурасов», «Акулина Вербиева», «Акакий Васильев», «Аделаида Метелкина» и прочие псевдонимы. Что происходит? Те, у кого не хватило таланта, ума, совести — уродцы богемные, что прячут, будто б неблагозвучные, даже свои имена, — судят и осмеивают художников как людей другой, ненавистой им породы; но это *бессовестные судят совестливых, глупцы — умных, бездари — талантливых*. Осмеивают да шельмуют не просто чужое творчество, а то, что и дает им хлеб обозревателей.

Да и любят ли они вообще литературу русскую, ее читателей, говоря от их лица? Они любить умеют только самих себя. Нынешние литературные обзоры, по духу да исполнению мало уж чем отличные от наших же обжорных «светских хроник», — зло во многом социальное: решившие, что они «живут как люди», не желают знать, как существуют все другие, кто для них — уже Никто и Ничто. Это есть по сути своей социальное лицемерие, но и не только — это социальное лицемерие, приходящее на смену нравственности, то есть имитация нравственности, отказ сострадать и отказ чувствовать, осознавать сложность человеческой жизни, даже своей собственной: все серьезное, тяжелое, страдальческое становится ненавистным и рождает эстетическое презрение, какое чувство единственно и заменяет человеческую нравственность нашим больным.

Сострадать написанному — как живому сострадать, потому что написанное, сотворенное — это и есть ожившее, живое. Можно и не сделать такой милости, захопнуть книжку. Но любое зло, будь книжное или жизненное, требует одного и того же нравственного преодоления от человека. И те, кто болен лицемерием, кто не желает «читать», не желая на самом деле сострадать, понимать, знать, больны, одержимы собственным злом. Больны до тех пор, пока скрывают его в себе, не перенося до истерики ни в своей душе, ни близко с собой того, что им так противно.

Павел БАСИНСКИЙ

М о в е т р и с т и к а

Когда вновь и вновь слышишь негодование «серьезных» писателей по поводу «массовой» литературы, то хочется задать им вопрос: что именно вам не нравится в этой литературе? То, что это плохая литература? Что ж, Бог помощь, пишите хорошую! То, что это коммерчески успешная литература? Но сам по себе коммерческий успех ни о чем не говорит, кроме того, разумеется, что это литература (Маринина, Доценко и проч.), которая идет нарасхват. Коммерчески успешной может быть и плохая, и хорошая литература. Исторические примеры известны.

Впрочем, есть и другая точка зрения «серьезных» на «массовую» литературу. Спокойная, благодушная. Мол, эта литература *тоже* имеет право на существование. И мы *тоже* имеем право на существование. Вот и будем существовать по отдельности, вы на своем поле, мы — на своем. Вот и будем делить читателя на своего и чужого. Худо-бедно и денежный вопрос тоже решим полюбовно: вам — с лотков, нам — от Букера и Тепфера. И ладно.

Если в первой точке зрения (негодующей) есть по крайней мере живое чувство (хотя бы обиды), то вторая мне представляется исключительно подлой. Разделяй и властвуй — вот исходный ее принцип.

Но при этом обе стороны забывают о главном: русская литература едина. Ее единство и есть ее единственный (простите за тавтологию) «патент на благородство». Отказываясь от этого единства, мы отказываемся и от русской литературы, предаем ее, изменяем ей.

Значит, что же — признать «массовую» литературу законной частью русской литературы? Нет, на это «серьезные» не пойдут! А если иначе поставить вопрос: насколько законными являются обе части расколовшейся литературы? То есть: насколько законна не только «массовая», но и «серьезная» литература? Кто, собственно говоря, установил ее законность, кто ее способен подтвердить? Читатель? С ним связь утрачена. Вечность? Это не может быть аргументом в критическом споре. Остается сам же писатель, который назначает себя в «серьезные» и «законные». Но это и называется самоволкой, то есть беззаконием...

На самом-то деле нам просто необходимо иначе взглянуть на историю единой русской литературы в контексте сегодняшнего дня. И тогда многое поймется совсем по-другому. «Массовая» литература не сейчас началась. Бросим хотя бы беглый взгляд на конец XVIII — начало XIX века. Вот имена для сегодняшнего дня, возможно, не самые громкие, но для своего времени весьма и весьма значительные.

Федор Александрович Эмин — личность темная и загадочная. Сама его биография могла бы стать сюжетом авантюрного романа. Где и когда он родился — точно не известно. Известно только, что, оставив Киевскую духовную академию, где он учился, Эмин бежал в Турцию, принял там магометанство и некоторое время служил янычаром. Затем много скитался по Азии, Европе и Африке. Наконец, в Лондоне явился к русскому посланнику, вновь принял православие и в 1761 г. вернулся в Россию, чтобы стать едва ли не первым литературным предпринимателем. За восемь лет он выпустил двадцать пять книг, в том числе семь романов. Он был единственным автором издаваемого им журнала «Адская почта» и гораздо раньше Карамзина написал несколько томов «Российской истории» — Впрочем, совершенно недостоверной. Эмин точно уловил интерес массового читателя к жанрам любовного и авантюрного романа и сначала переводил такие романы, а затем создал и свои собственные — в том же вкусе: «Непостоянная фортуна, или Похождения Мирамонда» (1763) и «Письма Эрнеста и Доравры» (1766).

Из социальных низов происходил и **Михаил Дмитриевич Чулков**. Прежде чем стать писателем, он был актером на второстепенных ролях, а затем «дослужился» до

места придворного лакея. Впрочем, он и сам подчеркнуто противопоставлял себя писателям-эротикам, называясь «мелкотравчатым сочинителем». Тем не менее его любовно-эротический роман «Пригожая повариха, или Похождения развратной женщины» (1770) имел немалый успех да и сегодня читается гораздо лучше прозы какого-нибудь «Плейбоя». В этой эротике не было натужности, механицизма, которые отличают нынешние литературные сочинения подобного рода. Чулков был простодушен, как и его главная героиня Мартона, зарабатывавшая на жизнь своим крепким и привлекательным телом, сводившим с ума богатых старичков и молодых людей.

Матвей Комаров, «житель царствующего града Москвы», был и вовсе из крепостных. Зато название его популярного романа и сегодня достойно быть занесенным в Книгу рекордов Гиннеса... благодаря своей длине. Вот оно: «*Обстоятельные и верные истории двух мошенников: первого российского славного вора, разбойника и бывшего московского сыщика — Ваньки Каина со всеми его сысками, розысками, сумасбродною свадьбою, забавными разными его песнями, и портретом его. Второго французского мошенника Картуша и его сотоварищей*». Но самым известным романом Комарова стала обработка переводной повести об английском рыцаре Георге — «Повесть о приключениях английского милорда Георга...». Чтобы дать представление о популярности этой книги, написанной в конце XVIII века, достаточно напомнить: именно ее имел в виду Н. А. Некрасов в середине XIX века в поэме «Кому на Руси жить хорошо?», когда сетовал, что русские мужики с базара несут не Гоголя и Белинского, а «милорда глупого». То есть роман этот пользовался массовым, истинно народным спросом спустя более чем полвека! Интересно, кто из нынешних «массовых» романистов сможет похвалиться такой популярностью в середине будущего, XXI столетия?

Фаддей Венедиктович Булгарин. Мысль о том, что его «Выжигин» адресован непросвещенной аудитории, разделяли и Иван Киреевский, и Александр Грибоедов, сообщавший автору о том, что часто застает слугу своего Александра за чтением «Выжигина». Говорили, будто бы и император Николай I называл Булгарина «королем Гостиного двора».

Действительно, как писал исследователь прозы Булгарина В. А. Покровский, «основная масса читателей «Ивана Выжигина» состояла из помещиков и чиновников, провинциальных по преимуществу. У столичного дворянства интерес к романам Булгарина шел на понижение». Но сам-то Булгарин не только не стеснялся своей популярности в слоях среднего класса, но даже откровенно гордился этим. В «Выжигине» встречаемся с настоящим пафосом в защиту «среднего класса»: «Исполнять свой долг по совести есть обыкновение среднего сословия, которое в большом свете называют дурным обществом...»

Булгарин был демократом не по убеждениям, а по судьбе. То, что избранным давалось даром, благодаря семейным связям, положению при дворе и проч., он добыл тяжким журналистским трудом. Он был поляк. Свое имя получил в честь Тадеуша Костюшко, лидера польского сопротивления. Благодаря симпатиям великого князя, цесаревича Константина Павловича, к полякам Фаддей Булгарин закончил Сухопутный кадетский корпус, был зачислен в гвардию и участвовал в походах 1805-го, 1806-го и 1807 гг. Правда, как заметил прекрасно знавший Булгарина Николай Иванович Греч, «храбрость не была в числе его добродетелей: частенько, когда наклеивалось сражение, он старался быть дежурным по конюшне...» (Н. И. Греч. Фаддей Венедиктович Булгарин. СПб., 1871).

Так или иначе Булгарин воевал, однажды был тяжело ранен и за бой под Фридландом награжден орденом Св. Анны 3-й степени. И он, вероятно, дослужился бы до высокого чина, если б в жизни не случилось событие, навсегда покрывшее его позором в глазах русских офицеров. В 1811 г. Булгарин вдруг перебрался в Париж и вступил в армию Наполеона. В 1812-м в чине французского капитана был участником похода в Россию, отступал вместе с французской армией и затем вернулся в Россию в жалком качестве пленного.

Отчего такое произошло? Н. И. Греч объяснял этот факт весьма своеобразно: «... он был поляк, и в этом заключается все его оправдание. У поляков своя логика, своя математика... Наносить всевозможный вред врагу, нападать на него всеми средствами, пользоваться всеми возможными случайностями, чтобы надоест ему, оскорблять его правдой и неправдой и утешаться мыслию, что цель оправдывает средство...»

Не случайно отношение Булгарина к русской литературе, которой он в конце концов посвятил всю жизнь, разительно отличалось от отношения к ней, скажем, Пушкина и Карамзина. Русская литература никогда не воспринималась Булга-

риным как «долг» или «служение». Да и странно было бы требовать этого от человека, который, как заметил все тот же Греч, буквально накануне своего вступления на литературное поприще, оказывается, «не доверял еще своему искусству владеть русским языком в литературном отношении, писал деловые бумаги при помощи подьячих, и очень искусно, что видно из выигранного им процесса своего дяди...»

И, наконец, **Василий Трофимович Нарезный**. О личности Нарезного мало известно. Родился там же, где и Гоголь, в одном из местечек Миргородского уезда, в семье мелкопоместного шляхтича, обедневшего до спорности его прав на дворянство. Однако окончил дворянскую гимназию при Московском университете, в который затем и поступил на философский факультет. Университет не окончил по неизвестной причине. Служил чиновником в только что принявшей русское подданство Грузии. Затем работал в министерской канцелярии в Петербурге. Некоторую известность получили его «Словенские вечера» и «Два Ивана» (последний роман оценил Пушкин). После катастрофы с романом «Российский Жильблаз», который был запрещен к печати (уже вышедшая часть была изъята из обращения), вновь впрягся в канцелярскую ляжку, в 1815 г. получил место столоначальника в одном из петербургских департаментов, где и работал до самой смерти. Умер в 1825 г. в возрасте сорока пяти лет.

Любопытно, что большинство первых русских романистов были людьми, как говорили тогда, «простого звания». Люди не только не избалованные богатством, общественным положением, но и фактически прибегавшие к литературе как к заработку. Тем не менее именно они находятся у истоков «серьезной» русской романистики, как мы ее сегодня понимаем.

В чем заслуга Булгарина и Нарезного? Разумеется, не только в том, что они писали живо и увлекательно. Это-то как раз наносное, заимствованное — прежде всего от Лесажа и Фильдинга. Заслуга их в том, что они дали России романы, в которых Россия впервые стала узнавать самое себя.

Отзыв о романе «Иван Выжигин» в «Московском телеграфе»: «Надобно необыкновенное искусство, чтобы выбрать предметы общие, ведомые русскими, которые знают себя хуже, нежели земляков по Европе». Критика 20-х годов XIX века особо оценила то, что роман Булгарина как бы связал воедино разрозненные части России, разные ее социальные слои. Таким образом изначально функция массовой беллетристики была объединяющей. И просветительской. В романах Нарезного вольтерьянскому просвещению противопоставлялось руссоистское, просвещенному вольтерьянцу противостоял «просвещенный селянин», культурный помещик. «Все его романы построены по одному типу: небогатый дворянин, иногда голяк, иногда даже не помнящий своего дворянского родства, сословный инкогнито, своеобразный дворянский пройдисвет, после всяческих мытарств среди светских повес и усадебных дикарей попадает в культурное дворянское гнездо, в котором оздоравливается, возрождается, становится на ноги» (В. Ф. Переверзев. В. Т. Нарезный и его творчество. См. в: В. Т. Нарезный. Избранные романы. М.-Л., «Academia», 1933).

Но именно от этих функций (объединяющей и просветительской) и отказались сегодня обе части современной литературы. Первая (серьезная) замкнулась сама в себе и превратилась в маленькую катакомбную церковь, которая и не церковь даже — но секта, культовый кружок со своими раздорами и разборками. Вторая (массовая) подчинена исключительно законам рынка, который в России пока напоминает не рынок, а грабеж среди белого дня. И обе — незаконны...

Обе являются не беллетристикой, а «моветристикой» (от французского «mauvais» — плохой).

Выходит, нужен третий путь? Да не третий и не пятый, а единственный! Пиши о людях, для людей, по-людски! Кажется, так просто! И все еще невозможно!



В несколько строк

ЛАВКА БУКИНИСТА

А. НАКОВ. РУССКИЙ АВАНГАРД. М., «Искусство», 1991. Тир. 25 000 экз.

После полутора десятков лет, прошедших с момента открытия русского авангарда для российского зрителя, интерес к нему сохранился разве что у коллекционеров. Только они в силах отличить, чем один слегка кривоватый квадрат красного цвета отличается от другого чуть кривоватого квадрата цвета черного. Ответ коллекционера в отличие от витиеватого и маловразумительного ответа специалиста лапидарен и весом: «Ценой». Зритель же, даже если он прежде был истовым поклонником русских художников начала века, все более сдвигается на позицию здравого смысла: «Взяли и к хорошей, нужной в хозяйстве доске прибили крепкие палки и куски жести, которые тоже вполне могли бы пригодиться». И тут была бы уместна не столько литературная, сколько историческая цитата:

Старушка убивается — плачет,
Никак не поймет, что значит,
На что такой плакат,
Такой огромный лоскут?
Сколько бы вышло портянок для ребят,
А всякий — раздет, разут...

Так получается, может быть, еще и потому, что академический авангард явно проигрывает на фоне спонтанного авангарда — всех этих граффити, транспарантов, призывов, то начерченных руками демонстрантов, а то безвестным художником в твоём собственном подъезде.

Эдвард ЛИР. КНИГА БЕССМЫСЛИЦ. М., «Рудомино», 1994. Тир. 50 000 экз.

Сочинить лимерик необычайно легко. Нет необходимости даже придерживаться-ся канонической формы, хотя бы соблюдать положенный размер:

Жил несколько лет в Ленинграде
довольно загадочный дядя,
он сильно с утра
походил на Петра,
но делался Лениным за день.

(Для сильно желающих возможно предложить иную концовку:

был спереди тот
ну вылитый Петр
и вылитый Меншиков сзади.)

И потому в последнее время появилось огромное количество псевдолимериков, к каковым принадлежат и переводы М. Фрейдкина, собранные в этой книжечке. Хороши они или плохи, лимерики нельзя переводить, их воссоздают «с ничего» на чужом языке. Переводчику, если он желает во что бы то ни стало сохранить за собой это звание, приходится действовать обходным манером, создавать концепции, на крайний случай новые понятия, чтобы объяснить, почему, собственно, его стишки можно считать переводами. Но любые новшества теряются рядом если не со словами, так с рисунками Эдварда Лира, которые разместились на каждой странице. Они нуждаются в особом исследовании.

Анатолий ВАЛЮЖЕНИЧ. ОСИП МАКСИМОВИЧ БРИК. Материалы к биографии. Акмола, «Нива», 1993. Тираж не указан.

Становится все яснее, что в знаменитом тройственном союзе главное — не центральное — место занимал не Маяковский, а Осип Брик. Он был намного умнее остальных, несравненно образованней и талантливей, а стихов не писал разве по лени, ставшей расхожим анекдотом. Впрочем, значительность Брика в отличие от специалистов по Маяковскому понимали особо проникательные люди — В. Шкловский, Р. Якобсон, Б. Слуцкий, чьи воспоминания включены в сборник. И резонно предположить: когда бы не лень, Брик бы создал очередного литературного гомункулуса, придав ему черты, требуемые временем, как создал «агитатора, горлана, главаря», и наблюдал за последствиями эксперимента, попивая чай с вареньем, сваренным на деньги, заработанные созданием его интеллекта.

М. П. ЧЕРЕДНИКОВА. СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ ДЕТСКАЯ МИФОЛОГИЯ В КОНТЕКСТЕ ФАКТОВ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ И ДЕТСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. Ульяновск, «Лаборатория культурологии», 1995. Тир. 500 экз.

Эта поразительная по точности монография иногда кажется слегка прямолинейной, и это понятно — автор ставит перед собой конкретные вопросы и решает определенные научные задачи. Но, основываясь на собранных в книге материалах, несложно сделать свои выводы. «Ребенок убежден не только в способности предметов приобретать различные очертания и размеры, но и допускает мысль о подобных деформациях собственного тела. В детских кошмарных снах такие изменения приобретают отчетливость визуальных впечатлений. А. Ц. Гольбин <...> приводит такое признание своей маленькой пациентки: «Доктор, помогите, у меня ручки во сне такие большие, большие, я их боюсь», — и далее говорится, что сходные ощущения испытывают также и взрослые в состоянии болезни. Вот откуда взялось понятие «рука Москвы». Именно в единственном числе, ведь неполнота формы, указано рядом, — признак враждебности и отчужденности.

И. А. АКСЕНОВ. СЕРГЕЙ ЭЙЗЕНШТЕЙН. ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА. М., Все-союзное творческо-производственное объединение «Киноцентр», 1991. Тир. 25 000 экз.

Гений, который никому не нужен. А ведь он писал о театре и живописи, исследовал творчество Пикассо и переводил елизаветинцев. И в портрете Эйзенштейна критик разглядел те же черты невестребованности. Такие люди знают, чего не знает ослепленная сама собой культура: есть дороги, куда стоит свернуть, и открываются новые перспективы. Культура же предпочитает следовать утоптаным большаком.

ДАЛЬНИЕ БЕРЕГА. ПОРТРЕТЫ ПИСАТЕЛЕЙ ЭМИГРАЦИИ. Мемуары. М., «Республика», 1994. Тир. 15 000 экз.

«Другие берега» (равно и дальние) — названия, звучавшие трагически энное количество лет назад. Сейчас отчетлив их мелодраматизм, коли не пошлость. Непреднамеренное сопоставление с песней о слова Г. Поженяна

Мы с тобой два берега
У одной реки

только подчеркивает неуместный лиризм. Культура требует освоения, а не оплакивания. Время для академических собраний сочинений, а не плача навзрыд. Впрочем, то, что делают сейчас с культурой (нашей, ихней, слившейся воедино), рождает рыдания без слез. Слезы вышли.

Готье де КУЭНСИ. ЧУДЕСА БОГОМАТЕРИ. Бестиарий любви Шарля де Фурниваль с приложением ответа дамы. Великий гримуар, или Искусство заклинания духов небесных, воздушных, земных, подземных. Киев, КАРМЕ-СИНТО, 1995. Тир. 5000 экз.

Под общей обложкой собраны произведения тех жанров, что кажутся маргинальными; между тем они-то и находились в центре тогдашней культуры. Чтение сколь занимательное, столь и полезное. Например, указано, какую форму должна иметь волшебная палочка и из какого материала ее надо мастерить.

Константин Эдуардович ЦИОЛКОВСКИЙ. ПРИЧИНА КОСМОСА. ВОЛЯ ВСЕЛЕННОЙ. НАУЧНАЯ ЭТИКА. М., Совместное советско-американское предприятие Космополис. 1991. Тир. 50 000 экз.

«Вот что случилось со мной 31 мая 1928 г., вечером, часов в 8. <...> Погода была полуголочная, и солнце было закрыто облаками. Почти у самого горизонта я увидел, без всяких недостатков, как бы напечатанные, горизонтально расположенные рядом три буквы: гАу. <...> Ни на каком известном мне языке это не имеет смысла. Через минуту я вошел в комнату, чтобы записать дату и самое слово, как оно было начертано облаками. Тут же мне пришло в голову принять буквы за латинские. Тогда я прочел: «Рай». Это уже имело смысл. Слово было довольно пошло, но что делать: бери, что дают». Работы Циолковского, собранные в брошюре, — это чередование таких странных наблюдений и умозаклучений и не менее странных прозрений. И первое, и второе имеет смысл: ведь истинного и ложного не бывает. Бывают полнота, чреватая возможностями, и набитое самодовольство, ни к чему не приводящее.

Терри САУЗЕРН. СНИМАЕМ ПОРНО. М., «Полина М», 1994. Тир. 75 000 экз.

Роман посвящен великому Стэнли К., то бишь Стэнли Кубрику, с которым автор работал в качестве сценариста над фильмом «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбить атомную бомбу». И эта книга тоже о кино, вернее о том, как снимают кино, вестерн ли это или порнофильм, «Унесенные ветром» или «Глубокая глотка». А кино снимают весело, нелепо, суетливо, и обязательно присутствует чуточку грусти (особенно когда фильм закончен). Роман Терри Саузерна словно заимствует и это веселье, и эту нелепость, и эту грусть. И еще в отличие от романов для интеллектуалов он добр.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Содержание журнала «Октябрь» за 1998 год

ПРОЗА

АЛЕШКОВСКИЙ Петр. Седьмой чемоданчик. Повествование.	3
АНАНЬЕВ Анатолий. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России. Конец второй книги.	3
IX	20
X	20
БЕШЕНКОВСКАЯ Ольга. Viehwasen, 22. Дневник сердитого эмигранта.	8
VII	8
БУЙДА Юрий. Сумма одиночества.	100
XI	100
ВАНЕЕВА Лариса. Два рассказа.	116
I	116
ВАНШЕНКИН Константин. Простительные преступления. Повествование, состоящее из нескольких историй.	77
V	77
ВОЛГИН Игорь. Пропавший заговор. Достоевский и политический процесс 1849 года.	59
I	59
III	67
V	95
ВЯЛЬЦЕВ Александр. Люди из ущелий. Записки бродячего человека.	76
VIII	76
ГОРЛАНОВА Нина, БУКУР Вячеслав. Тургенев — сын Ахматовой. Повесть.	37
V	37
ДВОРКИН Эдуард. Рассказы.	68
VII	68
ДУДОЛАДОВ Александр. Завтра не будет. Рассказ.	3
VII	3
КАНОВИЧ Григорий. Продавец снов. Повесть.	3
I	3
КАНТОР Владимир. Соседи. Повесть.	76
X	76
КАЧАН Владимир. Роковая Маруся. Театральная повесть.	53
XI	53
КЕНЖЕЕВ Бахыт. Золото гоблинов. Роман.	3
XI	3
XII	29
КИМ Анатолий. Мое прошлое. Повесть.	3
II	3
IV	72

ЛЕВИТИН Михаил. Восторг и предчувствие движения. Повесть.	104
XII	104
МОРИЦ Юнна. Рассказы о чудесном.	3
V	3
Новые имена. Рассказы Павла КРУСАНОВА, Александра ПЛОТКИНА, Алексея САШИНА, Кириллы ОЛЮШКИНА.	3
XII	3
ПАВЛОВ Олег. Великая степь. Рассказы из «Степной книги».	54
IX	54
ПАВЛОВ Олег. Записки изпод сапога. Рассказы из «Степной книги».	88
II	88
ПАВЛОВА Лилия. Цветы невиданные, райские птицы. Повесть.	44
IV	44
ПЕТРОВ Григорий. Рассказы.	3
IV	3
ПЕТРОВ Григорий. Родословное древо. Рассказы.	108
IX	108
ПЕТРУШЕВСКАЯ Людмила. Приключения утюга и сапога. Сказочная повесть.	42
I	42
ПЬЕЦУХ Вячеслав. Два рассказа.	94
IX	94
ПЬЕЦУХ Вячеслав. Темное дело, или О значении очистительного пути. Рассказ.	3
III	3
САПГИР Генрих. Рассказы.	76
VI	76
СОЛОУХ Сергей. Картинки.	96
VIII	96
СТУКАС Вацлав. Города. Рассказы.	108
X	108
УРУСОВА Марина. Любовь и голод. Рассказ.	101
VII	101
ХАЗАНОВ Борис. Далекое зрелище лесов. Роман.	3
VIII	3
ХАЗАНОВ Борис. Пока с безмолвной девой. Рассказы.	40
VI	40
ШАРАПОВА Маргарита. Два рассказа.	114
VIII	114
ШАРАПОВА Маргарита. Ковверный. Повесть.	22
III	22

Послесловие

Беседа с Анатолием Кимом.	110
IV	110
Несколько вопросов Борису Хазанову.	71
VIII	71
Несколько вопросов Бахыту Кенжееву.	102
XII	102

Нечаянные страницы

БЕШЕНКОВСКАЯ Ольга. Пунктирная дружба.	86
VI	86
ВАРЛАМОВ Алексей. Любимовка.	112
III	112
КЛИМОНТОВИЧ Николай. И питается не щами. Из цикла «Подстрочник».	121
XII	121
КОБРИН Кирилл. Буддический город.	123
III	123
ПОЛИЩУК Рада. Абсолютно гениальный рассказ.	82
VI	82
ПРИСТАВКИН Анатолий. Праздник в чужом окне.	130
III	130

Искусство перевода

САРОЯН Уильям. Три рассказа. Перевод с английского Арама Оганяна.	139
III	139

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ЛОСЕВ А. Ф. Мне было 19 лет... Рассказ. Вступление Елены Тахо-Годи. Публикация А. А. Тахо-Годи.	125
I	125
СОБОЛЬ Андрей. Паноптикум. Повесть. Вступление, публикация и примечания Веры Калмыковой.	123
II	123

ПОЭЗИЯ

ВИНОГРАДОВ Денис. Голос стекла.	48
XI	48
ГАНДЕЛЬСМАН Владимир. Разрозненные страницы.	19
III	19

ГРИЦМАН Андрей. **Гонец в никуда.**

XI 37

ЕРМАКОВА Ирина. **Белый звук.**

VIII 73

КАЗАРИН Юрий. **Негатив облаченья.**

IV 70

КАРПИ Анна Мария. **Все вместе.** Вступление и перевод с итальянского Анатолия Наймана.

VI 68

КЕНЖЕЕВ Бахыт. **Даровитый самородок Ремонт Приборов.**

VIII 94

КРЕЙД Вадим. **Три стихотворения.**

V 76

КУБРИК Алексей. **Туман по имени зренье...**

I 56

ЛЕОНТЬЕВ Александр. **Попутна любая дорога...**

V 35

МАКСИМОВА Светлана. **Силуэты мака.**

III 109

МОРИЦ Юнна. **«Дивный какой я зверь...»**

X 3

НАЙМАН Анатолий. **В сумеречной аллее играют лисы.**

I 36

Новые имена. Зерна граната. Стихи Алексея ГЕЛЕЙНА, Владимира ЛАВРИШКО, Санджара ЯНЫШЕВА, Натальи КОЖЕВНИКОВОЙ.

XII 24

ПОМЕРАНЦЕВ Игорь. **Новые стихи.**

VII 65

ПУХАНОВ Виталий. **Из лирики.**

IV 39

САЛИМОН Владимир. **Вокруг расхожего сюжета.**

II 83

ФИЛАТОВ Леонид. **Лизистрата.** Народная комедия в двух действиях на темы Аристофана. Вступительная беседа с автором.

IX 64

ФРОЛОВ Владимир. **Заблудший флейтист.**

II 121

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

БУРТИН Юрий. **Россия и конвергенция.** Идеи А. Д. Сахарова вчера, сегодня, завтра.

I 145

БУРТИН Юрий. **Три Ленина.** Нэп в свете теории конвергенции.

XII 129

ВОЛКОГОНОВ Дмитрий. **Немного о себе и времени.** Из записных книжек. Вступление Анатолия Аняньева.

III 154

ГОЙХБЕРГ Моисей. **До, во время и после войны.** Литературная запись Виталия Заславского.

XII 158

КАНТОР Владимир. **Личность вопреки.**

IV 112

КОБРИН Кирилл. **Немцы и русские на слиянии двух рек.**

XII 155

ЛОГИНОВА Нинэль. **Голубиное слово.** Нежная детская.

X 160

МЕДВЕДЕВА Ирина, ШИШОВА Татьяна. **Дети, отцы и деды.**

VIII 161

ПИСИГИН Валерий. **Эхо пушкинской строки.**

VII 90

ПОМЕРАНЦ Г. **Развертывание альтернатив.**

II 159

ПРИШВИН Михаил. **Дневник 1939 года.** Вступление, подготовка текста, комментарии и публикация Л. А. Рязановой.

II 144

СВИФТ Марк. **Не инстинктом одним жив человек.**

V 136

СОЛОВЬЕВ Иван. **Мессинские речи.** Составление и предисловие Михаила Эпштейна.

VII 148

ТАРАСОВ Александр. **Черная кошка на красном фоне.** Провинциальные впечатления.

X 154

ЯКОВЛЕВ Александр. **О, Сахалин...**

IX 128

Дневник писателя

ПРИШВИН Михаил. **Дневник 1939 года.** Июль — декабрь. Вступление, подготовка текста, комментарии и публикация Л. А. Рязановой.

XI 125

«Бывают странные сближения...»

ВАСИЛЬЕВА Светлана. **Три неба.**

XI 146

ОТРОШЕНКО Владислав. **Игра и чудо.** Лирический триптих.

X 121

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова. Вступление, подготовка текста, публикация и примечания В. М. Хрусталева и В. М. Осина.

IV 138

V 145

ЛОСЕВ А. Ф. **«Любовь на земле есть подвиг...»** Публикация, подготовка текста и примечания А. А. Тахо-Годи.

X 127

«Приблизиться к русскому идеалу искусства...» Из литературной переписки М. А. Алданова. Вступление, публикация и примечания А. А. Чернышева.

VI 142

Скандал в императорской семье. Из переписки великого князя Михаила Александровича, императора Николая II, императрицы Марии Федоровны. 1912 год. Подготовка текста, публикация и примечания В. М. Хрусталева и В. М. Осина.

X 171

ТОЛСТАЯ С. А. **Моя жизнь.** Предисловие В. И. Порудоминского. Подготовка текста, публикация и примечания О. А. Голиненко и Б. М. Шумовой.

IX 136

«Человек одинок в этом мире, художник же одинок вдвойне...» Из переписки Вадима Сидура и Карла Аймермахера. Публикация Карла Аймермахера. Вступление Юлии Сидур.

VII 107

ШПАЛИКОВ Геннадий. **Предисловие к празднику.** Страницы дневника. Стихи. Публикация Дарьи Шпаликовой. Подготовка текста Ларисы Омелькиной.

VIII 136

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛОВ Алексей. **Урбанистический пейзаж.**

IV 181

АНКУДИНОВ Кирилл. **Внутри после.** Особенности современного литературного процесса.

IV 174

ВЕРНИКОВ Александр. **Земля и Мир.** «Homo Faber» Фриша как естественный спутник Земли.

VII 172

КОБРИН Кирилл. Два юбилея.

IX 178
НАЙМАН Анатолий. Паладин поэзии.

VIII 177
НАЙМАН Анатолий. «Дело тоталитаризма непобедимо, потому что оно вечно».

XI 179
ОТРОШЕНКО Владислав. Сумасшествие Мировой Воли. От дрезденского периода к дрезденскому периоду.

V 180
ПАВЛОВ Олег. Метафизика русской прозы.

I 167
ПАВЛОВ Олег. Господин Социнитель. О творчестве Владислава Отрошенко.

VII 168
ПОДЪЯБЛОНСКАЯ Настасья. Как возникают женские романы. Практические заметки.

XII 168
ШЕНКМАН Ян. Хорошо забытое настоящее.

III 168

Панорама

Кирилл КОБРИН. Маршруты приближения к Бродскому (Валентина ПОЛУХИНА. Бродский глазами современников); Петр КИРИЛЛОВ. Книга рождения жанра (Самуил ЛУРЬЕ. Разговоры в пользу мертвых); А. ЦЕЙС. Если не теперь (Юрий ГЕРТ. Эллины и иудеи); Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. Реквием по русскому человеку (Евгений ЛЕБЕДЕВ. Стихи. Переводы. Лимерики); Н. ЛУКАС. Гагарин/Gagarin (Иван ГАГАРИН. Дневник. Записки моей жизни. Переписка); Л. ВОЛОДАРСКАЯ. Кто такой лемур? (Энциклопедия сверхъестественных существ).

III 175
Александр МЕЛИХОВ. Оскорбленные атланты (Айн РЭНД. Атлант расправил плечи); Вячеслав ВОЗДВИЖЕНСКИЙ. Две судьбы Михаила Булгакова (Лидия ЯНОВСКАЯ. Записки о Михаиле Булгакове); Виталий ПУХАНОВ. Стать абсолютно прозрачным... (Константин КРАВЦОВ. Приношение); Л. ВОЛОДАРСКАЯ. Прошлое и будущее: фантастика и история (Илья ГИЛИЛОВ.

Игра об Уильяме Шекспире, или Тайна великого Феникса. Миры Харлана ЭЛЛИСОНА); Феликс ИКШИН. Настольная книга для любителей столоверчения (Розмари Эллен ГУИЛИ. Энциклопедия привидений и духов).

VII 177
Дмитрий БАК. Вокруг Лотмана, или По направлению к Тарту (Ю. М. ЛОТМАН. Письма); Генрих ЛЯТИЕВ. Анамнез гениев (книги А. Ноймайра «Музыканты в зеркале медицины», «Музыканты и медицина», «Художники в зеркале медицины»); Д. БОРИСОВ. Возраст классики (Е. КРАСНОШЕКОВА. Иван Александрович Гончаров: мир творчества); Борис КОЛЫМАГИН. Падающие старухи (Михаил ЯМПОЛЬСКИЙ. Беспамятство как исток).

XII 176

«Это светлое имя — Пушкин»

По страницам Онегинской энциклопедии. Вступление Н. И. Михайловой.

II 164
VI 164
КОБРИН Кирилл. Наше все.
II 177
КОБРИН Кирилл. Постащик ее величества русской литературы.
VI 175

В стиле реплики

ИКШИН Феликс. Правнуки Сытина.
II 189
ПАВЛОВ Олег. Милый лжец.
XII 183
ПУХАНОВ Виталий. Время поэзии.
VI 188

Записки литературного человека

КУРИЦЫН Вячеслав. Опавшие листья.
I 184
КУРИЦЫН Вячеслав. Гагарина он не увидел. О Федоре Панферове.
II 186
КУРИЦЫН Вячеслав. О вещах и местах.
III 183
КУРИЦЫН Вячеслав. Без

пальто. К двадцатипятилетию журнала «Литературное обозрение».

IV 185
КУРИЦЫН Вячеслав. Свои книги.

ТАРАНТУЛ Юлия. Чужие книги.

V 185
КУРИЦЫН Вячеслав. Вучетич.

VI 180
КУРИЦЫН Вячеслав. 88 моих рублей и 25 тысяч чужих долларов.

VII 185
КУРИЦЫН Вячеслав. Маканин и Цветков ищут героя внизу.

ЦВЕТКОВ Алексей. Герой рабочего класса.

VIII 184
КУРИЦЫН Вячеслав. Малахитовая шкатулка-3.

IX 181
КУРИЦЫН Вячеслав. Жизнь Климса Самгина. Том первый. Краснополя+Киев. Июль-98.

X 184
КУРИЦЫН Вячеслав. День Независимости. АЛЕКСЕЕВ Илья. Праздничное настроение.
XI 184

Мелочи жизни

БАСИНСКИЙ Павел. Прощание с Зоилом.
I 187
Недостойный сам себя Моцарт.
II 183
Неманифест.
III 186
Дом, который построил Иван.
IV 188
История как роман.
V 188
Транс, мета, или Как бишь вас?
VI 185
Казачий Неаполь.
VII 188
Обратная сторона солнца.
VIII 187
Красное и белое.
IX 187
Без крови.
X 188
Кусочек транша, пожалуйста!
XI 188
Мовестристика.
XII 185

В несколько строк

Рубрику ведет Б. ФИЛЕВСКИЙ.
I—XII 191

Читайте в № 1 за 1999 год
СТИХИ АЛЕКСАНДРА ВОЛОДИНА

*Здесь перестроек механизмы,
приоритеты плюрализма
и что-то брезжит впереди.
Но долгосрочные прогнозы
нам обещают только грозы
и в лучшем случае дожди.
Под недостроенною кровлей
начальство с приостывшей кровью
сидит разрозненной толпой.
А впереди?.. На все вопросы
ответ прямой: «Возможны грозы
и дождь на годы проливной».
Хоть наша вера и ветшает —
прогноз не врет. Не обещает
тепла. Спасибо и на том.
Но вдруг, подросши, наши дети
снесут сырые бревна эти?
Прогноз пророчит и погром.*

*УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
ЖИТЕЛИ МОСКВЫ И ПОДМОСКОВЬЯ!*

Если вы почему-либо не успели оформить подписку на «Октябрь» на 1999 год, то можете это сделать до 20 января 1999 года непосредственно в редакции (ул. Правды, 11/13) с 11 до 18 часов в любой день, кроме субботы и воскресенья. К тому же по льготной цене при условии получения журналов в редакции.

Телефон для справок: 214-31-23